

PG 3337

.L5 02

1866

LIBRARY OF CONGRESS



00004067964







ков, Н. С. (Николай Земенов)

# ОБОЙДЕННЫЕ.

С319

60

Романъ

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТИХЪ

II. СТЕБНИЦКАГО.

(ЧАСТИ I, II и III).

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Въ типографіи А. А. КРАЕВСКАГО (Литейная, № 38).

1866.

PG3337  
L502  
1866

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, января 25-го дня 1866 года.

88-150204  
EP35  
6-15-88

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.**



## I.

### Крючокъ падаетъ въ воду.

Этотъ русскій романъ начался въ Парижѣ, и вдѣбавокъ, въ самомъ приличномъ, самомъ историческомъ зданіи Парижа — въ Луврѣ. Въ двѣнадцать часовъ яснаго зимняго дня, картиная галерея Лувра были залиты сплошною и очень пестрою толпою доброго французскаго народа. Зала мурелевской Мадоны была непроходима; на зеленыхъ, бархатныхъ диванахъ круглой залы тоже не было ни одного свободнаго мѣста. Только въ первой залѣ, гдѣ слабые первы поражаются ужасной картиной потопа, и другою, не менѣе ужасной картиной предательскаго убийства — было просторнѣе. Здѣсь передъ картиной, изображающей юношу и аскета, погребающихъ въ пустынѣ молодую красавицу, тихо прижавшись къ стѣнѣ, стоялъ господинъ лѣтъ тридцати, съ очень кроткимъ, немного грустнымъ и очень выразительнымъ, даже, можно сказать, съ очень красивымъ лицомъ. Закинутые назадъ волнистые, каштановые волосы этого господина придавали его лицу что-то такое, по чему у насъ въ Россіи отличаютъ художниковъ. Съ первого взгляда было очень трудно опредѣлить національность этого человѣка, но, во всякомъ случаѣ, лицо его не рисовалось тонкими чертами романской расы, и скорѣе всего могло напомнить собою одушевленные типы славянскаго юга.

Въ трехъ шагахъ отъ этого незнакомца, прислонясь слегка плечикомъ къ высокому табурету, на которомъ молча работала копировщица, такъ же тихо и задумчиво стояла молодая, восхитительной красоты дѣвушка съ золотисто-красными волосами, разсыпавшимися около самой милой головки. Эта стройная дѣвушка скорѣе напоминала собою заблудившуюся къ людямъ

ундину или никсу, чѣмъ живую женщину, способную считать франки и сантимы, или вести домашнюю свару. Нарядъ этой дѣвушки былъ простъ до послѣдней степени; видно было, что онъ нимало не занималь ее больше, чѣмъ нарядъ долженъ занимать человѣка: онъ былъ очень опрятенъ, и надѣ нимъ нельзѧ было разсмѣяться.

— Насмотрѣлась? произнесъ порусски тихій женскій голосъ сзади никсы.

Молодая дѣвушка не шевельнулась и не отвѣтила ни слова.

— Я уже два раза обошла всѣ залы, а ты все сидишь; пойдемъ, Дора! позвалъ черезъ нѣсколько секундъ тотъ же голосъ.

Этотъ голосъ принадлежалъ молодой женщинѣ, тоже прекрасной, но составляющей рѣзкій контрастъ съ воздушной Дорой. Это была женщина земная: высокая, стройная, съ роскошными круглыми формами, съ большими черными глазами, умно и страстно смотрящими сквозь густые рѣсицы, и до синевы черными волосами, изящно отг҃няющими высокій мраморный лобъ и блѣдное лицо, которое могло много разсказать о борьбѣ воли съ страстями и страданіями.

Дѣвушка привстала съ приложка высокаго табурета художницы, поблагодарила ее за позволеніе посидѣть и сказала:

— Да, я опять расфантазировала.

— И чѣмъ тебѣ такъ нравится въ этой картинѣ? спросила брюнетка.

— Вотъ поди же! мнѣ, знаешь, съ нѣкотораго времени кажется, что эта картина имѣеть не одинъ прямой смыслъ: старость и молодость хоронятъ свои любимыя радости. Смотри, какъ грустна и тяжела безрадостная старость, но въ безрадостной молодости есть что-то ужасное, что-то... проклятое просто. Всмѣтрись, пожалуйста, Аня, въ эту падающую голову.

— Ты вездѣ увидишь то, чего нѣтъ и чего никто не видитъ, отвѣчала брюнетка, съ самой доброй улыбкой.

— Да, чѣмъ никто не хочетъ видѣть, это, можетъ быть; но не то, чѣмъ вовсе нѣтъ. Хочешь, я спрошу вотъ этого шута, чѣмъ его занимаетъ въ этой картинѣ? онъ тутъ еще прежде меня прилипъ.

Та, которая называлась Анею, покачала съ упрекомъ головою и произнесла: 'тсс!

— Сдѣлай милость, успокойся, не забывай, что онъ ничего этого не понимаетъ.

Дамы вышли нальво; молчаливый господинъ посмотрѣлъ имъ вслѣдъ, весело улыбнулся и тоже вышелъ. Они еще разъ встрѣтились внизу, получая свои зонтики, взглянули другъ на друга и разошлись.

Черезъ двѣ недѣли послѣ этой встрѣчи, извѣстный намъ человѣкъ стоялъ, съ маленькою карточкой въ рукахъ, у дверей омнибуснаго бюро, близъ св. Магдалины. На дворѣ былъ дождь и рѣзкій зимній вѣтеръ—самая непріятная погода въ Парижѣ. Изъ-за угла Магдалины показался высокій желтый омнибусъ, на империалѣ котораго не было ни одного свободнаго мѣста.

— Начинается нумеръ седьмой! крикнулъ кондукторъ.

Нашъ луврскій знакомый подалъ свою карточку, вспрыгнулъ въ карету и полный экипажъ тронулся снова, оставивъ всѣ дальниѣшіе нумера дрогнуть на тротуарѣ, или грѣться около раскаленныхъ, желѣзныхъ печекъ безпріютнаго бюро.

Въ каретѣ, *vis-à-vis* противъ новаго пасажира, сидѣли двѣ дамы, изъ которыхъ одна была закрыта густымъ, чернымъ вуalemъ, а въ другой онъ тотчасъ же узналъ луврскую ундину; только она теперь казалась раздраженной и даже сердитой. Она сдвигала бровями, кусала свои губки и упорно смотрѣла въ заднее окно, гдѣ на сѣромъ дождевомъ фонѣ мелькала козлиная фигурка кондуктора въ синемъ кѣпи и безобразныхъ вязанныхъ нарукавникахъ, изобрѣтеніе которыхъ, къ стыду великой германской націи, приписывается добродѣтельнымъ нѣмкамъ. Дама, закрытая вуalemъ, плакала. Хотя густой вуаль и не позволялъ видѣть ни ея глазъ, ни ея лица, а сама она старалась скрыть свои слезы, но ихъ предательски выдавало судорожное вздрогиванье неповиновавшихся ея волѣ плечъ. При каждомъ такомъ, ворочемъ, едва примѣтномъ движеніи, Дора еще пуще сдвигала брови и сердитѣе смотрѣла на стоящую въ воздухѣ мокрядь.

— Это, наконецъ, глупо, сестра! сказала она, не вытерпѣвъ, когда дама, закрытая вуalemъ, не удержалась и неосторожно всхлипнула.

Та молча пронесла подъ вуаль мокрый отъ слезъ платокъ и видимо хотѣла заставить себя успокоиться.

— Неужто и послѣ этихъ неслыханныхъ оскорблений, въ тебѣ еще живеть какая-нибудь глупая любовь къ этому негодяю! сердито проговорила Дора.

— Оставь, пожалуйста, тихо отвѣчала дама въ вуалѣ.

— Нѣтъ, тебя надо ругать: ты только тогда и образумливаешься, когда тебя хорошенько выбрашишь.

— Извините, пожалуйста, отнесся къ ундинѣ пасажиръ, сѣвшій у Магдалины: — я считаю нужнымъ сказать, что я знаю порусски

Дама, закрытая вуалемъ, сдѣлала едва замѣтное движение головою, а Дора сначала вспыхнула до самыхъ ушей, но черезъ минуту улыбнулась и, отворотясь, стала глядѣть изъ-за плеча сестры на улицу. По легкому, едва замѣтному движению щеки можно было догадаться, что она смеется.

Совершенно опустѣвшій омнибусъ остановился у Одеона. Пассажиръ отъ св. Магдалины посмотрѣлъ вслѣдъ Дорѣ съ ея сестрою. Онѣ вышли въ ворота люксембургскаго сада. Пассажиръ всталъ послѣдній, и выходя поднялъ распечатанное письмо съ московскимъ почтовымъ штемпелемъ. Письмо было адресовано въ Парижъ, госпожѣ Прохоровой, poste restante. Онъ взялъ это письмо и бѣгомъ бросился по прямой алеѣ люксембургскаго сада.

— Не обронили ли вы чегонибудь? спросилъ онъ, догнавъ Дору и ея сестру.

Послѣдняя быстро опустила руку въ карманъ и сказала:

— Боже мой! чѣмъ я сдѣлала? Я потеряла письмо и мой вексель.

— Вотъ ваше письмо, и посмотрите, можетъ быть, здѣсь же и вашъ вексель, отвѣчалъ господинъ, подавая поднятый конвертъ.

Вексель дѣйствительно оказался въ конвертѣ, и господинъ, доставившій дамамъ эту находку, уже хотѣлъ спокойно откланяться, какъ та, которая напоминала собою ундину или никсус, застѣнчиво спросила его:

— Скажите, пожалуйства, вы русскій?

— Я русскій-съ, отвѣчалъ незнакомецъ.

— Скажите, пожалуйста, какая досада!

— Что я русскій?

— Именно. Я этого никакъ не ожидала, и вы меня, пожалуйста, простите, проговорила она серьѣзно, и протянула ручку. — Сама судьба хотѣла, чтобы я просила у васъ извиненія за мою вѣтринность, и я его прошу у васъ.

— Извините, я не знаю, чѣмъ вы меня оскорбили.

— Недѣли двѣ назадъ, въ Луврѣ... Помните теперь?

— Назвали меня что-то шутомъ, или дуракомъ, кажется?

— Да, что-то въ этомъ ввусѣ, отвѣчала, краснѣя, смѣясь и тряся его руку ундина.—Позволяю вамъ за это десять разъ назвать меня дурой и шутихой. Меня зовутъ Дарья Михайловна Прохорова, а это—моя старшая сестра Анна Михайловна, тоже Прохорова: обѣ принадлежимъ къ одному гербу и роду.

— Мое имя—Несторъ Долинскій, отвѣчалъ незнакомый господинъ, кланяясь и приподнимая шляпу.

— А какъ васъ по батюшкѣ?

— Несторъ Игнатьевичъ, пояснилъ Долинскій.

— Отлично! вы, Несторъ Игнатьевичъ, веселитесь или скучаете?

— Скорѣе скучаю.

— Безподобно! мы живемъ два шага отъ сада, вотъ сейчасъ номеръ десятый, и у насъ есть свой самоваръ. Пожалуйста, докажите, что вы не сердитесь и приходите къ намъ пить чай.

— Очень радъ, отвѣчалъ Долинскій.

— Пожалуйста приходите, управляла дѣвушка.—Кромѣ гадкихъ французовъ, ровно никого не увидишь — просто несносно.

— Пожалуйста, заходите, попросила для порядка Анна Михайловна.

— Непремѣнно зайду, отвѣчалъ Долинскій, и повернуль назадъ къ латинскому кварталу.

## II.

### НЕБОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ, СЛУЧИВШАЯСЯ ДО НАЧАЛА ЭТОГО РОМАНА.

У каждого изъ трехъ лицъ, съ которыми мы встрѣчаемся на первыхъ страницахъ этого романа, есть своя небольшая исторія, которую читателю не мѣшаетъ знать. Начнемъ съ исторіи нашихъ двухъ дамъ.

Анна Михайловна и Дорушка, какъ мы уже знаемъ изъ собственныхъ словъ послѣдней, принадлежали къ одному гербу: первая была дочерью кучера княгини Сурской, а вторая, родившаяся пять лѣтъ спустя послѣ смерти отца своей сестры, могла считать себя безошибочно только дитемъ своей матери. Княгиня Ирина Васильевна Сурская, о которой необходимо вспоминать,

рассказывая эту историю, была барыня старого покрова. Доводилась она какъ-то съ родни князю Потемкину-Таврическому; куртизанила въ свое время на стоящихъ выше всякаго описанія его вельможескихъ пирахъ; имѣла какой-то романъ, изъ рода романовъ, отличавшихъ тогдашнюю распудренную эпоху съверной Пальмиры, и наконецъ, вышла замужъ за князя Агея Лукича Сурского, человѣка старого, небезобразнаго, но страшнаго съ вида, и еще болѣе страшнаго по характеру. До своей женитьбы на княжнѣ Иринѣ Васильевнѣ, князь Сурскій былъ вдовъ, имѣль двѣнадцатилѣтнюю дочь отъ первого брака, и самому ему было уже лѣтъ подъ шестьдесятъ, когда онъ рѣшился осчастливить своею рукою двадцати-трехлѣтнюю Ирину Васильевну, и посвятился за нее, черезъ свѣтлѣйшаго покорителя Тавриды. Впрочемъ, князь Сурскій былъ еще свѣжъ и бодръ; какъ истый аристократъ, онъ не позволялъ себѣ дряхлѣть и разрушаться раньше времени, назначеннаго для его окончательной сломки; кафтаны его всегда были ловко подвачены, волосы выкрашены, лицо реставрировано всѣми извѣстными въ то время косметическими средствами. Но, разумѣется, не этотъ достатокъ силъ и жизни продиктовалъ крѣпкому старику мысль жениться на двадцати-двухлѣтней княжнѣ Иринѣ Васильевнѣ. Княжна не обѣщала много интереса для его чувственной любознательности, и князь вовсе не желалъ быть Раулемъ-Синей бородой. Дѣло было гораздо проще. Князь былъ богатъ, знатенъ и честолюбивъ; ему хотѣлось во что бы то ни стало породниться съ Таврическимъ, и княжна Ирина Васильевна была пѣзбрана средствомъ для достижениа этой цѣли. Совершилась пышная сватьба, къ которой Ирину Васильевну, какъ просвѣщенную дѣвицу, не нужно было нимало ни склонять, ни привеволивать; стала княжна Ирина Васильевна называться княгинею Сурскою, а князь Сурскій немножко еще выше приподнялъ свое бѣло-мраморное чело, и отращивалъ розовые ногти на своихъ длинныхъ, тонкихъ пальцахъ. Но вдругъ коловоротное время перемѣнило козырь, и такъ перетасовало колоду, что князь Сурскій, несмотря на родство съ Таврическимъ, былъ нескажанно радъ, попавъ при этой перетасовкѣ не далѣе своей степной деревни въ одной изъ низовыхъ губерній. Здѣсь, въ сторонѣ отъ всякаго шума, вдали отъ далекаго, упопительнаго свѣта, очутплась княгиня Ирина Васильевна съ перспективой здѣсь же протянуть долгіе-долгіе годы. А въ двадцать-четыре года жизнь такъ хороша, и жить такъ хочется, даже

и за старымъ мужемъ... можетъ быть, даже особенно за старымъ мужемъ.

Князь Сурскій въ деревнѣ явился совершенно другимъ человѣкомъ, чѣмъ былъ въ столицѣ. Его мягкія, великосвѣтскія манеры, отличавшія вельможъ екатериненского времени, въ степномъ селѣ уступили мѣсто неудержимой рѣзкости и порывистости. Широкіе и смѣлые замыслы и планы князя рухнули; рамки его съузились до мелкой придирчивости, до тираніи, отъ которой въ домѣ страдали всѣ, начиная отъ маленькаго поваренка на кухнѣ до самой молодой княгини, въ ея образной и опочивальнѣ. Князь мстилъ за свое униженіе людямъ, которые при тогдашнихъ обстоятельствахъ не могли ничего поставить въ свою защиту. Молодая княгиня не находилась, какъ ей вести себя въ ея печальномъ положеніи, и какой методы держаться съ своимъ грознымъ и неприступнымъ мужемъ.

Черезъ полгода послѣ переѣзда ихъ въ деревню, княгиня Ирина Васильевна родила сына, котораго назвали, въ честь дѣда, Лукою. Рожденіе этого ребёнка имѣло весьма благотворное, но самое непродолжительное вліяніе на крутой нравъ князя. На первыхъ порахъ онъ велѣль выкатить крестьянамъ нѣсколько бочекъ пѣннаго вина, пожаловалъ по рублю всѣмъ дворовымъ, барски одарилъ бѣдный сельскій причтъ за его услышанныя молитвы, а на колокольнѣ велѣль держать трехдневный звонъ. Робкій, запуганный и задавленный нуждою священникъ не смѣль ослушаться княжаго приказа, и съ приходской колокольни три дня сряду торжественнѣйшимъ звономъ возвѣщалось миру рожденіе юнаго княжича. Но не прошло со дня этого великаго событія какоинибудь одной недѣли, какъ старикъ началъ опять раздражаться. Въ цѣлой губерніи онъ не находилъ человѣка, достойнаго быть воспріемникомъ его новорожденнаго сына, и наконецъ, рѣшилъ крестить *самъ!* При всемъ своемъ смиреніи передъ грознымъ вельможей, сельскій священникъ отказался исполнить эту княжескую прихоть. Князь бѣсновался-бѣсновался, наконецъ одинъ разъ, грозный и мрачный, какъ градовая туча, вышелъ изъ дома, взялъ за воротъ запуна первого попавшагося ему на встрѣчу мужика, молча привелъ его въ домъ, молча же поставилъ его къ купели рядомъ съ своей старшей дочерью и велѣль священнику крестить ребёнка. Трепещущій священникъ совершилъ обрядъ.

— А теперь, любезный кумъ, сказалъ князь, тотчасъ же послѣ крещенія:— вотъ тебѣ за твой трудъ по моей кумовской и княже-

ской милости тысяча рублей; завтра ты получишь отпускную, а послѣ-завтра чтобъ тебя, пріятеля, и помину здѣсь не было, чтобъ духа твоего здѣсь не пахло!...

Оторопѣвшій мужикъ повалился князю въ ноги.

— Но помни, куманекъ, что если ты станешь жить такъ, что хоть какой-нибудь слухъ о тебѣ до меня дойдетъ, такъ я тебя, каналью... за ребро повѣшу!

Князь заскрипѣлъ зубами и сильно закачалъ за воротъ своего кума.

Мужикъ опять упалъ ему въ ноги и закричалъ:

— Милуйте— жалуйте! милуйте, ваше сіятельство!

Приказаніе княжеское было исполнено въ точности. Семья нечаянного воспріемника новорожденаго княжича, потихоньку го-  
лося и горестно причитывая, черезъ день оплаканная родствен-  
никами и свойственниками, выѣхала изъ роднаго села на домо-  
рощенныхъ, косматыхъ лошаденкахъ и, гонимая страшнымъ при-  
зракомъ грознаго князя, потянулась отъ родныхъ степей заволж-  
скихъ далеко-далеко къ цвѣтущей заднѣпровской Украинѣ, къ  
этой обѣтованной землѣ великорусскаго крѣпостнаго, убѣгавшаго  
отъ своей горегорькой жизни.

Потѣшивъ свой обычай, князь сдѣлался еще свирѣпѣе. Дня не проходило, чтобы удары палками, розгами, охотничими арапни-  
ками или кучерскими кнутьями не отсчитывались кому-нибудь  
сотнями, и случалось зачастую, что самъ князь, собственной осо-  
бой, присутствовалъ при исполненіи этихъ жестокихъ пытканій и  
равнодушно чистилъ во время ихъ свои розовые ногти. Нар-  
одъ трепеталъ, и безмолвно-могильными тѣнами скользилъ около  
княжескихъ хоромъ. Съ годами, жестокость князя все усиливалась.  
Въ имѣніи князя случилось, что одинъ вѣшался, другой —  
рѣзался, третій бросался съ высокой плотины въ мутную, во-  
нючую воду тинистаго, мелкаго пруда. Имѣніе князя стало  
мѣстомъ всяческихъ ужасовъ; въ народѣ говорили, что всѣ  
эти утопленники и удавленники встаютъ по ночамъ и бродятъ  
по княжьимъ палатамъ, стоная о своихъ душахъ, погибающихъ  
въ вѣчномъ огнѣ, уготованномъ самоубійцамъ. Эолова арфа,  
устроенная вверху большой башни княжескаго дома, при малѣй-  
шемъ вѣтеркѣ, наводила цѣпенящій ужасъ повсюду, куда дости-  
гали ея прихотливые звуки. Люди слышали въ этихъ причудли-  
выхъ звукахъ стоны покойниковъ, падали на колѣна, трясясь

всѣмъ тѣломъ, молились за души умершихъ, молились за свои души, если Богъ не ниспошлетъ желѣзного терпѣнья тѣлу, и ждали своей послѣдней минуты. Князь не измѣнялся. Онъ жилъ одинъ, какъ владыка Морвины, никого не принималъ, и продолжалъ свирѣпствовать. Княгиня совершенно потерялась. Она ничего не умѣла предпринять: старалась только какъ можно рѣже оставлять свою комнату, начала много молиться, и вся отдалась сыну.

Какая-то простодушная Коробочка того времени, наслушавшись столь много лестнаго обѣ умѣнья князя управляться съ людьми, приползла къ нему на подводище, просить вступиться за нее, вдову беззащитную, поучить и ея людышекъ дисциплинѣ и уму-разуму. «Федька Лапотокъ кучеромъ со мной пріѣхалъ, жаловалась Коробочка:—прикажи, государь-князь, хоть его поучить для острастки! Пусть пріѣдетъ и разскажетъ, какой страхъ дается глупому народу», молилась добравшаяся предъ княжы очи помѣщица.

Вместо того, чтобы оскорбиться, что его считаютъ образцовымъ сѣкуномъ, одичавшій князь выслушалъ Коробочку, только слегка шевеля бровями, и велѣлъ ей Ѳхать съ своимъ Федькою Лапоткомъ къ конюшнѣ. Больно высѣкли Лапотка, подняли отрезвоненаго и посадили въ уголокъ у двери. «А ну-ка ее теперь», спокойно буркнулъ князь, и прежде чѣмъ Коробочка успѣла что нибудь понять и сообразить, ее разложили и пошли отзанивать въ глазахъ князя и всего его холопства.

Знали коробочкины людишки, что страшенъ, для всѣхъ страшенъ домъ княжеский! Дерзость и своеевластіе князя забыли всякий предѣлъ. Князь разгнѣвался на вывезенную имъ изъ Парижа гувернантку своей дочери, и въ припадкѣ бѣшенства, бросилъ въ нее за столомъ тарелкой. Француженка вскипѣла: «я не крестьянка ваша; вы не смѣете»... сказала ему она. Князь, давно отвыкшій отъ всякаго возраженія, побагровѣлъ: «Не смѣю! я не смѣю!...» проговорилъ онъ, свиснуль своихъ челядинцевъ, и, безъ всякаго стѣсненія, велѣлъ несчастную дѣвушку высѣчь. Гувернантка схватила со стола ножъ, и подняла его къ своему горлу; вѣрные слуги схватили ее сзади за руки. Сопротивляться приказаніямъ князя никто не смѣлъ, да никто и не думалъ.

Упавшую въ обморокъ гувернантку вырвали изъ рукъ молодой княжны, высѣкли ее въ присутствіи самого князя, а потомъ спленали, какъ ребёнка, въ простыню, и отнесли въ ея комнату.

Здесь держали ее спеленатою, пока зажили рубцы отъ розогъ и, какъ ребёнка же, кормили рожкомъ и соской, а наконецъ, когда слѣдовъ наказанія не было болѣе замѣтно, ее со всѣми ея по-житками отвезли на крестьянской подводѣ въ ближайшій городъ. Француженка обратилась къ кому-то съ жалобой, но ей посовѣтовали прекратить дѣло, такъ-какъ въ данномъ случаѣ, свои люди не могли быть свидѣтелями противъ князя. Могучій Орсаль не повелъ ни усомъ, ни ухомъ: равнодушный, какъ волтеріанецъ къ суду божескому, онъ знать не хотѣлъ ни о какомъ судѣ человѣческомъ. По примѣру наказанной француженки, онъ вздумалъ высѣчь своего управлятеля, какого-то американского янки, и это было причиною собственной погибели князя. Янки не дался. Ко всеобщему ужасу, онъ смѣло открылъ окно своего флигеля, окруженного княжескими людьми, краснорѣчиво выставилъ передъ собою два заряженныхъ пистолета, пробѣжалъ никѣмъ непронутый черезъ оторопѣвшую толпу ликторовъ, и вскочивъ на стоявшую у коновязи осѣдланную лошадь земскаго, понесся на ней во всю мочь къ городу. Посланная погоня, угрожаемая убѣдительными поворотами пистолетовъ бѣглеца, рѣшилась оставить опасную погоню, и вернулась съ пустыми руками.

Князь задыхался отъ ярости. Передъ крыльцомъ и на конюшнѣ, наказывали гопцовъ и другихъ людей, виновныхъ въ упускѣ изъ рукъ дерзкаго янки, а князь, какъ дикий звѣрь, съ пѣною у рта и красными глазами, метался по своему кабинету. Онъ рвалъ на себѣ волосы, швыряясь и ломая вещи, ругался страшными словами.

Стоны, доносившіеся черезъ окно до его слуха, только разжигали его бѣшенство.

Среди такого ужаса, княгиня не выдержала, и вошла къ мужу.

— Князь! позвала она тихо, остановившись у порога. Возлѣ княгини, тутъ же на порогѣ, стояла отворившій ей дверь, весь блѣдный отъ страха, любимый доѣзжачій князя, восемнадцатилѣтній мальчикъ Михайлушка, котораго мѣстная хроника шепотомъ называла хотя незаконнымъ, но тѣмъ не менѣе, несомнѣнно роднымъ сыномъ князя.

— А! чѣдѣ! Кто вѣсь звалъ? Кто вѣсь пустилъ сюда? закричалъ трясась и тошая старикъ.

— Я сама пришла, князь; я ваша жена, кто же меня смѣеть не пустилъ къ вамъ?

— Вонъ! сейчасъ вонъ отсюда! бѣшено заоралъ безумный князь, и забарабанилъ кулаками.

— Князь! вы опомнитесь — Сибирь...

Княгиня не успѣла договорить своей тихой рѣчи, какъ тяжелая малахитовая щетка взвилась со стола, у котораго стоялъ князь, и молодой Михайлушки, зорко слѣдившій за движеніями своего грознаго владыки, тяжело грохнулся къ ногамъ княгини, защитивъ ее собственнымъ тѣломъ отъ направленнаго въ ея голову смертельнаго удара.

Князь закачался на ногахъ, и повалился на полъ. Бѣшенымъ звѣремъ покатился онъ по мягкому ковру; изъ его опѣненныхъ и посинѣвшихъ губъ выплѣтало какое-то звѣрское рычаніе; всѣ мускулы на его багровомъ лицѣ тряслись и подергивались; красные глаза выступали изъ своихъ орбитъ, а зубы судорожно схватывали и теребили ковровую покромку. Все, что отличаетъ человѣка отъ кровожаднаго звѣря, было чуждо въ эту минуту бѣснующемуся князю; самая слюна его вѣроятно имѣла всѣ ядовитыя свойства слюны разъяреннаго до бѣшенства звѣря.

Княгиня спросила черезъ порогъ воды, и подошла съ стаканомъ къ мужу.

«Прѣбуу» рычалъ князь, закусивъ коверъ, и глядя на жену столбенѣющими глазами; лидо его изъ багроваго цвѣта стало переходить въ синій, потомъ блѣдно-синій; пѣнистая слюна остановилась и рычаніе стихло. Смертельный апоплексический ударъ разомъ положилъ конецъ ударамъ арапниковъ, свиставшихъ по приказанію скоропостижно-умершаго князя.

Бѣжалій княжескій управитель умѣль заставить проснуться тяжелая на подъемъ губернскія власти; но судъ божескій освободилъ судь людской отъ обязанности карать преступленіе опального вельможи. Спѣшно-прибывшая изъ города комисія застала князя на столѣ, и откушала на его погребеніе.

Ни въ чемъ неповинная княгиня Ирина Васильевна осталась въ имѣніи, которое должны были наследовать ея сынъ и падчерица. Она не вмѣшивалась въ управлѣніе приставленнагоope-куна, цѣлый радъ лѣтъ никуда не выѣзжала, молиласъ, стариасъ, начинала чудить, и годъ отъ года все становилась страннѣе и страннѣе. Михайлушки, котораго молодаля, хотя и весьма нѣжная натура вынесла жестокій ударъ, назначавшійся княгинѣ, она считала своимъ спасителемъ, и пристрастилась къ нему всею душою. Михайлушки на всю жизнь остался немножко глухимъ, и

эта глухота постоянно не позволяла княгинѣ забывать объ оказанной ей этимъ человѣкомъ услугѣ. Михайлушка сдѣлался избраннѣйшимъ любимцемъ и factotum старѣющейся въ одиночествѣ княгини. Единственнымъ ея развлечениемъ зимою и лѣтомъ, было катанье по гладкой и ровной степи, но, ко множеству развивавшихся въ ней странностей, она питала необоримую боязнь къ лошадамъ, и могла ѿздить только съ Михайлушкиой. Поэтому, Михайлушка главнымъ образомъ состоялъ выѣзднымъ кучеромъ при ея особѣ. Съ нимъ княгиня ѿздила спокойно, съ нимъ она отправляла на своихъ лошадяхъ въ Москву въ гимназію подросшаго князя Луку Агейчу, съ нимъ наконецъ отправила въ Петербургъ къ мужиной сестрѣ подросшую падчерицу, и вообще была твердо увѣрена, что гдѣ только есть ея Михайлинка, оттуда далеки всѣ опасности и невзгоды. Грязные языки, развязавшіеся послѣ смерти страшнаго князя и незнавшіе исторіи малахитовой щетки, сочиняли на счетъ привязанности княгини къ Михайлушки разныя небывалыя вещи, и не хотѣли просто понять ея слѣпой привязанности къ этому человѣку, спасшему нѣкогда ея жизнь и нынѣ платившему ей за ея довѣріе самою страстью, рабской преданностью.

Когда Михайлинка минуло двадцать-шесть лѣть, княгиня вздумала женить своего фаворита, и не откладывая этого дѣла въ дальний ящикъ, обвѣнчала его съ писаной красавицей, сѣнной дѣвушкой Феней. Пять лѣть у молодого супружества не было дѣтей, а потомъ явилась дочь Аннушка, и вслѣдъ затѣмъ, Михайлинка умеръ отъ простуды, поручивъ свою дочь и жену заботамъ и милостямъ совершенно состарѣвшейся княгини. Княгиня старалась какъ можно добросовѣстнѣе выполнить предсмертную просьбу своего любимца. Вдова его получала удобную квартиру и полное содержаніе, а маленькая Аня со второго же года была совсѣмъ взята въ барскій домъ, и нетолько жила съ княгинею, но даже и спала съ нею въ одной комнатѣ. Въ это время, молодой князь Лука Агейчѣ счастливо женился, получилъ мѣсто по дипломатическому корпусу, и собирался за-границу. Онъ пріѣхалъ къ матери съ женою и трехлѣтнимъ сыномъ Кириломъ. Одинокая старушка еще болѣе сиротѣла, отпуская сына въ чужie края; князю тоже было жалко покинуть мать, и онъ уговорилъ ее ѿхать вмѣсть въ Парижъ. Княгинѣ жалко было и деревни, но все-таки она не захотѣла разстаться съ сыномъ, и все семейство тронулось за-границу. Аню княгиня, къ крайнему при-

скорбю ея матери, тоже увезла съ собою. Черезъ два года, княгиню посытило новое горе: ея сынъ съ невѣсткою умерли другъ за другомъ въ теченіе одной недѣли, и осиротѣла, древняя старушка снова осталась и воспитательницею и главною опекуншею малолѣтнаго внука.

Княгиня Ирина Васильевна въ это время уже была очень стара; лѣта и горе брали свое, и воспитаніе внука ей было вовсе не по силамъ. Однако, дѣлать было нечего. Точно такъ же, какъ она нѣкогда неподважно осѣлась въ деревнѣ, теперь она засѣла въ Парижъ, и вовсе не помышляла о возвращеніи въ Россію. Одна мысль о какихъ бы то ни было сборахъ заставляла ее трястись и пугаться. «Пусть доживу мой вѣкъ, какъ живется» говорила она, и страшно нелюбила людей, которые напоминали ей о какихъ бы то ни было перемѣнахъ въ ея жизни.

Внука она отдала въ одинъ изъ лучшихъ парижскихъ пансіоновъ, а къ Анѣ пригласила учителей, и жила въ полной увѣренности, что она воспитываетъ дѣтей какъ нельзя лучше.

Дѣти росли, княгиня старѣлась, и стала быстро подаваться къ гробу.

Восемнадцатилѣтній князь Кирилл Лукичъ смотрѣлъ молодцомъ, хотя и французомъ, Аня разцвѣла пышною розой.

Кромѣ того, чemu Анию учили французскіе учителя и дѣячокъ русской посольской церкви, она немало сдѣлала для себя и сама. Старая княгиня не могла имѣть сильнаго вліянія на всестороннее развитіе дѣвушки. Она учила ее вѣрить въ верховную опеку промысла; старалась передать ей небольшой запасъ сухихъ правилъ, замѣнившихъ для нея самой весь нравственный кодексъ; любовалась красотою ея лица, очаровательною граціею стана, изяществомъ манеръ, и болѣе ничего. Анна Михайловна сама додумалась, что положеніе ея въ домѣ княгини фальшивое, что ей нужно самой обставить себя совсѣмъ иначе, и что на заботы княгини во всемъ полагаться нельзя. Анна Михайловна была существо самое кроткое, нѣжное сердцемъ, честное до болѣзnenности, и безпредѣльно-довѣрчивое. Начавшись романтическихъ писателей французской романтической школы, она сама очень порядочно страдала романтизмомъ, но при всемъ томъ, она, однако, понимала свое положеніе, и хотѣла смотрѣть въ свое будущее не сквозь розовую призму. О семье своей Анна Михайловна знала очень мало. Съ тѣхъ поръ, какъ ее маленькихъ дитемъ вывезли за-границу, разъ въ годъ, когда княгиня получала

изъ имѣнія бумаги, прочитывая управительскіе отчеты, она обыкновенно говорила: «твоя мать, Аня, здорова», и тѣмъ ограничивались свѣдѣнія Ани о ея матери.

Когда дѣвочки было шесть лѣтъ, княгиня, читая вновь-полученный ею отчетъ, сказала: «твоя мать, Аня, здорова, и...» и на этомъ и княгиня поперхнулась.

— И у тебя, Аня, родилась сестрица, добавила она черезъ нѣсколько времени съ досадою, и вмѣстѣ съ такимъ удивленіемъ, какъ будто хотѣла сказать: что это еще за мода такую глупую выдумали! А Аня была необыкновенно какъ рада, что у нея есть сестрица.

— Маленькая? спрашивала она у княгини.

— Очень, мой другъ, маленькая, и зовутъ ее Дорушкой, отвѣчала княгиня.

Аня такъ и запрыгала отъ этой радостной вѣсти.

— Ахъ, какая это должна быть прелестъ — эта Дорунка! размышляла дѣвочка цѣлый день, до вечера.

Ночью сквозь сонъ ей слышалось, что княгиня какъ будто дурно говорила о ея матери съ своею старой горничной; будто упрекала ее въ чемъ-то противъ Михайленки, сердилась и обѣщала немедленно велѣть разсчитать молодого, бѣлокураго швейцарца Траппа, управлявшаго въ селѣ заведеною княземъ ковровою фабрикой. Аня рѣшительно не понимала, чѣмъ ея мать оскорбила покойнаго Михайлушки, и зачѣмъ тутъ при этой смѣтѣ приходился бѣлокурый швейцарецъ Траппъ: она только радовалась, что у нея есть очень маленькая сестрица, которую вѣрно можно купать, пеленать, нянѣтъ и производить надъ ней другія подобныя интересныя операции. Черезъ годъ еще, княгиня сказала: «ты, Аня, будь умница — не плачь: твоя мать, мой дружечекъ, умерла.»

— Умерла! закричала Аня.

— Давно, мой другъ, не плачь, не теперь, она давно ужъ умерла.

Аня все-таки горько плакала.

— А сестрица моя? спрашивала она княгиню.

— Я велю, дружочекъ, твою сестрицу прибрать; велю, чтобы ей хорошо было, успокаивала княгиня.

Аня утѣшалась, что ея маленькой сестрицѣ будетъ хорошо.

А между тѣмъ, время работало свою работу. Маленькая сестрица Ани, взятая изъ состраданія очень доброю и просвѣщен-

ною женою ~~хозяя~~ управлятеля, подросла, выучилась писать, и  
учила сестръ очень милое дѣтское письмо.

Между сестрами завязалась живая переписка: Аня заочно пристращалась къ Дорушѣ; та ей взаимно, изъ своей степной глуши, платила самой горячей любовью. Преобладающимъ стремлениемъ дѣвочечъ стало страстное желаніе увидаться другъ съ другомъ. Княгиня и слышать не хотѣла о томъ, чтобы отпустить шеснадцатилѣтнюю Аню изъ Парижа, въ какую-то глухую степную деревню. «Послѣ моей смерти ступай куда хочешь, а при мнѣ не дѣтай глупостей», говорила она Аннѣ Михайловнѣ, не замѣчая, что та въ ея-то именно присутствіи и дѣлаетъ самую высшую глупость изъ всѣхъ глупостей, которая она могла бы сдѣлать.

Анна Михайловна, невидавшая ни одного мужчины, кромѣ своихъ учителей и двухъ или трехъ старыхъ роялистскихъ генераловъ, изрѣдка навѣщавшихъ княгиню, со всею теплотою и дѣтскою довѣрчивостью своей натуры привязывалась къ князю Кириллу Лукичу. Князь Кирилль, выросшій во французской школѣ и пропитанный французскими понятіями о чести вообще и о честности по отношенію къ женщинѣ въ особенности, называлъ Аню своей хорошенкою кузиной, и быть къ ней добръ и предупредителенъ. Анѣ всегда очень нравилось вниманіе князя; ей съ нимъ было веселѣе и какъ-то лучше, пріятнѣе, чѣмъ съ старушкой-княгиней и ея французскими, роялистскими генералами, или съ дѣячкомъ русской посольской церкви. Молодые люди вмѣстѣ гуляли, катались,ѣздили за городъ; княгиня все это находила весьма приличнымъ и естественнымъ, но ей показалось совершенно неестественнымъ, когда Аня, сидя одинъ разъ за чаемъ, вдругъ тихо вскрикнула, поблѣднѣла, и откинулась на спинку кресла.

Анна Михайловна не умѣла скрыть отъ княгини своей беременности. Княгиня, впрочемъ, ни въ чемъ не упрекала Анну Михайловну, и только страшно сердилась на своего внука. Родилось дитя, его свезли и отдали на воспитаніе въ небольшую деревеньку около Версала. Прошло два мѣсяца; Анна Михайловна оправилась, а княгиня заболѣла и умерла. Кончаясь, она вручила Аннѣ Михайловнѣ давно-приготовленную вольную, для неї и Доры, банковый билетъ въ десять тысячъ рублей асигнаціями, и долговое обязательство въ такую же сумму, подписанное еще покойнымъ княземъ Лукою и вполнѣ обязательное для его наследника.

Поведение князя Кирила, по отношению къ Аннѣ Михайловнѣ, было весьма неодобрительно, какъ французы говорятъ: *онъ не-  
стутилъ какъ мужчина.* Аня теперь ясно видѣла, что князь ни-  
когда не любилъ ее, и что она была ни больше ни меньше,  
какъ одна изъ тысячи жертвъ, преслѣдованіе которыхъ состав-  
ляетъ пріятную задачу праздной и пустой жизни князя. Анна  
Михайловна была обижена очень сильно, но ни въ чёмъ не упре-  
кала князя, и не мѣшала ему избѣгать съ нею встрѣчъ, которыми  
онъ еще такъ недавно очень дорожилъ, и которыхъ такъ горячо  
всегда добивался. Она не ненавидѣла князя. Въ ея нѣжной душѣ  
оставалось къ нему то теплое, любовное чувство, которое иногда  
навсегда остается въ сердцахъ многихъ хорошихъ женщинъ къ  
иѣкогда любимымъ людямъ, которымъ онѣ обязаны всѣми своими  
несчастіями.

Анна Михайловна просила князя только навѣдываться повреме-  
намъ о ребёнкѣ, пока его можно будетъ перевезти въ Россію,  
и тотчасъ послѣ похоронъ старой княгини уѣхала въ давно ос-  
тавленное отечество.

Тутъ же она взяла изъ деревни Дорушку, увезла ее въ Пе-  
тербургъ, открыла очень хорошенький модный магазинъ и стала  
работать.

Личная впечатлѣнія, пропизденныя сестрами другъ на друга,  
были самыя выгодныя. Дорушка не была такъ образована, какъ  
Анна Михайловна; она даже съ великимъ трудомъ объяснялась  
пофранцузски, но была очень бойка, умна, искренна и необык-  
новенно понятлива. Благодаря внимательности и благородному  
бездѣтной и очень прямо смотрѣвшей на жизнь жены управи-  
теля, у которой выросла Дора, она была развита не по лѣтамъ,  
и Анна Михайловна нашла въ своей маленькой сестрицѣ друга,  
уже способнаго понять всякую мысль и отзываться на каждое  
чувство.

Въ это время Аннѣ Михайловнѣ шелъ двадцатый, а Дорушѣ  
пятнадцатый годъ. Труды и заботы Анны Михайловны вѣнча-  
лись полнымъ успѣхомъ: магазинъ ея пріобрѣталъ день ото дня  
лучшую репутацію, здоровье служило какъ нельзя лучше; Амуръ  
щадилъ ихъ сердца и не шевелилъ своими мучительными стрѣ-  
лами: нечего желать было больше.

Такъ прошло три года.

Въ эти три года Анна Михайловна нѣ могла добиться отъ  
князя трехъ словъ о своемъ ребёнкѣ, существованіе котораго не

было секретомъ для ея сестры, и рѣшилась ѿхать съ Дорушкой въ Парижъ, гдѣ мы ихъ и встрѣчаемъ.

Онѣ здѣсь пробыли уже около мѣсяца прежде, чѣмъ столкнулись въ Луврѣ съ Долинскимъ. Анна Михайловна во все это время никакъ не могла добиться аудиенціи у своего князя. Его то не было дома, то онъ не могъ принять ее. Къ Аннѣ Михайловнѣ онъ обѣщалъ заѣхать и не заѣжалъ.

— Очень милый господинъ! Вѣжливъ какъ сапожникъ, говорила Дорушка, непомѣрно раздражаясь на князя, котораго Анна Михайловна всякий день съ тревогою и нетерпѣніемъ дожидала съ утра до ночи, и все-таки старалась его оправдывать.

Наконецъ и Анна Михайловна не выдержала. Она написала князю самое убѣдительное письмо, послѣ котораго тотъ назначилъ ей свиданіе у Вашета.

Анну Михайловну очень удивляло, почему князь не могъ принять ее у себя и назначаетъ ей свиданіе въ ресторанѣ, но отъ него это была уже не первая обида, которую ей приходилось прятать въ карманъ. Анна Михайловна въ назначенное время отправилась съ Дорою къ Вашету. Дорушка спросила себѣ чашку бульону, и осталась внизу, а Анна Михайловна показала карточку, переданную ей лакеемъ князя.

Ее проводили въ небольшую, очень хорошо мѣбliированную комнату въ бель-этажѣ.

Анна Михайловна опустилась на диванъ, на которомъ года четыре назадъ сиживала веселая и довѣрчивая съ этимъ же княземъ, и вспомнилось ей многое, и стало ей и горько и смѣшино.

«Каково-то будетъ это свиданіе? подумала она съ грустной улыбкой.

«Поговоримъ о дѣлѣ, о нашемъ ребёнкѣ, и пожелаемъ другъ другу счастливо оставаться.»

Въ дверь кто-то слегка постучался.

«Это его стукъ», подумала Анна Михайловна, и отвѣчала «войдите».

Вошелъ расфранченный господинъ, совершенно незнакомый Аннѣ Михайловнѣ.

— Вы госпожа Прохорова? спросилъ онъ ее чистѣйшимъ парижскимъ языкомъ.

— Я, отвѣчала она.

— Вамъ угодно было видѣть князя Сурского?

— Да, мнѣ нужно видѣть князя Сурского.

Ч. I.

— Онъ не можетъ лично видѣться съ вами сегодня.  
Анна Михайловна смѣшалась.

— Однако, надѣюсь, онъ пригласилъ меня сюда!

— Да, это онъ, который васъ пригласилъ сюда, но ручаюсь вами, madame, онъ здѣсь не будетъ. Вы вѣрно знаете — князь помолвленъ.

— Помолвленъ! нѣтъ, я этого не знала и не намѣрена искать чести узнавать его невѣсты, говорила торопясь и мѣшаясь Анна Михайловна.—Скажите мнѣ только одно: гдѣ и когда наконецъ я могу его видѣть на нѣсколько минутъ?

— Говоря по истинѣ, я полагаю, *никогда*, отвѣчала вскидывая голову французъ.—Князь много дѣлъ такихъ покончилъ чрезъ меня, и теперь уполномочилъ меня переговорить и кончить съ вами. Я его камердинеръ — къ вашимъ услугамъ.

Французъ развязно поклонился.

— Я вами не вѣрю, отвѣчала вся вспыхнувъ Анна Михайловна.

Камердинеръ развернулъ свою записную книжечку и показалъ листокъ, на которомъ рукою князя было написано: «я уполномочилъ моего камердинера, господина Рено, войти съ госпожею Прохоровою въ переговоры, которыхъ она желаетъ».

— Гдѣ мой ребёнокъ? рѣзко спросила, роняя изъ рукъ записную книжку, Анна Михайловна.

— Умеръ, больше двухъ лѣтъ назадъ, отвѣчала спокойно господинъ Рено.

— Такъ вы скажите вашему князю, что я только это и хотѣла знать, твердо произнесла Анна Михайловна и вышла изъ комнаты.

— Какая неслыханная дерзость! воскликнула Дора, когда сестра дрожа и давясь слезами рассказала ей о своемъ свиданіи.

— Онъ пустой и ничтожный человѣкъ, отвѣчала краснѣя Анна Михайловна и заплакала.

— О чѣмъ же, о чѣмъ это ты плачешь?... Тебя, честную женщину, выписываютъ въ кабакъ, въ трактиръ какой-то, довѣряютъ твои тайны какимъ-то французикамъ, лакеямъ, а ты плачешь! Развѣ въ такихъ случаяхъ можно плакать? Такой мерзавецъ можетъ вызывать только одно пренебреженіе, а не слезы.

— Не могу пренебрегать равнодушно.

— Ну, мсти!

— Я не умѣю мстить и не хочу. Я гадка сама себѣ, а онъ мнѣ просто жалокъ.

— Жалокъ!... Да, очень жалокъ... Я бы съ жалости ему разгрызла горло и плюнула бѣ въ глаза его лакею.

— Дора, оставь меня лучше въ покой!

Дорушка пожала плечами и они поѣхали въ томъ омнибусѣ, въ которомъ встрѣтились у св. Магдалины съ Долинскимъ, когда встревоженная Анна Михайловна обронила присланный ей изъ Москвы денежный вексель.

### III.

#### Исторія въ другомъ родѣ.

Дѣдъ Долинскаго, полуполякъ, полумалороссіянинъ, былъ киевскимъ магистратскимъ войтомъ незадолго до потери этимъ городомъ привилегій, которыми онъ пользовался по магдебургскому праву. Войтъ Долинскій принадлежалъ къ старой городской аристократіи, какъ по своему роду, такъ и по почетному званію, и по очень хорошему, честно наਜитому состоянію пользовался въ заднѣпровской Украинѣ очень почтенною извѣстностью иуваженіемъ. Стойкость, строгая справедливость и дальновидный дипломатическій умъ можно ставить главными чертами, способными характеризовать личность старого войта. Сынъ такого отца, Игнатій Долинскій не наследовалъ всѣхъ родительскихъ качествъ. Онъ былъ человѣкъ очень честный въ буржуазномъ смыслѣ этого слова, и даже неглупый, но лѣнивый, вялый, беспечный и ко всему всесовершенно равнодушный. Жена Игнатія Долинскаго, сиротка, выросшая «въ племянницахъ» въ одномъ русскомъ купеческомъ домѣ, принадлежала къ весьма немалочисленному разряду нашихъ съ дѣтства забитыхъ великорусскихъ женщинъ, остающихся на цѣлую жизнь безотвѣтными, сиротливыми дѣтьми и молитвенницами за затолокшій ихъ міръ божій. Игнатій Долинскій неспособенъ былъ разбудить въ своей безотвѣтнодоброй женѣ ни смѣлости, ни воли, ни энергіи. Выйдя замужъ и рожая дѣтей, она оставалась такимъ же сиротливымъ и безхитростнымъ ребёнкомъ, какимъ была въ домѣ своего московскаго дяди и благодѣтеля. Жизнь въ Кіевѣ, на высокомъ Печерскѣ, въ нѣсколькоихъ шагахъ отъ златоверхой лавры, вѣчно полной богомольцами, стекающимися къ родной святынѣ отъ запада, и съвера, и моря, рельефнѣе всего выработала въ характерѣ Долинской одну черту, съ дѣтства спавшую въ ней въ зародышѣ. Съ каждымъ годомъ Ульяна Петровна Долинская становилась все \*

религіознѣ; постилась все строже, молилась больше; скорбѣла о людской злобѣ и не выходила изъ церкви или отъ бѣдныхъ. Нищіе, странные и убогіе были любимою средою Долинской, и въ этой исключительной средѣ ея робкая и чистая душа старалась скрываться отъ мірскихъ суетъ и треволненій.

Деньги для Долинской никогда не имѣли никакой цѣны, а тутъ, отдаваясь съ лѣтами одной мысли о житьѣ по слову божию, она стала даже съ омерзеніемъ смотрѣть на всякое земное богатство. Ни одна монета не могла получаса пролежать въ ея карманѣ не перепрыгнувъ въ дырявую суму проползшаго тысячу верстъ мужичка или въ хату къ дѣтямъ пьянствующаго сосѣда-ремесленника. Рука Долинской давала и, направо, и нальво; мужъ смотрѣлъ на это филаретовское милосердіе совершенно спокойно. Онъ нетолько не удерживалъ ея безмѣрно щедрую руку, но даже одобрялъ такое распоряженіе имуществомъ.

— Моя Ульяна Петровна ангель, говорилъ онъ, благоговѣйно поднимая глаза къ небу:—она истинная христіанка, безсребренница, незлобива.

Такъ и шли дѣла, пока состоянія, оставленнаго войтомъ, доставало на удовлетвореніе щедрости его невѣстки; но наконецъ въ городѣ стали замѣчать, что Долинскіе «начали пріупадать», а еще немножко—и семья Долинскихъ ужъ вовсе не считалась за житочную. Ульяна Петровна все шла своею дорогою. Дѣтей у Долинскихъ было трое: два сына: Аристархъ и Несторъ и дочь Леокадія. Росли эти дѣти на полной свободѣ: мать и отецъ были съ ними очень нѣжны, но не дѣлали дѣтскаго воспитаніе своею главною задачею. Изъ дѣтей, однако, не выходило ничего дурнаго: они росли дѣтьми нѣжными, дружными и ласковыми. Ульяна Петровна любила ихъ всѣхъ ровно, одною чисто-евангельскою любовью, но ближе двухъ другихъ къ ней былъ Несторъ. Этотъ очаровательно-красивый мальчикъ былъ страшно привязанъ къ своей благочестивой матери и вслѣдствіе этой страстиности самъ пристрастился къ ея образу жизни и занятіямъ. Торопливо протирая сонные глазенки, вскакивалъ онъ при первомъ движениі матери о полуночи; стоя на колѣняхъ, лепеталъ онъ за нею слова вдохновенныхъ молитвъ Сирина, Дамаскина, и шатаясь выстаивалъ долгій часъ монастырской полунощницы. И такъ всякий день. Весь домъ, наполненный и истинными, и лукавыми «людьми божьими», спитъ безмятежнымъ сномъ, а какъ только раздается въ двѣнадцать часовъ первый звукъ лаврскаго палеелейнаго колокола, Несторъ съ ма-

терью становятся на колѣна и молятся долго, тепло, со слезами молятся «о еже спастися людамъ и въ разумъ истинный видти».

Подкрѣпленная усердной молитвой, Ульяна Петровна въ три часа ночи снова укладывала Нестора въ его постельку, и сама спускалась въ кухню, и съ этой ранней поры тамъ начиналось стряпанье ежедневно на сорокъ человѣкъ нуждающихся въ пищѣ. Съ шести часовъ утра въ домѣ Долинскихъ уже пили и ъли, а Ульяна Петровна съ этого часа позволяла себѣ снова искать своей духовной пищи. Сходять они съ Несторомъ въ лавру, въ Великую церковь, или на Пещерахъ, поклоняются останкамъ древнихъ христіанскихъ подвижниковъ, найдутъ по дорогѣ кого нибудь немощнаго или голоднаго, возьмутъ его домой, покормятъ, пріютятъ и утѣшатъ. Приходитъ къ чаю какой-нибудь странникъ, иногда немножко изувѣръ, немножко лгунъ, немножко фанатикъ, а иногда и этакой простой, чистый и поэтически вдохновенный русскій экземпляръ, который не помнить, какъ и почему еще съ самаго ранняго дѣтства —

Имъ овладѣло беспокойство  
Охота въ перемѣнѣ мѣсть,  
Весьма мучительное свойство  
И многихъ добровольный крестъ.

Идутъ здѣсь разсказы о разныхъ чудесныхъ мѣстахъ и еще болѣе чудесныхъ событияхъ. Горы, долы, темные лѣса дремучіе, подземныя пещеры, мрачныя и широкія безпредѣльныя степи съ ковылемъ-травой, легкимъ перекати-полемъ и божьей птицей аистомъ «змѣиенстребителемъ», все это такъ и рисуется въ воображеніи съ рассказовъ обутаго въ лапотки «человѣка божія», а надо всѣмъ надѣ этимъ серѣзно возвышаются сухіе, строгіе контуры схимниковъ, и еще выше лучезарный либъ св. Николая «скораго въ бѣдахъ помощника», Георгій на бѣломъ какъ кипѣнь конѣ, рѣюющій въ высокомъ голубомъ небѣ, и наконецъ выше всего этого свѣтъ, тотъ свѣтъ невечерній, размыщеніе о которомъ обнимаетъ вѣрующія души блаженствомъ и трепетомъ.

Наслушавшись такихъ рѣчей, Ульяна Петровна велитъ себѣ запречь одноколочку, садится съ Несторомъ и ѿдетъ въ Китаевъ, или въ Голосеевъ. Выѣдетъ Ульяна Петровна за городъ, пахнетъ на нее съ Днѣпра вѣчной свѣжестью, и она вдругъ оживится, почувствовавъ ласкающее дыханіе свободной природы, но влѣво пробѣжитъ по зеленої муравкѣ сѣрий дымокъ, раздастся взрывъ саперной мины, или залпъ ружей въ лѣтнихъ баракахъ — и Ульяна

Петровна всл такъ и замретъ. Не слабонервный страхъ, а какой-то ужасъ духовный охватываетъ ее при мысли о враждѣ человѣческой, о силѣ и разрушеніи. То же самое чувствовала она при разсказѣ о всякомъ преступленіи. «Богъ съ ними! Богу судить зло человѣческое, а не людямъ. Это не нами, не нашими руками создано, и не нашимъ умомъ судится», говорила она, и никогда въ пѣлую свою жизнь не высказалася ни одного осужденія, никогда не хотѣла знать, если у нея что нибудь крали.

— Никто не укралъ; зачѣмъ обижать человѣка! Взялъ кому нужно было; ну, и пошли ему Богъ на здоровье, отвѣчала она на жалобы слугъ, доводившихъ ей о какой-нибудь пропажѣ.

Кончилось тѣмъ, что «пріупадавшій» домъ Долинскихъ упалъ и разорился совершенно. Игнатій Долинскій покушалъ спѣлыхъ дынъ-дубовокъ, легъ соснуть, всталъ часа черезъ два съ жестокою болью въ желудкѣ, а къ полуночи умеръ. Съ него распочалася въ городѣ шедшая съ сѣверо-запада холера. Ульяна Петровна склонила мужа, не уронивъ ни одной слезы на его могилѣ, и дѣтямъ наказывала не плакать.

— Зачѣмъ, говорила она:—его друга нашего смущать нашими глупыми слезами? Пусть тихъ и миренъ будетъ путь его въ селенія праведныхъ.

Точно Офелія, эта шекспирова «божественная нимфа» съ своею просьбою не плакать, а молиться о немъ, Ульяна Петровна совсѣмъ забыла о мірѣ. Она молилась о мужѣ сама, заставляла молиться за него другихъ, ъздила исповѣдывать грѣхи своей чистой души къ схимникамъ китаевской и голосеевской пустыни, молилась у кельи извѣстнаго провидца Пароенія, отъ которой вдалекѣ былъ видѣнъ весь городъ, унывшій подъ тяжелою тучею налетѣвшей на него невзгоды.

Картина была непріятная, сухая и зловѣщая: стоявшая въ воздухѣ сѣрая мгла задерживала все небо чернымъ, траурнымъ крепомъ; солнце висѣло на западѣ безъ блеска, какъ ломть печеной рѣпы съ пригорѣлыми краями и тускло мѣдной серединой; съ пожелтѣвшихъ заднѣпровскихъ луговъ не прилетало ни одной ароматной струи свѣжаго воздуха, и вместо запаха чебреца, меринонки, бородицкой травки и горчавки, оттуда доносился тяжелый, пропаленный запахъ, какъ будто тамъ гдѣ-то тлѣло и дымилось несметное количество слеглаго сѣна.

— Будетъ молиться, Ульянушка; пора тебѣ собираться въ

путь, сказа́лъ Ульяна Петровна заставши́й ее на вечерней молитвѣ старецъ.

Ульяна Петровна растолковала себѣ эти слова по своему. Она посмотрѣла въ угасшіе очи отшельника, поклонилась ему до земли, вернулась домой, отговѣлась въ лаврѣ, причастилась въ пещерѣ св. Антонія, потомъ особоровалась и черезъ день скончалась. Съ нею и прекратилась въ городѣ холера.

Дѣти Долинскихъ остались одни, съ однимъ деревяннымъ домомъ, обремененнымъ тяжелыми долгами. Аристархъ, шестнадцать лѣтъ, пошелъ служить къ купцу; сестру Леокадію взяла тѣтка и увезла куда-то къ Ливнамъ, а Нестора, имѣвшаго четырнадцать лѣтъ, призрѣлъ дядя, бѣдный братъ Ульяны Петровны, добившійся кафедры въ московскомъ университѣтѣ. Братъ Ульяны Петровны былъ человѣкъ и добрый, и ученый, но слабый характеромъ, а жена его была недобрая женщина, пустая и тщеславная. Въ этомъ домѣ Несторъ Долинскій только началъ учиться. Двадцати-одного года онъ окончилъ курсъ гимназіи, двадцати-пяти вышелъ первымъ кандидатомъ изъ университета и тотчасъ поступилъ старшимъ учителемъ въ одну изъ московскихъ гимназій, а двадцати-семи женился самымъ неудачнымъ образомъ.

Несторъ Игнатьевичъ Долинскій во многихъ своихъ сторонахъ вышелъ очень страннымъ человѣкомъ. Никто не сомнѣвался, что онъ человѣкъ очень умный, чувствительный, но никто бы не умѣлъ продолжать его характеристику далѣе этихъ общихъ опредѣленій.

— Мой Сторя будешь истинный ино́къ божій, говорила часто его мать, поглаживая сына по головѣ, обрекаемой подъ черный клобукъ.

Можетъ быть, покойная Ульяна Петровна и не ошибалась. Можетъ быть, ея кроткій красавецъ-сынъ и точно болѣе всего обладалъ качествами, нужными для сосредоточенной, самосозерцательной и молитвенной жизни, которую нашъ народъ считаетъ приличною истинному иночеству. Онъ вѣроятно могъ быть хорошимъ проповѣдникомъ, утѣшителемъ и наставникомъ страждущаго человѣчества, которому онъ съ раннаго дѣтства привыкъ служить, подъ руководствомъ своей матери, и которое оставалось ему навсегда близкимъ и понятнымъ; къ людскимъ неправдамъ и порокамъ онъ былъ снисходителенъ не менѣе своей матери, но страстная религіозность его дѣтскихъ лѣтъ скоро

прошла въ домъ дади. Онъ былъ, что у насть называется, «человѣкъ разноплетеный». Нарушеній извнѣ міръ своего внутренняго я, онъ не умѣлъ врачевать молитвой, какъ его мать, но онъ и самъ ничего не отстаивалъ, ни за что не бился крѣпко. Онъ никогда не жаловался ни на что ни себѣ, ни людямъ, а огорченный чѣмъ либуть только уходилъ къ общей нашей матери-природѣ, которая всегда умѣеть въ мѣру успокоить оскорблѣнное эстетическое чувство, или возстановить разрушенный міръ съ самимъ собою. Жизнь въ одномъ домѣ съ придирчивой, мелочной и сварливой женой дяди заставляла его часто лечить свою душу, возмущавшуюся противъ несправедливыхъ и неделикатныхъ поступковъ ея въ отношеніи мужа.

Въ какой мѣрѣ это портило характеръ Нестора Игнатьевича, или способствовало лучшей выработкѣ однѣхъ его сторонъ на счетъ угнетенія другихъ — судить было невозможно, потому что Долинскій почти не жилъ съ людьми; но онъ самъ часто вздыхалъ и ужасался, считая себя человѣкомъ совершенно неспособнымъ къ самостоятельной жизни. Сильно поразившая его, послѣ чистаго нрава матери, вздорная мелочность дядиной жены, развила въ немъ тоже своего рода мелочную придирчивость ко всякой людской мелочи, откуда пошла постоянно сдерживаемая раздражительность, глубокая скорбь о людской порочности въ постоянной борбѣ съ снисходительностью и любовью къ человѣчеству, и наконецъ, болѣзnenный разладъ съ самимъ собою, во всемъ мучительная нерѣшительность — безволье. Это послѣднее свойство своего характера, Долинскій очень хорошо сознавалъ, и оно-то приводило его въ совершенное отчаяніе. Во чѣмъ бы то ни стало, онъ хотѣлъ быть сильнымъ господиномъ своихъ поступковъ и самимъ безжалостнымъ образомъ заставлять свое сердце приносить самыя тяжелыя жертвы не разуму, а именно рѣшимости выработать въ себѣ волю и рѣшимость. Эти экспериментальная упражненія надъ собою до такой степени забили Нестора Долинскаго, что, классифицируя свое желаніе, онъ уже затруднялся разбирать, хочетъ ли онъ чего либуть потому, что этого ему хочется, или потому, что онъ долженъ этого хотѣть. Это его страшно пугало. Два-три страшныхъ случая, въ которыхъ онъ, преслѣдуя свою задачу, въ одно и то же время поступалъ наперекоръ и своей волѣ, и своимъ желаніямъ, повергли его въ глубокую апатію — у него развивалась мизантропія.

Въ это время изъ самаго хлѣбороднаго уѣзда хлѣбороднѣй-

шей губерніи въ разлатомъ цыновочномъ возкѣ приплыло въ Москву почтенное семейство мелкопомѣстныхъ дворянъ Азовцовыхъ. Новоприбывшая фамилія состояла изъ матери, толстомясої барыни съ сѣдыми волосами, румянымъ лицомъ, черными борнетскими успками и живыми черными же, барсучими глазами, напоминающими, впрочемъ, болѣе глаза сваренаго рака. Потомъ здѣсь были двѣ дѣвушки, дочери, Юлія и Викторина. Викторинѣ всего шелъ пятнадцатый годъ, и о ней не стоитъ распространяться. Довольно сказать, что это было довольно милое и сердечное дитя, изъ котораго, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, могла выйтти весьма милая женщина. Старшей ея сестрѣ Юліи было полныхъ девятнадцать лѣтъ. Это была небольшая, черненькая фигурка, некрасивая, неизящная, несимпатичная, таѣ себѣ, какъ въ сказкѣ сказывается, «дѣвка-чернявка», или какъ народъ говоритъ, «птица-пиголица». Нравъ у этой чернявки былъ самый гнусный: хитра, предательски ехидна, самолюбива, жадна, мстительна, требовательна и жестокосерда. Притомъ каждого изъ этихъ почтенныхъ свойствъ въ ней находилось по самой крупной дозѣ.

При столь почтенныхъ свойствахъ характера, «дѣвица-чернявка» была довольно неглуша. Ее нельзя было назвать особенной умницей, но она несомнѣнно владѣла всѣми тѣми способностями ума, которыя нужны для того, чтобы хитрить, чтобы расчищать себѣ въ жизни дорожку и сдвигать съ нея другихъ самымъ тихимъ и незамѣтнымъ манеромъ. Справедливость требуетъ сказать, что у чернявки когда-то, хоть очень давно, хоть еще въ раннемъ дѣтствѣ, въ натурѣ было что-то доброе. Такъ она, напримѣръ, не могла видѣть, какъ бьютъ лошадь или собаку, и способна была заплакать при извѣстіи, что застрѣлился какой нибудь молодой человѣкъ, особенно если молодому человѣку благоразумно вздумалось застрѣлиться отъ любви, но... но сама любить кого нибудь, или что-нибудь кромѣ себя и денегъ... этого Юлія Азовцова не могла, не умѣла, и не желала. У нея бывали и друзья, которые не могли имѣть при ней никакого значенія. Одинъ такой ея другъ, нѣкая бѣдная купеческая дѣвушка Устинька, цѣлые годы служила Юліи Азовцовой для сбрасыванія на нее всякого сору и гадостей, и благодаря ей невинно утратила репутацію, столь важную въ узенькомъ кружкѣ бѣднаго городишка.

Обстоятельства, при которыхъ протекало дѣтство, отрочество

и юность Юлии Азовцовой, были таковы, что рассматриваемая нами особь, подходя къ данной порѣ своей жизни, не могла выйтіи ничѣмъ инымъ, какъ тѣмъ, чѣмъ она нынѣ рекомендуется снисходительному читателю. Она съ самаго ранняго дѣтства была почищею и кормилицею цѣлой семьи, въ которой, кромѣ матери и сестры, были еще грызуны въ видѣ разбитаго параличомъ и жизнью отца и двухъ младшихъ братьевъ. Состояніе Азовцовыхъ заключалось въ небольшомъ наслѣдственномъ хуторѣ, въ которомъ, по мѣстному выраженію, было «два двора-гончара, а третій—тетеречникъ». Обѣ отцѣ Юлии Азовцовой съ гораздо большою основательностью чѣмъ о мужѣ слесарши Попшепкиной можно было сказать, что онъ рѣшительно «никуда негодился». Мать ея, у которой, какъ выше замѣчено, были черные рачьи глаза навыкатѣ и щегольскіе корнетскіе усики, называлась въ своемъ уѣздѣ «матроской». Она довольно побилась съ своимъ мужемъ, опредѣляя и перемѣщая его съ мѣста на мѣсто, и наконецъ, произведя на свѣтъ Викториночку,бросила супруга въ его хуторномъ тетеречникѣ и перевезла весь свой приплодъ въ ближайшій губернскій городъ, гдѣ въ то святое и приснопамятное время содержалъ винный откупъ человѣкъ, известный нѣкогда своимъ богатствомъ, а нынѣ—позоромъ и безславiemъ своихъ дѣтей. Бабушка этого богача съ бабушкою «матроски», какъ говорятъ, на одномъ солнышкѣ чулочки сушили, и въ силу этого сближающаго обстоятельства «матроска считала богача своимъ дядинькой». Радостно срѣтая нѣкогда его комерческое восхожденіе, она упросила его быть воспріемнымъ отцомъ Юлиньки. Комерческая двойка, влѣзавшая въ то время въ онѣрную фигуру, была честолюбива, какъ всѣ подобныя двойки, но еще не заѣлась поклоненіями, была, такъ-сказать, довольно ручна и великолѣпно снізошла на матроскину прослѣбу. Въ фигурѣ валета эта добродѣтельная карта сдѣлалась матроскинымъ дядей и кумомъ, а когда три ограбленныя валетомъ губерніи произвели его въ тузы, матроска, безъ всякихъ средствъ въ жизни, явилась въ его резиденцію. Главнымъ и единственнымъ ея средствомъ въ это время была «Юлочка», и Юлочка цѣною собственнаго глубокаго нравственного развращенія вывезла на своихъ дѣтскихъ плечахъ и мать, и отца, и сестру, и братьевъ. Маленькою, пятилѣтнею девочкой, всю въ завиточкахъ, въ коротенькомъ платыцѣ и обшитыхъ кружевцами панталончикахъ, матроска отвела ее въ вертепъ откупного туза, и научила, какъ она должна плакать, какъ

притворяться слабой, какъ ласкаться къ тузу, какъ льстить его тузихъ, какъ уступать во всемъ тузенятамъ. Выпущенная къ рампѣ, Юлочка съ первого же раза обнаружила огромныя дипломатическія и сценическія дарованія. Она лгала, какъ историкъ, и вернулась домой съ тысячью рублей. Съ этихъ поръ Юлочка была запродана ненасытному мамону и, вѣрно, поработала ему до седьмого пота. Начавшееся съ этихъ поръ христорадничанье и нищебродство Юлочки не прекращалось до того самаго дня, въ который мы встрѣчаемъ ее вѣзжающую въ разлатомъ возѣ съ сестрою, матерью и младшимъ братомъ Петрушей въ Москву. Много дѣвка-чернявка натерпѣлась обидѣ и горя въ своей нищебродной жизни! Обижала ее и сухая, жесткая тузиха, и надменные тузыната, и лакеи, и большая меделянская собака Выдра, имѣвшая привычку поднимать лапу на каждого, кто боялся прогнать ее предъ очами самого туза. Юлочка глотала слезы, глядя на свое свѣженѣкое платьице, беспощадно испорченное Выдрою, но все сносила терпѣливо. Благодѣтель замѣчалъ это и дарилъ Юлочкѣ за одно испорченное платьице пять новыхъ, но за то тузиха и тузыната называли ее *тумбочкой* и вообще дѣлали предметомъ самыхъ злобныхъ насмѣшекъ. Юлочка все это слагала въ своемъ сердцѣ, ненавидѣла надменныхъ богачей и кланялась имъ, унижалась, лизала ихъ руки, лгала имъ, лгала матери, стала низкою, гадкою лгуньею; но очень долго никто не замѣчалъ этого, и даже сама мать, которая учила Юлочку лгать и притворяться, кажется, не знала, что она изъ нее дѣлаетъ; и она только похваливала ея умъ и расторопность. Духовнаго согласія у матери съ дочерью, впрочемъ, вовсе не было. Оба эти паразиты составляли плотный союзъ только тогда, когда дѣло шло объ томъ, чтобы тѣмъ или инымъ ловкимъ фортелемъ вымозжитъ что-нибудь у своихъ благодѣтелей. Въ остальное же время они нерѣдко были даже открытыми врагами другъ другу: Юла мстила матери за свои униженія — та ей не вѣрила, видя, что дочь начала далеко превосходить ее въ искусствѣ лгать и притворяться. Вообще довольно смѣлая и довольно наглая матроска была, однако, недостаточно дальновидна и очень изумилась, замѣчая, что дочь не только пошла далѣе ея, не только употребляетъ противъ нея ея же собственное оружіе, но даже самое ее матроску дѣлаетъ своимъ оружіемъ. Вдругъ туза стукнулъ кандрашка; все неожиданно перекрутилось, съѣхавшися изъ Москвы и Питера сыновья и дочери откупщика смотрѣли насмѣш-

ливо на неутѣшные слезы матроски съ Юлою и отдали имъ изъ всего отцовскаго наслѣдства остальная визитная карточки покойнаго, да еще что-то въ родѣ трехъ стаметовыхъ юбокъ. Видя, что съ визитными карточками да тремя стаметовыми юбками на этомъ бѣломъ свѣтѣ немногого можно подѣлать, матроска, по совѣту Юлочки, снарядила возокъ и дернула въ бѣлокаменную, гдѣ прочною осѣдлостью жили трое изъ дѣтей покойнаго благодѣтеля. Бѣхали наши паразиты съ тѣмъ, чтобы такъ не такъ, а ужь какъ-нибудь, что-нибудь да вымозжить у наследниковъ, или по крайней-мѣрѣ, добиться, чтобы они пристроили Викторину и Петрушу.

— Я скажу имъ: помилуйте, вашъ отецъ—мой дядя; вотъ его крестница; вамъ будетъ стыдно, если ваша тѣтка съ просительнымъ письмомъ по нумерамъ пойдетъ. Должны дать; не могутъ не дать, канальи! разсказывала она, собираясь идти къ тузовымъ дѣтямъ.

Юлочка молчала. Она вѣрила, что мать можетъ что-нибудь вымозжить, но ей-то Юлочкѣ въ этомъ было очень немного радости. Ей нужно было что-то совсѣмъ другое, болѣе прочное и самостоятельное. Она любила богатство и въ глаза величала тѣхъ богачей, отъ которыхъ можно было чѣмъ-нибудь попощетиться; но въ душѣ она не терпѣла всѣхъ, кто родомъ, племенемъ, личными достоинствами и особенно состояніемъ былъ поставленъ выше и виднѣе ея, а выше и виднѣе ея были почти всѣ. Юлочка понимала, что ей нуженъ прежде всего мужъ. Она знала, что въ своихъ мѣстахъ, на ней, «попрошайкѣ», нищей, не женится никто, ибо такого героизма она не подозрѣвала въ своихъ мѣстныхъ кандидатахъ на званіе мужей, да ей и ненужны были герои, точно такъ же какъ ей не годились люди очень мелкие. Ей нуженъ былъ человѣкъ, которымъ можно было бы управлять, но котораго все-таки и не стыдно было бы назвать своимъ мужемъ; чтобы онъ для всѣхъ казался человѣкомъ, но чтобы въ то же время его можно было сдѣлать слѣпымъ и безотвѣтнымъ орудіемъ своей воли.

Такимъ человѣкомъ ей показался Несторъ Игнатьевичъ Долинской, и она перевѣнчала его съ собою.

---

Происшествіе это случилось съ Долинскимъ въ сплю все той же его доброты и извѣстной, несчастной черты его характера.

Дѣла Азововыхъ устроились. Петрушу благодѣтели опредѣлили въ пансионъ; на воспитаніе Викторинушка они же ассигнова-

ли по триста рублей въ годъ, и на житье самой матроски съ крестницей покойника назначили по шестисотъ. Азовцовы, заручившись такой благодатью, однако не поѣхали назадъ, а рѣшились оставаться въ Москвѣ. Онѣ знали, что «благодѣтели» отъ природы народъ разсѣянный, вѣтранный, забывчивый и требующій понужденія. Юлія Азовцова растолковала матери, что Викторинушка ужъ велика, чтобы ее отдавать въ пансионъ; что можно найти просто какого-нибудь недорогого учителя далеко дешевле чѣмъ за триста рублей и учить ее дома. «Такимъ образомъ, говорила она, вы сдѣлаете экономію, и благодѣтели наши будутъ нокойны, что деньги употребляются на то самое, на что онѣ даны.»

При этихъ соображеніяхъ вспомнили о братѣ Леонидѣ Долинской, съ которой Юлія была знакома по губернской жизни. Нестора Игнатьевича отыскали; наговорили ему много милаго о сестрѣ, которая только съ полгода вышла замужъ; рассказали ему свое горе съ Викторинушкой, которая такъ запоздала своимъ образованіемъ, и просили посовѣтовать имъ хорошаго наставника. Вѣчно готовый на всякую услугу, Долинскій тотчасъ же предложилъ въ безвозмездные наставники Викторинѣ самаго себя. Матроска было-начала жеманиться, но Юлія быстро встала, подошла къ Долинскому, съ одушевленіемъ ската въ своихъ рукахъ его руку и съ глазами, полными слезъ, торопливо вышла изъ комнаты. Она казалась очень растроганною. Матроску это даже чуть-было не сбило съ такту.

— Такъ, моя милѣйшая, нельзя-съ держать себя, говорила она, проводивъ Долинскаго, Юлочкѣ.—Здѣсь не губернія, и особенно съ этимъ человѣкомъ... Мы знакомы съ его сестрой, такъ должны держать себя съ нимъ совсѣмъ на другой ногѣ.

— Не беспокойтесь, пожалуйста; знаю я, на какой ногѣ себя съ кѣмъ держать, отвѣчала Юлія.

Долинскій началъ заниматься съ Викторинушкой и понемногу становился близкимъ въ семействѣ Азовцовыхъ. Юлія находила его очень удобнымъ для своихъ плановъ и всячески старалась разгадать, какъ слѣдуетъ за него браться вѣрнѣе.

— Кажется, на поэзію прихрамливаетъ! заподозрѣла она его довольно скоро, разумѣя подъ словомъ поэзія именно то самое, что разумѣютъ подъ этимъ словомъ практическіе люди, признающіе только то, во что можно пальцемъ ткнуть. Заподозрѣла Юлія этотъ порокъ за Долинскимъ и стала за нимъ приглядывать. Сидѣть Долинскій у Азовцовыхъ молча передъ топящеюся печкою, Юла

тихо взойдетъ неслышными шагами, тихо сядетъ и сидитъ молча, не давая ему даже чувствовать своего присутствія. Долинскій встанетъ и извиняется. Это повторилось два-три раза.

— Пожалуйста, не извиняйтесь; я очень люблю сидѣть вдвоемъ и молча.

Долинскій конфузился. Онъ вообще былъ очень застѣнчивъ съ женщинами и робѣлъ предъ ними.

— Этакъ я не одна, и между тѣмъ никому не мѣшаю, мечтательно досказала Юла.—Вы знаете, я ничего такъ не бояюсь въ жизни, какъ быть кому-нибудь помѣхой.

— Этого, однако, я думаю, очень нетрудно достигнуть, отвѣчаль Долинскій.

— Да, нетрудно, какъ вы говорите, но и не всегда: часто поневолѣ долженъ во что-нибудь вмѣшиваться и чему-нибудь мѣшать.

— Вы пожалуйста не подумайте, что эти слова имѣютъ какой нибудь особый смыслъ! Я, право, такъ глупо это сказала.

Юлочка улыбнулась.

— Нѣть, я... ничего не думаю, отвѣчаль Долинскій.

— То-то, ужъ хоть бы намъ не мѣшали, а то гдѣ намъ грѣшнымъ! замѣчала съ тою же снисходительною улыбкой Юлія.

Въ такихъ невинныхъ бесѣдахъ Юлія тихо и незамѣтно шла къ сближенію съ Долинскимъ, заявляясь ему особенно со стороны смиренства и благопокорности. Долинскій кромѣ матери и тѣтки да сестры не зналъ женщинъ. Юлочка была первая сторонняя женщина, обратившая на него свое вниманіе. Юліи и это обстоятельство было извѣстно, и его она тоже приняла къ свѣдѣнію и надлежащему соображенію. Тонкостей особенныхъ, значитъ, было не надо и онѣ могли оказать болѣе вреда, чѣмъ пользы. Нуженъ былъ одинъ ловкій подводъ, а затѣмъ смѣлѣя варіаціи поэфектнѣе, и дѣло должно удастся.

Не прошло двухъ мѣсяцевъ со дня ихъ первого знакомства, какъ Долинскій сталъ находить удовольствіе сидѣть и молчать вдвоемъ съ Юліей; еще долѣе они стали незамѣтно высказывать другъ другу свои молчаливые размышленія и находить въ нихъ стройную гармонію. Долинскій, напримѣръ, вспоминалъ о своей благословенной Украинѣ, о старомъ Днѣпрѣ, о наклонившихся крестахъ Аскольдовой могилы, о набережной часовнѣ Выдубецкаго монастыря и музыкальномъ гулѣ лаврскихъ колоколовъ. Юлочка тоже и себѣ начинала упражняться въ поэзіи: она взду-

мала о кисельныхъ берегахъ своей мелкопомѣстной Тускари и гнилоберегой Неручи, о ракиткахъ, подъ которыми въ полдневный жаръ отдыхаютъ идущіе въ отпускъ отечественные воины; о кукушкѣ, кукующей въ губернаторскомъ саду, и бѣломъ купидонѣ, плачущемъ на могилѣ откупщика Сыропятова, и о прочихъ симъ подобныхъ поэтическихъ прелестяхъ. Если истинная любовь къ природѣ рисовала въ душѣ Долинскаго впечатлѣнія болѣе глубокія, если его поэтическая тоска о незабвенної украинской природѣ была на столько сильнѣе дѣланной тоски Юліи, на сколько грандіозныя и поражающія своимъ величиемъ картины его края сильнѣе тщедушныхъ, неизмѣнныхъ, черноземно-вязкихъ картинъ, по которымъ проводила молочныя воды въ кисельныхъ берегахъ подшпоренная фантазія его собесѣдницы, то за то въ этихъ кисельныхъ берегахъ было такъ много топкихъ мѣсть, что Долинскій не замѣталъ, какъ ловко тускарскіе пауки затягивали его со стороны великодушія, состраданія и ихъ непонятыхъ высокихъ стремленій. Юлочка зорко слѣдила за своею жертвою, и наконецъ, послѣ одной бесѣды о любви и о Тускари, рѣшила, что ей пора и на приступъ. Вскорѣ послѣ такого рѣшенія, въ одинъ несчастливѣйшій для Долинскаго вечеръ, онъ засталъ Юлію въ самыхъ неутѣшныхъ, горькихъ слезахъ. Какъ онъ ее ни разспрашивалъ съ самимъ теплѣйшимъ участіемъ—она ни за что не хотѣла сказать ему этихъ горькихъ слезъ. Такъ это дѣло и прошло, и кануло, и забылось, а черезъ мѣсяцъ въ домѣ Азовцовъхъ появилась пожилая благородная дѣвшуга Аксинья Тимофеевна, и тутъ вдругъ, съ рѣчей этой злополучной Аксинии Тимофеевны оказалось, что Юлія давно благодѣтельствовала этой дѣвшукѣ втайне отъ матери, и что горькія слезы, которая мѣсяцъ тому назадъ у нея замѣтилъ Долинскій, были пролиты ею Юлію отъ оскорблений, сдѣланныхъ матерью за то, что она, Юлія, движимая чувствомъ состраданія, чтобы выручить эту самую Аксинью Тимофеевну, отдала ей заложить свой единственный мѣховой салопъ, спрѣвленный ей благодѣтелями. Выстрѣль попалъ въ цѣль. Съ этпхъ поръ Долинскій сталъ серьѣзно задумываться о Юлочекѣ и измышлять различныя средства, какъ бы ему вырвать столь достойную дѣвшушку изъ столь тяжелаго положенія.

Выпущенная по красному звѣрю Аксинья Тимофеевна шла верхнимъ чутъемъ и работала какъ нельзя лучше; заложенная шуба тоже служила Юліи не хуже, какъ Кречинскому его бычокъ, и тепло прогревала безхистростное сердце Долинскаго. Юлія Азовцо-

ва, обозрѣвъ поле сраженія и сообразивъ силу своей тактики и орудій съ шаткою позиціею атакованного непріятеля, совершенно успокоилась. Теперь она не сомнѣвалась, что какъ по нотамъ разыграетъ всю свою хитро-скомпанованную пьесу.

— Нашла дурака, думала матроска, и молчала выжидая, чѣдъ изъ всего этого отродится.

— Это агнецъ кроткій въ стадѣ козлѣмъ, шептала Долинскому Аксинья Тимофеевна, указывая при всякомъ удобномъ случаѣ на печальную Юлію.

— И нѣть достойной души, которая исторгла бы этого ангела, говорила она въ другой разъ.—Подлые все нынче люди стали, интересаны.

Пятаго декабря (многими замѣчено, что это — день особенныхъ несчастій) вечеркомъ Долинскій завернуль къ Азовцовымъ. Матроски и Викторинушки не было дома, онѣ пошли ко всенощной, одна Юлія ходила по залѣ, прихотливо освѣщенной краснымъ огнемъ разгорѣвшихся въ печи дровъ.

— Чѣдъ вы это... хандрите, кажется? спросилъ ее садясь противъ печки Долинскій.

— Нѣтъ, Несторъ Игнатьевичъ... некогда мнѣ хандрить; у меня настоящаго горя...

Юлочка прервала рѣчъ проглоchenною слезою.

— Чѣдъ съ вами такое? спросилъ Долинскій.

Юлія сѣла на диванъ и закрыла платкомъ лицо. Плечи и грудь ее подергивались, и было слышно, какъ она силится удержать рыданія.

— Да чѣдъ съ вами? чѣдъ у васъ за горе такое? добивался Долинскій.

Раздались рыданія менѣе сдержанныя.

— Не подать ли вамъ воды?

— Д... д... да... й... те, судорожно захлебываясь, произнесла Юлочка.

Долинскій пошелъ въ другую комнату и вернулся съ свѣчою и стаканомъ воды.

— Погасите пожалуйста свѣчу, не могу смотрѣть, простонала Юлія, не отнимая платка.

Долинскій дунулъ, и картина осталась опять при одномъ красномъ, фантастическомъ полусвѣтѣ.

— А, а, ахъ! вырвалось изъ груди Юліи, когда она отпила пол-стакана и откинулась съ закрытыми глазами на спинку дивана.

— Вы успокойтесь, проронилъ Долинскій.

— Могила меня одна успокоить, Несторъ Игнатьичъ.

— Зачѣмъ все представлять себѣ въ такомъ печальномъ свѣтѣ? Юлія плакала тихо.

— Полжизни, кажется, дала бы, говорила она тихо и не спѣша:— чтобы только хоть годъ одинъ, хоть полгода... чтобы только уйтти отсюда, хоть въ омутъ какой-нибудь.

— Ну, что же, подождите, мы поищемъ вамъ мѣста. О чѣмъ же такъ плакать?

— Никуда меня, Несторъ Игнатьичъ, не пустятъ: нечего обѣ этомъ говорить, произнесла, сдѣлавъ горькую гримасу, Юлія, и хлебнувъ глотокъ воды, опять откинулась на спинку дивана.

— Отчего же не пустятъ?

Юлія истерически засмѣялась и опять поспѣшно проглотила воды.

— Отъ любви... отъ нѣжной любви... къ... къ... арендной статьѣ, произнесла она, прерывая свои слова порывами къ истерическому смѣху, и выговоривъ послѣднее слово, захотела.

Долинскій сорвался съ мѣста и бросился къ дверямъ въ столовую.

— Ос... остань... останьтесь! торопливо процѣдила заикаясь Юлія.

— Это такъ...нич... ничего. Позвольте мнѣ еще воды.

Долинскій принесъ изъ столовой другой стаканъ; Юлія выпила его залпомъ и опять приняла свое положеніе.

Минутъ десять длилась пауза. Долинскій тихо ходилъ по комнатѣ, Юлія лежала.

— Боже мой! Боже мой! шептала она... хоть бы...

— Чего вамъ такъ хочется? спросилъ остановившись передъ ней Долинскій.

— Хоть бы будочникъ какой женился на мнѣ, докончила Юлія

— Какія вы нынѣче странности, Юлія Петровна, говорите!

— Чѣмъ жъ тутъ, Несторъ Игнатьичъ, странаго? Я очень хорошо знаю, что на мнѣ ни одинъ порядочный человѣкъ не можетъ жениться, а другого выхода мнѣ нѣтъ... рѣшительно нѣтъ! отвѣчала Юлія съ сильнымъ напряженіемъ въ голосѣ.

— Отчего же нѣтъ? и отчего наконецъ порядочный человѣкъ на васъ не женится?

— Отчего? Гм! Оттого, Несторъ Игнатьичъ, что я нищая. Мало нищая, а побирашка, христорадница, *муныя*; понимаете—*муныя*,

презрѣнная, гадкая *луныя*. Вы знаете, въ чём прошла моя жизнь? — въ лганиѣ, въ нищебродствѣ, въ вымаливаньї. Вы не съумѣете такъ поцаловать своей невѣсты, какъ я могу перецаловать руки всѣхъ откупщиковъ... пусть только даютъ хоть по... пяти цѣлковыхъ.

— О, Господи! что это вы на себя за небылицы взводите, говорилъ сильно смущаясь Долинскій.

— Чѣто это васъ такъ удивляетъ! Это мой честный трудъ; меня этому только учили; меня этому теперь учатъ. Вѣдь я же дочь! *Жизнь обязана*; помилуйте!

Вышла опять пауза. Долинскій молча ходилъ, что-то соображая и обдумывая.

— Теперь пилить меня замужествомъ! начала какъ-бы сама съ собою полушопотомъ Юлія.—Ну, скажите, ну за кого я пойду? Ну, я пойду! ну, давайте этого дурака! пусть хоть сейчасъ женится.

— Опять!

— Да что жь такое! я говорю правду.

Хорошій и умный человѣкъ, начала Юлочка:—когда узнаетъ настъ, за сто верстъ обѣжитъ. Вѣдь мы *лохсы*, мы, Несторъ Игнатьичъ, самая воплощенная ложь! говорила она, трепеща и приподнимаясь съ дивана.—Вѣдь у настъ въ домѣ все лжетъ, на каждомъ шагу лжетъ. Мать моя лжетъ, я лгу, Викторина лжетъ, все лжетъ... мѣбель лжетъ. Вонъ, видите это кресло, вѣдь оно также лжетъ, Несторъ Игнатьичъ! Вы, можетъ быть, думаете, шелкъ или бархаты тамъ какіе закрыты этимъ чехломъ, а выйдетъ, что дерюга. О, Боже мой! да я рѣшительно не знаю, право... Я даже удивляюсь, неужто мы вамъ еще не гадки?

Долинскій постоялъ съ секунду, и ничего не отвѣтивъ, снова заходилъ по комнатѣ. Юлинка встала, вышла и черезъ нѣсколько минутъ возвратилась съ свѣчкою и книгою.

— Темно совсѣмъ; я думаю, скоро должны придти ото всенощной, проговорила она и стала листовать книжку, съ очевиднымъ желаніемъ скрыть отъ матери и сестры свою горячую сцену и придать картинѣ самый спокойный характеръ.

Она перевернула нѣсколько листковъ и съ болѣзnenнымъ усиленіемъ даже разсмѣялась.

— Послушайте, Несторъ Игнатьичъ, вѣдь это забавно —

Вообрази, я здѣсь одна,  
Меня никто не понимаетъ;  
Разсудокъ мой изнемогаетъ  
И молча гибнуть я должна.

— Нѣтъ, это не забавно, отвѣчалъ Долинскій, остановившись передъ Юлинькой.

— Вамъ жаль меня?

— Мнѣ прискорбна ваша доля.

— Дайте же мнѣ вашу руку, попросила Юлинька, и на глазахъ ея замигали настоящія, искреннія, художественныя слезы.

Долинскій подалъ свою руку.

— И мнѣ жаль васъ, Несторъ Игнатьичъ. Человѣку съ вами сердцемъ плохо жить на этомъ гадкомъ свѣтѣ.

Юлочка быстро выпустила его руку и тихо заплакала.

— Я и не желаю жить очень хорошо.

— Да, вы святой человѣкъ! Я никогда не забуду, сколько вы мнѣ сдѣлали добра.

— Ничего ровно.

— Не говорите мнѣ этого, Несторъ Игнатьичъ. Зачѣмъ это говорить! Узнавши васъ, я только и поняла все... все хорошее и дурное, свѣтъ и тѣни, вашу чистоту, и... все собственное ничтожество...

— Полноте, бога-ради!

— И полюбила васъ... не какъ друга, не какъ брата, а... (Долинскій совершенно смутился). Юлинька быстро схватила его снова за руку, еще сильнѣе сжала ее въ своихъ рукахъ и съ слезами въ голосѣ договорила: — а какъ моего нравственного спасителя и теперь еще, можетъ быть, въ послѣдній разъ, ищу у васъ, Несторъ Игнатьичъ, спасенія.

Юлинька встала, близко придинулась къ Долинскому и сказала:

— Несторъ Игнатьичъ, спасите меня!

— Чѣмъ вы хотите сказать этимъ? чѣмъ я могу для васъ сдѣлать?

— Несторъ Игнатьичъ!... Но вы вѣдь не разсердитесь, какая бы ни была моя просьба?

Долинскій сдѣлалъ головою знакъ согласія.

— Мы можемъ платить за уроки Викторины; вы не вѣрьте, что мы такъ бѣдны... а вы... не ходите къ намъ; оставьте насъ. Я васъ униженно, усердно прошу обѣ этомъ.

— Извольте, извольте, но зачѣмъ это нужно и какой предлогъ я придумаю?

— Какой хотите.

— И для чего?

— Для моего спасенія, для моего счастія. Для моего счастія, повторила она и засмѣялась сквозь слезы.

— Не понимаю! произнесъ пожавъ плечами Долинскій.

— И ненужно, сказала Юлія.

— Я васъ стѣсняю?

— Да, Несторъ Игнатьичъ, вы создаете мнѣ новыя муки. Ваше присутствіе увеличиваетъ мою борьбу—ту борьбу, которой не должно быть вовсе. Я должна идти, какъ ведеть меня моя судьба, не раздумывая и не оглядываясь.

— Чѣдѣ это за загадки у васъ сегодня?

— Загадки! Отъ нищенки благодѣтели долгъ требуютъ.

— Ну-съ!

— Я вѣдѣ вотъ говорила, что я привыкла цаловать откупщицы руки... ну, а теперь одинъ благодѣтель хочетъ пріучить меня цаловать его самого. Кажется, очень просто и естественно... Подросла.

— Ужасно!... Это ужасно!

— Несторъ Игнатьичъ, мы—нищіе.

— Ну, надо работать... лучше отказать себѣ во всемъ.

— Вы забываете, Несторъ Игнатьичъ, что мы *ничего* не умѣемъ дѣлать и *ни въ чёмъ* не желаемъ себѣ отказывать.

— Но ваша мать, наконецъ!

— Мать! Моя мать твердитъ, что я *обязана ей жизню* и должна заплатить ей за то, что она выучила меня побираться и... да, наконецъ, вѣдѣ она же не слѣпа, въ самомъ дѣлѣ, Несторъ Игнатьичъ! вѣдѣ она-жъ видитъ, въ какія меня ставятъ положенія.

Долинскій заходилъ по комнатѣ и вдругъ, круто повернувъ къ Юлинкѣ, произнесъ твердо:

— Вы бы хотѣли быть моей женою?

— Я! какъ-бы не понявъ и оторопѣвъ переспросила Юлинка.

— Ну, да; я васъ откровенно спрашиваю: лучше было бы вамъ, еслибы вы теперь были моей женою?

— Вашей женой! твоей женой! Это *ты* говоришь *мнѣ*! Ты—мое божество, мой геній хранитель! Не смѣйся, не смѣйся надо мною!

— Я не смѣюсь, отвѣчалъ ей Долинскій.

Юлинка взвизгнула, упала на его грудь, обняла его за шею и тихо зарыдала.

— Тс, господа! господа! заговорилъ за спиною Долинскаго подхалимственный голосъ Аксиньи Тимофеевны, которая какъ выпускная кукла по пружинкѣ вышла какъ разъ на эту сцену въ

залу. — Ставни незатворены, продолжала она въ мягко наставительномъ тонѣ:— подъ окнами еще народъ слоняется, а вы этакъ... Нехорошо такъ неосторожно дѣлать, пошептала она какъ нельзя снисходительнѣе и опять исчезла.

Несмотря на то, что дипломатическая Юлочка, разыгрывая въ первый разъ и безъ репетиціи новую сцену, чуть не испортила свою роль перебавленнымъ театральнымъ эфектомъ, Долинскій былъ совершенно обманутъ. Сконфуженный неожиданнымъ страстнымъ порывомъ Юлочки и еще болѣе неожиданнымъ явленіемъ Аксиньи Тимофеевны, онъ вырвался изъ горячихъ юлочкиныхъ объятій и прямо схватился за шапку.

— Боже мой! Аксинья Тимофеевна все видѣла! Она первая сплетница, она всѣмъ все разболтаетъ, шептала между тѣмъ стоя на прежнемъ мѣстѣ Юлочка.

— Что жъ такое? это все равно, пробурчалъ Долинскій.—Прощайте.

— Куда же вы? Куда ты! Подожди минутку.

— Нѣть, прощайте.

Долинскій ничего не слушалъ и убѣжалъ домой.

По выходѣ Долинскаго, Юлинька возвратилась назадъ въ залъ, остановилась среди комнаты, заложила за затылокъ руки, медленно потянулась и стукнула каблучками.

— Вотъ ужъ именно, что можно чести приписать, заговорила, тихо выползая изъ темной комнаты, Аксинья Тимофеевна.

Юлочка нервно вздрогнула и сердито оторвала:

— Фу, какъ вы всегда перепугаете съ своимъ ползаньемъ!

— Однако, сдѣлайте же ваше одолженіе; чтò же онъ обо мнѣ подумаетъ? говорила Юлинькъ ночью матроска, выслушавъ отъ дочери всю сегодняшнюю вечернюю исторію въ сокращеннемъ разсказѣ.

— А вамъ очень нужно, чтò онъ о васъ подумаетъ? отвѣчала презрительно, смотря черезъ плечо на свою мать, Юлинька.

— Нужно, или ненужно, но вѣдь я же однако не торгую мими дѣтьми.

— Не торгуете! Молчите ужъ, пожалуйста!

— Торгую! крикнула азартно матроска.

— Ну, такъ заторгуете, если будете глупы, отвѣчала спокойно Юlia.

Однимъ словомъ Долинскій сталъ женихомъ и извѣстилъ объ этомъ сестру.

«Да спасетъ тебя Господь Богъ отъ такой жены, отвѣчала Долинскому сестра. — Какъ ты съ ними познакомился? Я знаю эту фальшивую, лукавую и безсердечную дѣвчинку. Она вся ложь, и ты съ нею никогда не будешь счастливъ.»

Долинскому въ первыя минуты показалось, что въ словахъ сестры есть что-то основательное; но потомъ показалось опять, что это какое нибудь провинциальное предубѣженіе. Онъ не хотѣлъ скрывать этого письма и показалъ его Юлинькѣ; та прочла все отъ строки до строки съ спокойнымъ, яснымъ лицомъ, и кротко улыбнувшись, сказала:

— Вотъ видишь, въ какомъ свѣтѣ я должна была казаться. Вѣрь чому хочешь, добавила она со вздохомъ, возвращая письмо.

«Не умѣю высказать, какъ я рада, что могу тебѣ послать доказательство, чтѣ такое твоя невѣста — писала Долинскому его сестра черезъ недѣлю. — «Вдобавокъ ко всему она вѣчно была эфектница и фантазёрка, и вотъ проворалась самымъ достойнымъ образомъ. Прочитай ея собственное письмо и ради всего хорошаго на свѣтѣ, бога-ради не дѣтай несчастнаго шага.»

При письмѣ сестры было приложено другое письмо Юлиньки къ той самой пріятельницѣ, которая всегда служила для нея помойной ямой.

«Я наконецъ выхожу замужъ — писала Юлинька между прочимъ. — Моя нѣжная родительница распорядилась всѣмъ по своему обыкновенію и сама и безъ моего вѣдома дала за меня слово, не считая никакимъ спросить мое сердце. Черезъ мѣсяцъ, для блага матери и сестры, я буду *madame Долинская*. Будущій мужъ мой человѣкъ очень неглупый и на хорошей дорогѣ; но ужасно неразвитъ, и мы съ нимъ не пара, ни почему. Живя съ нимъ, я буду исполнять мой долгъ и недостатокъ любви замѣни заботою о его развитіи, но жизнь моя будетъ, конечно, одно сплошное страданіе. Любить его, увы, я, разумѣется, не могу. Какъ я понимаю любовь, такъ любятъ одинъ разъ въ жизни; но... я, можетъ быть, привыкну къ нему, и помирюсь съ грустной необходимостию. Моя вся жизнь, вѣрно, жертва и жертва — и кому? Чѣмъ онъ? Чѣмъ видитъ въ немъ моя мать и почему предполагаетъ его всѣмъ другимъ женихамъ, которые мнѣ здѣсь надѣдаются, и между которыми есть люди очень богатые, просвещенные и съ прекраснымъ свѣтскимъ положеніемъ? Я просто не умѣю понять ничего этого и иду яко овца на закланіе».

Долинскій запечаталъ это письмо и отоспалъ его Юлинькѣ; та получила его за обѣдомъ, и какъ взглянула, такъ и осталбенѣла.

— Чѣмъ это? спросила ее матроска, поднося къ своимъ рачимъ глазамъ упавшее на полъ письмо.

— «Милая Устя!» прочла она, и сейчасъ же воскликнула:— А! вѣрно опять романтическія сочиненія?

— Оставьте, крикнула Юлинька и, вырвавъ изъ рукъ матери письмо, торопливо изорвала его въ лепесточки.

— Да ужъ это такъ! Героиня!

Юлинька накинула на себя капоръ и шубку.

— Куда? крикнула матроска.—Къ милому? обниматься? Теперь прости, моль, голубчикъ!

— А хоть бы и обниматься! отвѣчала проходя Юлинька и исчезла за дверью.

— Ты у меня, Викторина, смотри! заговорила, стуча ладонью по столу, матроска.—Если еще ты, мерзавка, будешь похожа на эту змѣю, я тебя шельму пополамъ перерву. На одну ногу стану, а другую оторву.

Викторина молчала, а Юлинька въ это время именно обнималась.

— Это была шутка, я нарочно хотѣла попытать мою глупень-кую Устю, хотѣла узнать, что она скажетъ на такое вовсе непохожее на меня письмо; а онѣ, сумасшедшия, подняли такой гвалтъ и тревогу! говорила Юлинька, весело смигаясь въ лицо Долинскому. Потомъ она расплакалась, упрекала жениха въ подозрительности, довела его до того, что онъ же самъ началъ просить у нее прощенія, и потомъ она его, какъ слабое существо, простила, обняла, поцаловала, и еще поцаловала и столь увлеклась своею добротою, что пробыла у Долинскаго до полуночи.

Матроска ожидала дочь и, несмотря на поздній для нея часъ, съ азартомъ вязала толстый шерстяной чулокъ. По сердитому стуку вязальныхъ прутиковъ и электрическому трепетанію сѣраго крисинаго хвоста, торчавшаго на матроскиной макушкѣ, видно было, что эта почтенная дама весьма въ тревожномъ положеніи. Когда у подъѣзда раздался звонокъ, она сама отперла дверь, впустила Юлочку; не сказавъ ей ни одного слова, вернулась въ залу, и только когда та прошла въ свою комнату, матроска не выдержала и тоже явилась туда за нею.

— Ну, что жь? спросила она, тяжело разсаживаясь на щупленькомъ креслицѣ.

— Пожалуйста, не рвите чехла; его ужь и такъ болѣе чинить нельзя, отвѣчала, мало обращая вниманія на ея слова, Юлія.

— Не о чехлахъ, сударына, дѣло, а о васъ самихъ, возвысила голосъ матроска, и крысиный хвостикъ закачался на ея макушкѣ.

— Пожалуйста, беспокойтесь обо мнѣ поменьше; это будетъ гораздо умнѣе.

— Да-съ, но когда-жъ этотъ болванъ наконецъ рѣшился?

Юлинъка помолчала, и спокойно свертывая косу подъ ночной чепецъ, тихо сказала:

— Дней черезъ десять можете потребовать, чтобы свадьба была немедленно.

Матроска, прищуривъ глаза, язвительно посмотрѣла на свою дочь и произнесла:

— Значитъ, ужь спроворила, милая!

— Дѣлайте, что вамъ говорять, отвѣтила Юлинъка, и бросивъ на мать совершенно холодный и равнодушный взглядъ, сѣла писать Устѣ ласковое письмо о ея непростительной легковѣрности.

— Готовъ Максимъ и шапка съ нимъ, ядовито проговорила, вставая и отходя въ свою комнату, матроска.

Черезъ мѣсяцъ Юлинъка женила на себѣ Долинскаго, который, послѣ ночнаго посѣщенія его Юлинъкой, уже не колебался въ выборѣ, чтѣ ему дѣлать, и рѣшилъ, что сила воли должна заставить его загладить свое увлеченіе. Счастья онъ не ожидалъ, и его не послѣдовало.

Мѣсяца медового у Долинскаго не было. Юлинъка сдерживалась съ нимъ, но онъ все-таки не могъ долго заблуждаться и видѣть бѣду неминучую. А между тѣмъ Юлинъка никакъ не могла полюбить своего мужа, потому-что женщины ея закала не терпать, даже презираютъ въ мужчинахъ характеры искренніе и добрые, и эффектный порокъ для нихъ гораздо привлекательнѣе; а о томъ, чтобы щадить мужа хоть не любя, но уважая его, Юлинъка, конечно, вовсе и не думала: окончивъ одну комедію, она бросалась за другую и входила въ свою роль. Мать и сестру она оставила при себѣ, находя, что этакъ будетъ приличнѣе и экономнѣе. Викторина дѣйствительно была полезна въ домѣ, а матроска нужна. Первые слезы Юлинъки пали на сердце Долинскаго за визиты ея родственникамъ и благодѣтелямъ, которыхъ Долинскій не хотѣлъ и видѣть. Матроска влетѣла и опипала Долинскаго какъ мокраго пѣтуха.

— Этакъ, милостивый государь, съ своими женами одни мер-

завцы поступают! крикнула она, не говоря худаго слова, на зята. (Долинский сразу такъ и оторопѣлъ. Онъ сроду не слыхивалъ, чтобы женщина такъ выражалась).—Вашъ долгъ показать людамъ, продолжала матроска:—какъ вы уважаете вашу жену, а не поворачиваться съ нею какъ воръ на ярмаркѣ. Что, вы стыдитесь моей дочери, или она вамъ не пара?

— Я думаю, мой долгъ жить съ женою дружески, а не стараться кому нибудь это показывать. Не все ли равно, кто чѣо о насть думаетъ?

— Покорно васть благодарю! покорнѣйше-сь васъ благодарю-сь! замотавъ головою разъярилась матроска.—Это значитъ, вамъ все равно, что моя дочь, что Любашка.

— Какая такая Любашка?

— Ну, что бѣлье вамъ носила; думаете, не знаю?

— Фу, какая грязь!

— Да-сь! А вы бы, если вы человѣкъ такихъ хорошихъ правиль, такъ не торопились бы до свадьбы-то въ права мужа вступать, такъ это лучше бы-сь было, честнѣе. А и тебѣ дурѣйшто, нѣшто, виѣшто, оборотилась она къ дочери.—Рюмъ, рюмъ теперь, а вотъ погоди немножко, какъ корсажи-то въ платьяхъ придется разставлять, такъ и совсѣмъ будеть тебя прятать.

Долинский вскочилъ и послалъ за каретой. Юлинъка дѣлала визиты съ заплаканными глазами, и своимъ угнетеннымъ видомъ ставила мужа въ положеніе весьма странное и неловкое. Въ откупномъ мірѣ матроскихъ благодѣтелей Долинскій непонравился.

— Какой-то совсѣмъ непискательный, отозвался о немъ главный благодѣтель, котораго Юлинъка поклепала ухаживаніемъ за нею.

Матроска опять дала зяту встрепку.

— Своихъ отряхъ учителешекъ умѣете привѣтывать, а людей, которые всей вашей семьѣ могутъ быть полезны, отталкиваете, наступала она на Долинскаго.

Юлинъка въ глаза всегда брала сторону мужа, и просила его не обращать вниманія на эти грубыя выходки грубой женщины. Но на самомъ дѣлѣ каждый изъ этихъ маневровъ всегда производился по непосредственной іниціативѣ и подробнѣйшимъ инструкціямъ самой Юлинъки. По ея соображеніямъ, это былъ хороший и вѣрный методъ обезличить кроткаго мужа на сколько нужно, чтобы распоряжаться по собственному усмотрѣнію, и въ то

же время довести свою мать до совершенной остылицы мужу и въ удобную минуту немножко попустить его, такъ, чтобы не она, а онъ бы выгналъ матроску и Викторинушку изъ дома. Роды первого ребёнка показали Юліи, что мужъ ея уже обшколенъ весьма удовлетворительно, и что теперь она сама, безъ материального посредства, можетъ обращаться съ нимъ какъ ей угодно. Дней черезъ двѣнадцать послѣ родовъ, она вышла съ сестрою изъ дома, гуляла очень долго, наѣлась султанскихъ финиковъ и, возвратясь, заболѣла. Тутъ у нея въ этой болѣзни оказались виноватыми всѣ, кромѣ ея самой: мать, что не удержала; акушерка—что не предупредила и мужъ, должно быть, въ томъ, что не вернуль ее домой за ухо.

— Я же чѣмъ виноватъ? говорилъ Долинскій.

— Вы ничѣмъ невиноваты!... крикнула Юлинька.—А вы съѣздили къ акушеру? разспросили вы, какъ держаться женѣ? Посовѣтовались вы... прочитали вы! да прочитали вы, напримѣръ, что нибудь о беременной женщинѣ? вообще позаботились вы? позаботились? Кому-съ, я васъ спрашиваю, я всѣмъ этимъ обязана?

— Чѣмъ? удивлялся мужъ.

— Чѣмъ?... Ненавистный человѣкъ! Еще онъ спрашиваетъ: чѣмъ?... Только съ нѣжностями своими противными умѣеть лѣзть, а удержать жену отъ неосторожности—не его дѣло.

— Я полагаю, что это всякая женщина сама знаетъ, что чрезъ двѣ недѣли послѣ родовъ нельзя дѣлать такихъ прогулокъ, отвѣчалъ Долинскій.

— Это у васъ, ваши кіевскія тихони все знаютъ, а я ничего не знала. Еслибы я знала болѣе, такъ вы навѣрно со мною не сдѣлали бы всего, чтѣ хотѣли.

— О го-го-го! Забыли, видно, батюшка, ваши благородныя дѣянія-то! подхватила изъ другой комнаты матроска.

— Ахъ, убирайтесь вы всѣ вонъ! закричала Юлія.

Долинскій махалъ рукою и уходилъ къ себѣ въ канурку, отведенную ему для кабинета.

Автономіи его рѣшительно не существовало, и жизнь онъ вель прегорькую-горькую. Дома онъ сидѣлъ за работою, или выходилъ на уроки, а не то, такъ, или сопровождалъ жену, или занималъ ея гостей. Матроска и Юлиньку, какъ тургеневская помѣщица, были твердо увѣрены, что супруги

Не другъ для друга созданы  
Нѣтъ — мужъ устроенъ для жены,

и ни для кого больше, ни для міра, ни для себя самого даже. Товарищай Долинского принимали холодно, небрежно и наконецъ даже часто вовсе не принимали. Новые знакомства, завязанныя Юлинькою съ разными тонкими цѣлями, не нравились Долинскому, тѣмъ болѣе, что ради этихъ знакомствъ его заставляли быть «искательнымъ», чтò вовсе было и не въ натурѣ Долинского и не въ его правилахъ. Къ тому же Долинскій очень хорошо видѣлъ, какъ эти новые знакомые часто безцеремонно третировали его жену и даже нерѣдко въ глаза открыто смеялись надъ его тѣщей; но ни остановить чужихъ, ни обрезонить своихъ очѣ рѣшительно не умѣлъ. А матроскѣ положительно не везло въ гостиной; чтò она ни станетъ рассказывать о своихъ аристократическихъ связяхъ—все выходитъ какимъ-то нелѣпѣйшимъ вздоромъ и къ тому же, въ этомъ же самомъ разговорѣ вздумавшая аристократичать матроска какъ нарочно стеариновую свѣчу назоветъ *стерлерлиновою*, вмѣсто сыропа—*суропъ*, вмѣсто камфина—*канхинъ*. Съѣздила матроска одинъ разъ въ театръ и послѣ цѣлый годъ рассказывала, что она была въ театрѣ на Эспанскомъ дворянинѣ; желая похвалиться, что ея Петрушу примутъ въ училище правовѣдѣнія, она говорила, что его примутъ въ училище *Праловеденія*, и тому подобное.

Прошелъ еще годъ, Долинскій совсѣмъ сталъ неузнаваемъ. «Брошу», рѣшаль онъ себѣ не разъ послѣ трепокъ за неискательность и недостатокъ средствъ къ удовлетворенію расширявшихся требованій Юлии Петровны, но тутъ же опять вставалъ у него вопросъ: «а гдѣ же твердая воля мужчины?» Да въ томъ-то и будетъ твердая воля, чтобы освободиться изъ этой уничтожающей среды, рѣшаль онъ, и сейчасъ же опять запрашивалъ себя: развѣ болѣе воли нужно, чтобы уйтти, чѣмъ съ твердостью и достоинствомъ выносить свое тяжкое положеніе? А между тѣмъ, явился другой ребенокъ. Долинскій въ качествѣ отца двухъ дѣтей сталъ подвергаться сугубому угнетенію и наконецъ не выдержалъ и собралсяѣхать съ письмами жениныхъ благодѣтелей въ Петербургъ. Долинскій собрался скоро, торопливо, какъ-бы боялся, что онъ останется, что его что-то задержитъ. Пріѣхавъ въ Петербургъ, онъ никуда не пошелъ съ письмами благодѣтелей, но освѣжился, одумался и въ откровенную минуту высказалъ все свое горе одному старому своему дѣтскому товарищу, земляку и другу, художнику Ильѣ Макаровичу Журавлѣ, человѣку очень доброму, пылкому, суевливому и немножко смѣшному.

— Одно средство, братецъ мой, вамъ другъ съ другомъ разстаться, отвѣчалъ, выслушавъ его исповѣдь, Журавка.

— Это, Ильюша, легко, братъ, сказать.

— А сдѣлать еще легче.

Долинскій походилъ и въ раздумъѣ произнесъ:

— Не могу, какъ-то все это съ одной будто стороны такъ, а съ другой опять.

— Пф! да брось, братецъ, брось, вотъ и вся недолга, либо заплеснѣвешь, бабы ъздить на тебѣ будутъ, воскликнулъ Журавка.

Поживя мѣсяцъ въ Петербургѣ, Долинскій чувствовалъ, что дѣйствительно нужно собрать всю волю и уйти отъ людей, съ которыми жизнь мука, а не спокойный трудъ и не праздникъ.

— Ну, положимъ такъ, говорилъ онъ:—положимъ, я бы и рѣшился, оставилъ бы жену; а дѣтей же какъ оставить?

— Дѣтей обезпечь, братецъ.

— Чѣмъ, чѣмъ, Илья Макарычъ?

— Деньгами, разумѣется.

— Да какія же деньги, гдѣ я ихъ возьму?

— Пф! хочешь десять тысячъ обезпеченія, сейчасъ, хочешь?

— Ну, ну, давай.

— Нѣтъ, ты говори коротко и узловато, хочешь или не хочешь?

— Да, давай, давай.

— Стало быть, хочешь?

— Да ужь, конечно, хочу.

— Идетъ, и да будетъ тебѣ, яко же хощеши! Послѣ-завтра у твоихъ дѣтей десять тысячъ обезпеченія, супругѣ давай на дѣтское воспитаніе, а самъ живи во славу божію; ступай въ Италію, тамъ, братъ, итальяночки... ууххъ, одними глазами такъ и вскипятитъ иная! Я тебѣ скажу, наши-то женщины, братецъ, вѣдь если по правдѣ говорить, все-таки вѣдь дрянь.

— А я думаю, говорилъ на другой день Долинскій Журавкѣ:— я думаю, точно ты правъ, надо вѣдь это дѣло покончить.

— Да какъ же, братецъ, непадо?

— То-то, я всю ночь продумалъ и...

— Ты пожалуйста ужь лучше и не раздумывай.

Черезъ два дня въ рукахъ Долинскаго былъ полисъ на его собственную жизнь, застрахованную въ десять тысячъ рублей, и предложеніе редакціи одного большаго изданія быть кореспондентомъ въ Парижѣ.

Долинскій, какъ всѣ несильные волею люди, старался исполнить свое рѣшеніе какъ можно скорѣе. Онъ перемѣнилъ паспортъ и уѣхалъ заграницу. Во все это время онъ ни малѣйшимъ образомъ не выдалъ себя женѣ; извѣщалъ ее, что онъ хлопочетъ, что ему даютъ очень выгодное мѣсто, и только въ день своего отѣзда вручилъ Ильѣ Макаровичу конвертъ съ письмомъ слѣдующаго содержанія: «Я, наконецъ, долженъ сказать вамъ, что я нашелъ себѣ очень выгодное мѣсто и отправляюсь къ этому мѣсту, не забѣжая въ Москву. Главная выгода моего мѣста заключается въ томъ, что вы его никогда не узнаете, а если узнаете, то не можете меня болѣе мучить и терзать. Я вѣсъ оставляю навсегда за вашъ дурной нравъ, жестокость и лукавство, которые мнѣ ненавистны и которыхъ я болѣе переносить не могу. Скориться и браниться я не пріученъ, а на великодушіе хотя бы даже въ далекомъ будущемъ я не надѣюсь, и потому просто бѣгу отъ васъ. На случай моей смерти оставляю моему извѣданному другу полись страхового общества, которое уплатить моимъ дѣтямъ десять тысячъ рублей; а пока живъ, буду высылать вамъ на ихъ воспитаніе столько, сколько позволять мнѣ мои средства.

«Не выражаютъ вамъ никакихъ доброжелательствъ, чтобы вы не принали ихъ за насмѣшку, но ручаюсь вамъ, что не питаю къ вамъ, ни къ вашему семейству ни малѣйшей злобы. Я хочу только, чтобы мы, какъ люди совершенно несходныхъ характеровъ и убѣжденій, не мѣшали другъ другу, и вы сами вскорѣ увидите, что для васъ въ этомъ нѣтъ рѣшительно никакой потери. Я знаю, что я неспособенъ ни состроить себѣ служебную карьеру, ни нажить денегъ, съ которыми можно бы не нуждаться. Вы ошиблись во мнѣ, я—въ васъ. Не будемте безполезно упрекать ни себя, ни другъ друга, и простимтесь, утѣшая себя, что передъ нами раскрывается снова жизнь, если и не счастливая, то, по крайней-мѣрѣ не лишенная того высшаго права, которое называется свободою совѣсти и которое, къ несчастію, люди такъ мало уважаютъ другъ въ другѣ.

«Н. Долинскій».

С.-Петербургъ.

Такъ покончилась семейная жизнь человѣка, встрѣченаго Дорушкою, уже послѣ четырехлѣтняго его житья въ Парижѣ.

Въ Россію Долинскій еще боялся возвращаться, потому что даже и изъ-заграницы ему два или три раза приводилось да-

вать въ посольствѣ непріятныя и тяжелыя объясненія по жалобамъ жены.

#### IV.

##### ГЛАВНЫЯ ЛИЦА РОМАНА ЗНАКОМЯТСЯ БЛИЖЕ.

Продолжаемъ прерванную повѣсть.

Домъ, въ которомъ Анна Михайловна съ своею сестрою жила въ Парижѣ, былъ изъ новыхъ домовъ Rue de l'Ouest. Въ немъ съ улицы не было воротъ, но тотчасъ, перешагнувъ за его красиво-отдѣланныя, тяжелыя двери, открывался маленький дворикъ, почти весь занятый большою прѣточною клумбою; направо была красивенькая клѣтка, въ которой жила старая concierge, а напрѣво дверь и легкая спиральная лѣстница. Черезъ два дня послѣ свиданія съ Прохоровыми, Долинскій съ несовсѣмъ довольнымъ лицомъ медленно взбирался по этой ажурной лѣстницѣ и позвонилъ у одной двери въ третью этажѣ. Его ввели черезъ небольшой коридорчикъ въ очень просторную и хорошо мѣблированную комнату, передѣленную густою шерстяною драпировкою.

По комнатѣ, на диванѣ и на стульяхъ лежали кучи лентъ, цвѣтовъ, синели, рюшу и разной другой галантерейщины; на столѣ были набросаны выкройки и узоры, передъ которыми, опустивъ въ раздумье голову, стояла сама хозяйка. Немного нужно было имѣть проницательности, чтобы отгадать, что Анна Михайловна стоитъ въ этомъ положеніи не одну минуту, но что не узоры и не выкройки занимаютъ ея голову.

При входѣ Долинскаго Анна Михайловна покраснѣла, какъ институтка, и сказала:

— Ахъ, извините бога-ради, у насъ такой ералашный беспорядокъ.

Долинскій ничего не отвѣтилъ на это, но взглянувъ на Анну Михайловну, только подумалъ: а какъ она дивно хороша, однако.

Анна Михайловна была одѣта въ простое коричневое платье съ высокимъ лифомъ подъ душу, и ея черные волосы были гладко причесаны за уши. Этотъ простой уборъ, вирочемъ, шель къ ней необыкновенно и прекрасная наружность Анны Михайловны дѣйствительно могла бы остановить на себѣ глаза каждого.

— Пожалуйста садитесь, сестры дома пѣтъ, но она сейчасъ должна вернуться, говорила Анна Михайловна, собирая со стола свои узоры.

— Я, кажется, совсѣмъ не во времѧ? началъ Долинскій.

— А, нѣтъ! Вы пожалуйста не обращайте на это вниманіе, мы вамъ очень рады.

Долинскій поклонился.

— Дорушка еще вчера васъ поджидала. Вы курите?

— Курю, если позволите.

— Сдѣлайте милость.

Долинскій зажегъ папироску.

— Дора все не дождется, чтобы помириться съ вами, начала хозяйка.

— Это, если я отгадываю, все еще о луврской встрѣчѣ?

— Да, сестра моя ужасно сконфужена.

— Это пресмѣшной случай.

— Ахъ, она такая.

— Непосредственная, кажется, подсказала улыбаясь Долинскій.

— Даже черезчуръ иногда, замѣтила снисходительно Анна Михайловна.— Но вы не повѣрите, какъ ей совсѣмъ, что она напѣла.

Долинскій хотѣлъ отвѣтить, что обѣ этомъ даже и говорить не стоитъ, но въ это время послышался колокольчикъ и звонкій контраталь запѣлъ въ коридорчикѣ:

Если жизнь тебя обманетъ,  
Не печалься, не сѣди.  
Въ день нечастія смирись,  
День веселья, вѣрь, настанетъ.

— Вотъ и она, сказала Анна Михайловна.

На порогѣ показалась Дорушка въ легкомъ бѣломъ платьѣ съ своими оригинальными красноватыми кудрями, распущенными по волѣ, съ снятой съ головы соломенной шляпой въ одной рукѣ и съ картонкой въ другой.

— А, а! произнесла она протяжно при видѣ Долинскаго и остановилась у двери.

Гость всталъ съ своего мѣста.

— Стар... Стар... нѣтъ, все не могу выговорить вашего имени.

— Несторъ, произнесъ разсмѣявши Долинскій.

— Да, да, есть Несторъ лѣтописецъ.

— То-есть быль; но это во всякомъ случаѣ не я.

— Я это ужъ сообразила, что вы, должно быть, совершенно отдѣльный, особенный Несторъ. Ахъ, Несторъ Игнатьевичъ, я

передъ вами на колѣни сейчасъ опущусь, если вы меня не простите.

— Помилуйте, вы только заставляете меня краснѣть отъ этихъ вашихъ прессыбъ.

— О, если вы это безъ шутокъ говорите, то вы просто покорите мое сердце своею добрѣтелью.

— Увѣряю васъ, что я ужъ забылъ обѣ этомъ.

— Въ такомъ случаѣ, Полканушка, дай лапу.

Анна Михайловна неодобрительно качнула головою, на что не обратили вниманія ни Долинскій, ни Дорушка, крѣпко и весело сжимавшіе поданныя другъ другу руки.

— А моя сестра ужъ вѣрно морщится, что мы дружимся, проговорила Дора, и взглянувъ въ лицо сестры, добавила:

— Такъ и есть, вотъ удивительная женщина, никогда она, кажется, не будеть вѣрить, что я знаю, чтѣ дѣлаю.

— Ты знала, чтѣ дѣлала и тогда, когда разсуждала о monsieur Долинскомъ?

— Это въ первый разъ случилось, но впрочемъ, вотъ видишь, какъ все хорошо вышло: теперь у меня есть русскій другъ въ Парижѣ. Вѣдь мы друзья, правда?

— Правда, отвѣчала Долинскій.

— Вотъ видишь, Анна. Я говорю, что всегда знаю, чтѣ я дѣлаю. Я женщина практическая — и это правда. Вы хотите мароновъ? спросила она Долинскаго, опуская въ карманъ руку.

— Нѣтъ-съ, не хочу.

— Тѣпленькие совсѣмъ еще.

— Все-таки покорно васъ благодарю.

— Зачѣмъ ты покупаешь эту дрань, Дора? вмѣшалась Анна Михайловна.

— Я совсѣмъ ихъ не покупаю, это мнѣ какой-то французъ подарилъ.

— Какой это у тебя еще французъ завелся?

— Не знаю, глупый, должно быть, какой-то, далеко-далеко меня провожалъ и все глупости какія-то вретъ. Завтракать съ собой звалъ, а я не пошла, велѣла себѣ тутъ на этомъ углу въ лавочкѣ мароновъ купить и пожелала ему счастливо оставаться на улицѣ.

— Вотъ видите, какъ она знаетъ, чтѣ дѣлать, произнесла Анна Михайловна.—Только того и ждешь, что налетитъ на какую-нибудь исторію.

— Пустяки это, съѣдомое всегда можно брать, особенно у француза.

— Почему же особенно у француза?

— Потому что онъ, впервыхъ, глупъ, а, вовторыхъ, это ему удовольствіе доставляетъ.

— И тебѣ тоже?

— Нѣкоторое.

— А если этотъ французъ тебѣ сдѣлаетъ дерзость?

— Не смѣеть.

— Отчего же не смѣеть?

— Такъ, не смѣеть—да и только. Вы давно заграницею? обратилась она опять къ Долинскому.

— Скоро четыре года.

— Ой, ой, ой, это одурѣть можно.

Анна Михайловна засмѣялась и сказала:

— Вы ужь, monsieur Долинскій, теперь нась извиняйте за выраженія; мы, какъ видите, скоро дружимся и подружившись всѣ церемоніи сразу въ сторону.

— Сразу, серъёзно подтвердила Дора.

— Да, у нась съ Дарьей Михайловной все вдругъ дѣлается. Я того и гляжу, что она когда-нибудь пойдетъ два аршина лентъ купить, а мимоходомъ зайдетъ въ церковь, да съ кѣмъ нибудь обвѣняется и вернется съ мужемъ.

— Нѣтъ-съ, этого, душенька, не случится, отвѣчала, сморщивъ носикъ Дора.

— Охъ, а все-таки что-то страшно, шутила Анна Михайловна.

— Впервыхъ, выкладывала по пальцамъ Дора:—на мнѣ никогда никто не женится, потому что по множеству разныхъ пороковъ я неспособна къ семейной жизни, а вовторыхъ, я и сама ни за кого не пойду замужъ.

— Какое суровое рѣшеніе! произнесъ Долинскій.

— Самое гуманное. Я знаю, что я дѣлаю, не беспокойтесь. Я увѣрена, что я вполнода или бы уморила своего мужа, или бы умерла сама, а я жить хочу — жить, жить и пѣть. Дорушка подняла вверхъ ручку и пропѣла:

Золотая волюшка, мнѣ милѣй всего.

Не надо мнѣ съ волею, въ свѣтѣ ничего.

— Вотъ, начала она:—я почти такъ же велика, какъ Шекспиръ. У него Гамлетъ говоритъ, чтобы никто не женился, а я говорю, пусть никто не выходитъ замужъ. Совершенно справедливое.

ливо, что если выходить замужъ, такъ надо выходить за дурака, а я дураковъ терпѣть не могу.

— Почему же непремѣнно за дурака? спросилъ Долинскій.

— А потому, что умные люди больше не будутъ жениться.

— Триста лѣтъ близко, какъ вашъ Гамлетъ положилъ зарокъ людямъ не жениться, а видите, все люди и женятся и замужъ выходятъ.

— Ну да, все потому, что люди еще очень глупы, потому что посвистываетъ у нихъ въ лбахъ-то, резонировала Дора.—Умный человѣкъ всегда знаетъ, что онъ дѣлаетъ, а дураки, дураки всегда охотники жениться. Вѣдь вы вотъ, полагаю, не женитесь?

— Нѣтъ-съ, не женюсь, отвѣчалъ немножко покраснѣвъ Долинскій.

— А, а, то-то и есть. Даже вонъ въ краску васъ бросило при одной мысли, а скажите-ка, отчего вы не женитесь? оттого, что вы не хотите попасть въ дураки?

— Нѣтъ, оттого, что я женатъ, еще болѣе покраснѣвъ и замѣявшись отвѣчалъ Долинскій.

Дорушка быстро откинулась, значительно закусила свою нижнюю губку и, вспрыгнувъ съ своего мѣста, юркнула за драпировку.

Долинскій обтираль выступившій у него на лбу потъ и смѣялся самымъ веселымъ, искреннимъ смѣхомъ. Анна Михайловна сидѣла совершенно переконфуженная и ворочала что-то въ своей рабочей корзинкѣ. Щеки ея до самыхъ ушей были покрыты густымъ пунцовыми румянцемъ.

Секунды три длилась тихая пауза.

— Нѣтъ, это ужъ чортъ-знаетъ что такое, крикнула изъ-за драпировки Дорушка, голосомъ, въ которомъ звучали и насили сдерживаемый смѣхъ и досада.

— Да, это все оттого, что ты всегда знаешь, что ты дѣлаешь! тихо проговорила съ упрекомъ Анна Михайловна.

Долинскій опять разсмѣялся и вслѣдъ затѣмъ послышался несдержаній смѣхъ самой Доры. Аннѣ Михайловнѣ тоже позѣнила ея физіономія, она улыбнулась и съ упрекомъ проронила:

— Чудо, какъ умно!

— Что жъ, «чудо какъ умно!» заговорила, появляясь между полами драпировки, смѣющацяся Дора.

— Очень умно, повторила Анна Михайловна.

— Да развѣ же я виновата, оправдывалась Дора:—что насталъ

такой вѣкъ, что никакъ не наспасешься? Кто ихъ знаетъ, какъ они такъ женятся, что это по нихъ незамѣтно! Ну чего, ну чего это вы женились и не сказываете объ этомъ пріятномъ происшествіи? обратилась она къ смѣющемуся Долинскому и сама расхохоталась снова.

— Да нѣтъ, это вы вышиваете, продолжала она, махнувъ ручкой.

— Ну не вѣрьте.

— И не вѣрю, отвѣчала Дора.—Мнѣ даже этакъ удобнѣе.

— Что это, не вѣрить?

— Конечно; а то, Господи, чтѣ же это въ самомъ дѣлѣ за напасть такая! Опять бы надо во второй разъ передъ однимъ и тѣмъ же господиномъ извиняться. Не вѣрю.

— Да совершенно не въ чемъ-сь извиняться. Вы мнѣ только доставили искреннее удовольствіе посмѣяться, какъ я давно не смѣялся, отвѣчалъ Долинский.

Хозяйки порусски оставили Долинского у себя отобѣдать, потомъ вмѣстѣ ходили гулять и продержали его до полночи. Дорушка была умна, рѣзва и весела. Долинскій не замѣтилъ, какъ у него прошелъ цѣлый день съ новыми знакомыми.

— Вы, Дарья Михайловна, бываете когда нибудь и грустны? спросилъ онъ ее, прощаюсь.

— Ой, ой, и какъ еще! отвѣчала за нее сестра.

— И тогда ужъ не смѣетесь?

— Черной тучею смотритъ.

— Грозна и величественна бываю. Приходите почаше, такъ я вамъ доставлю удовольствіе видѣть себя въ мрачномъ настроеніи, а теперь adieu mon plaisir, спать хочу, сказала Дорушка, и дружески взявъ руку Долинского, закричала портъеру: «откройте».

## V.

### Кое что о чувствахъ.

Прошелъ мѣсяцъ, какъ нашъ Долинскій познакомился съ сестрами Прохоровыми. Во все это время не было ни одного дня, когда бы они не видались. Ежедневно, акуратно въ четыре часа, Долинскій являлся къ нимъ и они вмѣстѣ обѣдали, вмѣстѣ гуляли, читали, ходили въ театры и на маленькие балики, которые очень любила наблюдать Дора. Анна Михайловна съ своими хлопотами о закупкахъ для магазина часто уклонялась отъ такъ-на-

зываемаго Дорою «шлянъя» и предоставляла сестрѣ мыкаться по Парижу съ однимъ Долинскимъ. Знакомство этихъ трехъ лицъ въ этотъ промежутокъ времени дѣйствительно перешло въ самую короткую и искреннюю дружбу.

— Чудо, какъ весело мы теперь живемъ! восклицала Дора.

— Это правда, отвѣчалъ необыкновенно повеселѣвшій Несторъ Игнатьевичъ.

— А все вѣдь мнѣ всѣмъ обязаны.

— Ну, конечно-съ вамъ, Дарья Михайловна.

— Разумѣется; а не будь вы такой пентюхъ, все могло бы быть еще веселѣе.

— Чѣдъ жь я, напримѣръ, долженъ бы дѣлать, еслибъ не имѣлъ чина пентюха?

и — Это вы не можете догадаться, чѣдъ бы вы должны дѣлать? Вы, милостивый государь, даже изъ вѣжливости должны бы въ которую нибудь изъ нась влюбиться, говорила ему не разъ распахавшись Дорушка.

— Не могу, отвѣчалъ Долинскій.

— Отчего это не можете? Какъ бы весело-то было, чудо!

— Да вотъ видѣть чудесъ-то, я именно и боюсь.

— Э, лучше скажите, что просто у васъ, батюшка мой, вкусанѣтъ, шутила Дора.

— Ну, какъ тебѣ не стыдно, Дора, уши право вянуть слушать, чѣдъ ты только врёшь, останавливалась ее въ такихъ слушаяхъ скромная Анна Михайловна.

— Стыдно, мой другъ, только красть, лѣниться да обманывать, обыкновенно отвѣчала Дора.

Мрачное настроеніе духа, въ которомъ Дорушка, по ея собственнымъ словамъ, была *грозна и величественна*, во все это время не приходило къ ней ни разу, но она иногда очень упорно молчала часъ и другой, и потомъ вдругъ разрѣшалась вопро-сомъ, показывавшимъ, что она все это время думала о Долинскомъ.

— Скажите мнѣ, пожалуйста, вы въ самомъ дѣлѣ жена ты? спросила она однажды послѣ одного такого раздумья.

— Безъ всякихъ шутокъ, отвѣчалъ ей Долинскій.

Дорушка пожала плечами.

— Гдѣ же теперь ваша жена? спросила она опять послѣ нѣ-которой паузы.

— Моя жена? Моя жена въ Москвѣ.

— И вы съ ней не видались четыре года?

— Да, вотъ скоро будетъ четыре года.

— Чѣдѣ это значитъ? вы съ нею вѣроятно разошлись?

— Дора! остановила Анна Михайловна.

— Чѣдѣ тутъ такого обиднаго для Нестора Игнатьича вѣмоемъ вопросъ? Дѣло ясное, что если люди по собственной волѣ четыре года къ ряду другъ съ другомъ не видятся, такъ они другъ друга не любятъ. Любя нельзѧ другъ къ другу не рваться.

— У Нестора Игнатьича здѣсь дѣла.

— Нѣтъ, что-жь Анна Михайловна, я вѣдь вовсе не вижу нужды секретничать. Вопросъ Дарьи Михайловны меня ни мало не смущаетъ: я дѣйствительно не вѣ ладахъ съ моей женою

— Какое несчастье, проговорила съ искреннимъ участіемъ Анна Михайловна.

— И вы твердо рѣшились никогда съ нею не сходиться? допрашивала, серьѣзно глядя, Дора.

— Скорѣе, Дарья Михайловна, земля сойдется съ небомъ, чѣмъ я съ своей женою.

— А она любить васъ?

— Не знаю; полагаю, что нѣтъ.

— Что жь, она измѣнила вамъ, что-ли?

— Дора! Ну, да что жь это наконецъ такое! сказала, порываясь съ мѣста, Анна Михайловна.

— Не знаю я этого, и знать объ этомъ не хочу, отвѣчалъ Долинскій: — какое мнѣ до нее теперь дѣло, она вольна жить какъ ей угодно.

— Значитъ, вы ее не любите, продолжала съ прежнимъ спокойствиемъ Дорушка.

— Не люблю.

— Вовсе не любите?

— Вовсе не люблю.

— Это вамъ такъ кажется, или вы вѣ этомъ увѣрены?

— Увѣренъ, Дарья Михайловна.

— Почему-жь вы увѣрены, Несторъ Игнатьичъ?

— Потому, что... я ее ненавижу.

— Гм! ну, этого еще иногда бываетъ маловато, люди иногда и ненавидятъ, и презираютъ, а все-таки любятъ.

— Не знаю; мнѣ кажется, что даже и слова *ненавидѣть* и *любить* вѣ одно и то же время вмѣстѣ не вяжутся.

— Да, разсуждайте тамъ, вяжутся или не вяжутся; что вамъ

за дѣло до словъ, когда это случается на дѣлѣ; нѣтъ, а вы пробовали ли себя спросить, чтѣслибѣ ваша жена любила кого нибудь другого?

— Ну-съ, такъ что же?

— Какъ бы вы, напримѣръ, смотрѣли, еслибы ваша жена ца-ловала своего любовника, или... такъ вышла что ли бы изъ его спальни?

— Дора! да ты наконецъ рѣшительно несносна! воскликнула Анна Михайловна и, вставши съ своего мѣста, подошла къ окошку.

— Смотрѣль бы съ совершеннымъ спокойствиемъ, отвѣчалъ Долинскій на послѣдній вопросъ Дорушки.

— Да, ну если такъ, то это хорошо! Это, значитъ, дѣло капитальное, протянула Дора.

— Но смѣши только, отозвалась съ своего мѣста Анна Михайловна: — что ты придаешь такое большое значеніе ревности.

— Гадкому чувству, которое свойственно только пустымъ, щепетильно самолюбивымъ людышкамъ, подкрѣпилъ Долинскій.

— Толкуйте, господа, толкуйте; а отчего однако это гадкое чувство переживаетъ любовь, а любовь не переживаетъ его никогда?

— Но тѣмъ не менѣе, все-таки оно гадко.

— Да я же и не говорю, что оно хорошо; я только хотѣла пробовать имъ вашу любовь и теперь очень рада, что вы не любите вашей жены.

— Ну, а тебѣ чтѣдо этого? укоризненно качая головою спросила Анна Михайловна.

— Мнѣ? Мнѣ ничего, я за него радуюсь. Я вовсе не желаю ему несчастія.

— Какія ты сегодня глупости говорила, Дора, сказала Анна Михайловна, оставшись одна съ сестрою.

— Это ты о Долинскомъ?

— Да, разумѣется. Почемъ ты знаешь, какая его жена? Можетъ быть, она самая прекрасная женщина.

— Нѣть, этого не можетъ быть; онъ не такой человѣкъ, чтобы могъ бросить хорошую женщину.

— Да откуда ты его знаешь?

— Ахъ, Господи Боже мой, развѣ я дура, что-ли?

— Ну, а богъ его знаетъ, какой у него характеръ?

— Дѣтскій; да впрочемъ, какой бы ни былъ, это ничего не значитъ; умъ и сердце у него хороши, это все, что нужно.

— Нѣть; а ты пресентиментальная особа, Аня, начала, укладываясь въ постель, Дорушка.—У тебя все какъ бы такъ, чтобы и волкъ наѣлся и овца-бѣ была цѣлою.

— А конечно, это всего лучше.

— Да, очень даже лучше, только къ несчастію вотъ досадно, что это невозможно. Ужь ты повѣрь мнѣ, что его жена—волкъ, а онъ—овца. Въ немъ есть что-то такое до безпредѣльности мягкое, кроткое, этакое, знаешь, какъ будто жалкое, мужской умъ, чувства простыя и теплые, а при всемъ этомъ, онъ дитя, правда?

— Да, кажется. Мнѣ и самой иногда очень жаль его почему-то.

— А, видишь! Мы чужія ему, да намъ жаль его, а ей не жаль. Ну, что жь это за женщина?

Анна Михайловна вздохнула.

— Страшный ты человѣкъ, Дора, проговорила она послѣ минутаго молчанія.

— Повѣрь, Аничка, отвѣчала, приподнявшись съ подушки на локотокъ, Дора:—что вотъ этакое твое мягкое сердече-то иной разъ можетъ заставить тебя сдѣлать болѣе несправедливости. А по моему лучше кого нибудь спасать, чѣмъ надѣ цѣлымъ свѣтомъ охать.

— Я живу сердцемъ, Дора, и, можетъ быть, очень дурно увлекаюсь, но ужь такая я родилась.

— А я развѣ не сердцемъ живу, Аня? отвѣтила Дорушка и заслонила рукою свѣтчу.

— А вѣдь онъ очень хороши, сказала черезъ нѣсколько минутъ Дора.

— Да, у него довольно хорошее лицо, тихо отвѣчала Анна Михайловна.

— Нѣть, онъ просто очаровательно хорошъ.

— Да, хороши, если хочешь.

— Какие-то притягивающіе глаза, произнесла послѣ короткой паузы Дора, щуря на огонь свои собственные глазки и молча задула свѣтчу.

— Люблю такие тихія, покорныя лица, досказала она, ворочаясь впотьмахъ съ подушкой.

— Ну, что это, Дора, сто разъ повторять про одно и то же! Спи, сдѣлай милость, отвѣчала ей Анна Михайловна.

VI.

РОМАНЪ ЧУТЬ НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ ВЪ САМОМЪ НАЧАЛѢ.

Доходилъ второй мѣсяцъ знакомству Долинскаго съ Прохоровыми и сестры стали собираться назадъ въ Россію. Долинскій помогалъ имъ въ ихъ сборахъ. Онъ сдалъ комісіонеру всѣ покупки, которая нужно было переслать Аннѣ Михайловнѣ черезъ всѣ таможенные мытарства въ Петербургъ; даже помогалъ имъ укладывать чемоданы; самъ напрашивался на разныя мелкія порученія и вообще разставался съ ними, какъ съ самыми добрыми и близкими друзьями, но безъ всякой особенной грусти, безъ горя и досады. Отношенія его къ обѣимъ сестрамъ были совершенно ровны и одинаковы. Если съ Дорушкой онъ себя чувствовалъ нѣсколько веселѣе и самъ оживлялся въ ея присутствії, за то каждое слово, сказанное тихимъ и симпатическимъ голосомъ Анны Михайловны, вѣяло на него какимъ-то невозмутимымъ, святымъ покоемъ, и Долинскій чувствовалъ силу этого спокойнаго вліянія Анны Михайловны не менѣе, чѣмъ энергическую натуру Доры.

Дорушка не заводила болѣе рѣчи о бракѣ Долинскаго, и только разъ, при какомъ-то разсказѣ о бракѣ, совершившемся пѣтъ благодарности, или изъ какого-то другого весьма почтеннаго но безстрастнаго чувства, сказала, что это ужъ изъ рукъ вонъ глупо.

— Но благородно, замѣтила сестра.

— Да, знаешь, ужъ именно до подлости благородно, до самоубийства.

— Самопожертвованіе!

— Нѣтъ, Аня—глупость, а не самопожертвованіе. Изъ самопожертвованія можно дать отрубить себѣ руку, отказаться отъ наслѣдства, можно сдѣлать самую безумную вещь, на которую нужна минута, пять, десять... ну, даже хоть сутки, но хроническое самопожертвованіе на цѣлую жизнь, нѣтъ-съ, это невозможно. Вотъ вы, Несторъ Игнатьичъ, тоже не изъ состраданія ли женились? отнеслась она къ Долинскому.

— Нѣтъ, отвѣчалъ Долинскій, старалась сохранить на своемъ лицѣ какъ можно болѣе спокойствія.

Анна Михайловна и Дорушка обѣ пристально на него посмотрѣли.

— Пожалуй, что и да, мой батюшка; отъ него и это могло статья, произнесла нѣсколько комическими тономъ Дора.

Долинскій самъ разсмѣялся и сказалъ:

— Нѣтъ, право нѣтъ, я не такъ женился.

За день до отѣзда сестерь изъ Парижа, Долинскій принесъ къ нимъ нѣсколько эстамповъ, вложенныхъ въ папку и адресованныхъ: *Илью Макаровичу Журавкѣ по 11-й линіи, дому Клеменса.*

— Скажите, какой скромникъ! воскликнула Дорушка, прочитавъ адресъ.—Скоро два мѣсяца знакомы, и не разу не сказалъ, что онъ знаетъ Илью Макаровича.

— Развѣ и вы его знаете?

— Кого? Журавку? это нашъ другъ, отозвалась Анна Михайловна:—я его кума, дѣтей его крестила. У насть даже есть портреты его работы.

— Какъ же онъ мнѣ ничего не говорилъ о васъ?

— Изъ ревности, вмѣшалась Дорушка.—Онъ вѣдь, бѣдный Ильюша, влюблѣнъ въ Анию.

— Право?

— По уши.

Послѣдній день Долинскій провелъ у Прохоровыхъ съ самого утра. Вмѣстѣ пообѣдавъ, они сѣли въ нѣсколько опустѣвшей комнатѣ, и всѣмъ имъ разомъ стало очень невесело.

— Ну, помните, дитя мое, все, чему я вѣсть учила, пошутила Дорушка, гладя Долинскаго по головѣ.

— Слушаю-сь, отвѣчалъ Долинскій.

— Не хандрите, работайте и самое главное—непремѣнно влюбитесь.

— Послѣднаго только, самого-то главнаго, и не обѣщаю.

— Отчего?

— Смысла не вижу.

— Какой же вамъ надо смыслъ для любви? Развѣ любовь сама по себѣ не есть смыслъ, смыслъ жизни?

— Я не могу любить, Дарья Михайловна, права не имѣю давать въ себѣ места этому чувству.

— Это право принадлежитъ каждому живущему.

— Не совсѣмъ-сь. Напримѣръ, въ какой мѣрѣ можетъ пользоваться этимъ правомъ человѣкъ, обязанный жить и трудиться для своихъ дѣтей?

— А, такъ и эта прелесть есть въ вашемъ положеніи?

— У меня двое детей.

— Да, это кое-что значитъ.

— Нѣть, это очень много значитъ, отвѣтила Анна Михайловна.

— Н-и-ну, не знаю, отчего такъ ужъ очень много. Можно любить и своихъ прежнихъ детей и женщину.

— Да, еслибы любовь, которая, какъ вы говорите, сама по себѣ есть цѣль-то, или главный смыслъ нашей жизни, не налагала на насъ извѣстныхъ обязанностей.

— Что-то не совсѣмъ понятно.

— Очень просто: всей моей заботливости едва достаетъ для однихъ моихъ детей, а если ее придется еще раздѣлить съ другими, то совсѣмъ будетъ мало. Вотъ почему у меня и выходитъ, что нельзя любить, слѣдуетъ бѣжать отъ любви.

— Да это дико! это просто дико!

— И очень честно, очень благородно, вмѣшалась Анна Михайловна. — Съ этой минуты, Несторъ Игнатьичъ, я вѣсѣ еще болѣе уважаю и радуюсь, что мы съ вами познакомились. Дора сама не знаетъ, что она говоритъ. Лучше одному тянуть свою жизнь, какъ ужъ Богъ ее устроилъ, нежели видѣть около себя кругомъ несчастныхъ, да слышать упреки, видѣть страдающія лица. Нѣть, Боже вѣсѣ спаси отъ этого!

— Нѣть, извините господа, это вы-то, кажется, не знаете, чѣмъ говорите! Любовь, деньги, обезпеченія... фу, какой противоречіиственный впнигреть! Все это очень умно, звучно, чувствительно, а самое главное то, что все это се sont des пустяки. Кто вѣдѣть свои дѣла умно и рѣшительно, тотъ все это отлично уладить, а вы, милашечки мои, сами неудобѣ какая-то, оттого такъ и разсуждаете.

— Дарья Михайловна смотритъ на все очень ужъ молодо, смѣло черезчуръ, снисходительно проговорилъ Долинскій, относясь къ Аннѣ Михайловнѣ.

— Крылышки у нея еще не помяты, отвѣчала Анна Михайловна.

— Именно; а пуганая ворона, какъ говорить пословица, и куста боится.

— Вотъ, вотъ, вотъ! Это—самое лучшее средство разрѣшать себѣ все пословицами, то-есть чужимъ умомъ! Ну, и поздравляю васъ, и оставайтесь вы при своемъ, что вороны куста боятся, а я буду при томъ, что соколу льтъ не страшенъ. Вѣдь это тоже пословица.

Долинский простился съ Прохоровыми у вагона съверной жѣлѣзной дороги и они дали слово иногда писать другъ другу.

— Прощайте, пуганая ворона! крикнула изъ окна Дорушка, когда вагоны тронулись.

— Летите, летите, мой смѣлый соколь.

Посмотрѣвъ вслѣдъ уносившемуся поѣзду, Долинский обернулся, и въ эту минуту особенно тяжко почувствовалъ свое одиночество, почувствовать его сильнѣе, чѣмъ во всѣ протекшия четыре года. Не тихая тоска, а какое-то зло на свое сиротство, желчная раздражительная скуча, охватила его со всѣхъ сторонъ. Онъ заѣхалъ на старую квартиру Прохоровыхъ, чтобы взять оставленныя тамъ книги, и пустыя комнаты, которая мела француженка, окончательно его сдавили; ему стало еще хуже. Долинский зашелъ въ кафе, выпилъ два грога и, возвратясь домой, заснулъ крѣпкимъ сномъ.

Опять онъ оставался въ Парижѣ одинъ-одинешенекъ, утомленный, разбитый и безотрадно-смотрающій на свое будущее.

— Вернуться бы ужъ, что-ли, самому въ Россію? подумалъ онъ, лежа на другое утро въ постели.

— Да какъ вернуться? того гляди, исторію сдѣлаетъ. Нѣтъ ужъ, размышлялъ онъ, переворачивая по своему обыкновенію каждый вопросъ со всѣхъ сторонъ: — нужно имѣть надъ собою власть и мыкать здѣсь свое горе. Все же это достойнѣе, чѣмъ не устоять противъ скучи и опять рисковать попасться въ какую нибудь гадкую исторію.

## VII.

### ДОРА ЗНАЕТЪ, ЧТО ДѢЛАЕТЬ.

Такъ попрежнему скучно, тоскливо и одиноко прожилъ Долинский еще полгода въ Парижѣ. Въ эти полгода онъ получилъ отъ Прохоровыхъ два или три малозначущія письма съ шутливыми приписками Ильи Макаровича Журавки. Письма эти радовали его, какъ доказательства, что тамъ на Руси у него все-таки есть люди, которые его помнятъ; но читая эти письма, ему становилось еще грустнѣе, что онъ оторванъ отъ родины и, какъ изгнаникъ какой-нибудь, не смѣеть въ нее возвратиться безъ опасенія для себя болѣшихъ непріятностей.

Наконецъ въ одинъ прекрасный день, Несторъ Игнатьевичъ получилъ письмо, которое сначала его вѣсколько поразило, а

потомъ весьма порадовало, и дало ему толчокъ, котораго давно ждала его робкая, нерѣшительная натура.

Письмо это сначала до конца было писано Дорушкою, безъ всякой сторонней приписки.

«Несторъ Игнатьевичъ (писала Дора Доливскому)! Я никакъ не могу себѣ опредѣлить, очень умно или до крайности глупо я поступаю, что пишу къ вамъ это письмо; но не могу удержаться и все-таки пишу его. Когда я сказала моимъ и вашимъ друзьямъ, то-есть Анѣ и Ильѣ Макаровичу, что васъ непремѣнно надо немедленно извѣстить о томъ, о чёмъ вы теперь узнаете изъ этого письма, то они подняли такой гвалтъ, что съ ними не стоило спорить и приходилось бы отказаться отъ всякаго намѣренія посвятить васъ въ ваши же собственные дѣла. Но мой грѣшный разумъ и тайный голосъ моего сердца, которыхъ я привыкла слушаться, склонили меня къ преступленію противъ Ани и Ильи Макаровича. Я пишу вамъ это письмо тайно отъ нихъ и прошу васъ это хорошенко запомнить.

«Дѣло идетъ, конечно, о васъ и заключается въ томъ, что вшихъ дѣтей, на воспитаніе которыхъ вы высыпаете деньги, уже четвертый годъ не существуетъ на свѣтѣ, а жена ваша тоже около года живеть въ Эмсѣ съ старымъ богачомъ, откупщикомъ Штульцемъ. Дѣти ваши почти обои разомъ умерли отъ крупна, вскорѣ послѣ вашего отѣзда изъ Москвы, а у вашей жены за границею родился новый ребёнокъ, на котораго откупщикъ Штульцъ (какой-то задушевный пріятель родственниковъ вашей жены) далъ очень серьёзную сумму. Говорятъ, что этою суммою на цѣлую жизнь прочно обеспечены и мать и ребёнокъ.

«Всѣ эти аккуратно и достовѣрно собранныя свѣдѣнія привезъ намъ Илья Макаровичъ, который на дняхъ ѻздилъ въ Москву реставрировать какую-то вновь открытую изъ-подъ старой штукатурки допотопную фреску. Обстоятельства эти мнѣ показались очень важными для васъ и я настаивала, чтобы извѣстить васъ обо всемъ подробнѣ; но и сестра, а за нею и милѣйший другъ нашъ Журавка завопили: «нельзя; невозможно! это все нужно исподволь, да другими путями, чтобы не сразить васъ и не попасть самимъ въ сплетники». Я не могла съ ними сопротивляться, но и не могла съ ними согласиться, потому что все это, мнѣ кажется, должно имѣть для васъ очень большое и, по моему, не совсѣмъ грустное значеніе. А для того, чтобы на свѣтѣ не было сплетень, я думаю, самое лучшее дѣло—какъ можно

болѣе сплетничать. Это одно только можетъ отучить людей распускать запечные слухи. Хочу думать, Несторъ Игнатьевичъ, что я васъ понимаю и не дѣлаю ошибки, посылая къ вамъ это конфиденціальное посланіе.»

«Пребываю къ вамъ благосклонная

«Дора».

«Р. S. Нашъ независимый Илья Макаровичъ продолжаетъ все болѣе и болѣе терять независимость отъ своей Граціеллы и приходитъ къ намъ довольно рѣдко и то урывкомъ.»

Въ отвѣтъ на это письмо Долинскій написалъ Дорѣ: «Вы прекрасно сдѣлали, Дарья Михайловна, что послушались самихъ себя и извѣстили меня о происшествіяхъ въ моей семье. Сразить меня это никакъ не могло. Дѣтей, разумѣется, жалко, но если подумать, что ихъ могло ожидать при семейномъ разладѣ родителей, то, можетъ быть, для нихъ самихъ лучше, что они умерли въ самые ранніе годы. А что касается до моей жены, то я былъ всегда увѣренъ, что она устропится самымъ лучшимъ и выгоднымъ для нея образомъ. Я очень радъ за неё и не сомнѣваюсь, что она поведетъ свою дѣлѣ прекрасно. Для меня же теперь исчезаютъ препятствія къ возвращенію на родину, и я черезъ мѣсяцъ надѣюсь лично поблагодарить васъ за оказанную мнѣ услугу».

— Да ты, стало быть, въ самомъ дѣлѣ иногда знаешь, чѣмъ дѣлаешь, сказала Анна Михайловна, когда Дора, получивъ письмо Долинскаго, сама открыла свой секретъ.

Не прошло и мѣсяца, какъ одинъ разъ густыми осенними сумерками, Журавка влѣзъ въ маленькую столовую Анны Михайловны, гдѣ сидѣли хозяйка и Дора, и закричалъ:

— Неудобѣ нашѣ пріѣхали.

— Долинскій! Гдѣ-жь онъ? спросили вмѣстѣ обѣ сестры.

Въ эту же минуту въ темной рамѣ дверей показалась фигура безъ облика; но взглянувъ на эту фигуру, и Дорушка и Анна Михайловна разомъ закричали: Несторъ Игнатьевичъ! это вы?

— Я, Анна Михайловна, отвѣчаль Долинскій, цалуя руки обѣихъ сестеръ.

— Когда пріѣхали?

— Сегодня въ четыре часа.

— А теперь шесть; это очень мило, похвалила Дорушка.—А мы васъ здѣсь, знаете, какъ прозвали? «Нѣудобѣ».

Долинскій махнулъ рукой и сказалъ:

— Ужь это хоть не спрашивай, Дарья Михайловна выдумала.

— Пф! сразу, шельмецъ, узналъ, воскликнулъ Журавка, и тотчасъ же, нагнувшись къ уху Анны Михайловны, прошепталъ:

— Вы намъ, кумушка, чаишку дадите, а я тѣмъ часомъ тутъ слетаю; всего на одну минуточку слетаю и ворочусь; дѣлишко есть у Пяти Угловъ.

— Летите, летите, отвѣчала ему Анна Михайловна, и художникъ юркнулъ.

Обѣ хозяйки были необыкновенно радушны съ Долинскимъ. Онѣ его внимательно разспрашивали, какъ ему жилось, что онѣ думалъ, что видѣлъ?

Долинскій давно не чувствовалъ себя такъ хорошо: словно онъ къ самимъ добрымъ, къ самимъ теплымъ роднымъ пріѣхалъ. Подали свѣчи и самоваръ; Дорушка сѣла за чай, а Анна Михайловна повела Долинскаго показать ему свою квартиру.

Квартира Анны Михайловны помѣщалась въ одномъ изъ лучшихъ домовъ на Владимірскомъ проспектѣ. Эта квартира состояла изъ шести прекрасныхъ комнатъ въ бельэтажѣ, съ параднѣйшимъ подъѣздомъ съ улицы. Самая большая комната съ подъѣзда была занита магазиномъ. Здѣсь стояли шкафы, шифоньерки, подставки и два огромныхъ, дорогихъ трюмо. За большими орѣховыми шкафами, устроеннымъ по размѣрамъ этой комнаты и раздѣявшимъ ее на двѣ ровныя половины, помѣщался длинный липовый столъ и около него шесть или восемь такихъ же чистенькихъ, некрашеныхъ, липовыхъ табуреточекъ. Половина этого отдѣленія комнаты была еще разъ передѣлена драпировкою пзъ зеленаго каленкора, за которую стояли три кроватки, закрытыя недорогими, сѣрыми, байковыми одѣялами. Здѣсь была спальня трехъ небольшихъ дѣвочекъ, отданныхъ пхъ родными Аннѣ Михайловнѣ, для обученія мастерству. Когда Анна Михайловна ввела за собою своего гостя въ это зашкафное отдѣленіе, на Долинскаго чрезвычайно благопріятно подѣйствовала представившаяся ему картина. Надъ чистымъ липовымъ столомъ, заставленнымъ кучею тюля, газа, лентъ и матеріи, висѣла огромная мѣдная лампа, освѣшавшая весь столъ. За столомъ на табуреткахъ сидѣли четыре очень опрятныя, миловидныя дѣвушки и три дѣвочки одѣтыя, какъ институтки, въ одинаковыя люстриновые платьица съ бѣлыми передниками. Въ одномъ концѣ стола, на легкомъ деревянномъ креслѣ съ рѣшотчатою деревянною спин-

кой, сидѣла небольшая женская фигурка съ взбитымъ хохломъ и чертообразными махрами на переди сѣтки.

— Это моя помощница, mademoiselle Alexandrine, отрекомендовала Анна Михайловна эту фигурку Долинскому. Mademoiselle Alexandrine тотчасъ же, очень ловко и съ большимъ достоинствомъ удостоила Долинского легкаго поклона, и такъ произнесла свое bonsoir, monsieur, что Долинскій не вообразилъ себя въ Парижѣ только потому, что глаза его въ эту минуту остановились на невозможныхъ архитектурныхъ украшеніяхъ трехъ другихъ дѣвушекъ, очевидно стремившихся, во чтобы то ни стало, не только догнать, но и далеко превзойти и хохоль, и чертообразность сѣтки всегда столь ненавистной русской швеѣ «француженки». Дѣвочки были острижены въ кружокъ и не могли усвоивать себѣ заманчивой прически; но у одной изъ нихъ волосы на лбу были подрѣзаны и торчали, какъ у самого благочестиваго раскольника. Это постриженіе надѣло совершила Дора, чтобы освободить молодую русскую франтиху отъ воска, съ помошью кото-раго она старалась выстроить себѣ французскій хохоль на остриженной головкѣ. Въ другомъ концѣ стола, противъ кресла, на которомъ сидѣла mademoiselle Alexandrine, стояло точно такое же другое пустое кресло. Это было мѣсто Доры. Никакихъ атрибутовъ старшинства и превосходства не было замѣтно возлѣ этого мѣста, даже подноожная скамейка возлѣ него стояла простая, деревянная, точно такая же скамейка, какія стояли подъ ногами дѣвушекъ и ученицъ. Единственное преимущество этого мѣста заключалось въ томъ, что прямо противъ него, надъ чернымъ карнизовъ драпировки, отдѣлавшей спальню дѣвочекъ, помѣщались довольно большие часы въ черной деревянной рамкѣ. По этимъ часамъ Даша вела рабочій порядокъ мастерской. Сестра Анны Михайловны не любила высакивать по дверному звонку и торчать въ магазинѣ, чтобъ, напротивъ, очень нравилось mademoiselle Alexandrine. Поэтому продажею и пріемомъ заказовъ преимущественно завѣдывала француженка и сама Анна Михайловна, а Дора сидѣла за рабочимъ столомъ и держивала работою, и выходила въ магазинъ только въ крайнихъ случаяхъ, такъ-скажать, на особенно важные консиліумы. На ея же попеченіи были и три ученицы. Она не только имѣла за ними главный общий надзоръ, но она же наблюдала за тѣмъ, чтобы эти оторванныя отъ семьи дѣти не терпѣли много отъ грубости и невѣжества другихъ женщинъ, по натурѣ хотя и незлыхъ, но утратившихъ

подъ ударами чужаго невѣжества всю собственную мягкость. Кромѣ того Дора по воскресеньямъ и праздничнымъ днамъ учila этихъ дѣвочекъ грамотѣ, счисленію и рассказывала имъ какъ умѣла о Богѣ, о людяхъ, обѣ исторіи и природѣ. Дѣвочки боготворили Дарью Михайловну; взрослыя мастерицы тоже очень ее любили и докѣряли ей всѣ свои тайны, требующія гораздо болѣшаго секрета и вниманія, чѣмъ мистеріи иной свѣтской дамы, или тайны тѣхъ безплотныхъ нимфъ, которая «такъ непорочны, такъ умны и такъ благочестія полны», что какъ мелкіе потоки текутъ въ большую рѣку, такъ и онѣ катятся неуклонно въ одну великую тайну: добыть себѣ во что бы то ни стало богатаго мужа и роскошно пресыщаться всѣми благами жизненнаго пира, бросая честному труду обглоданную кость и презрительное снисхожденіе. Изъ четырехъ дѣвушекъ этой мастерской особеннымъ расположениемъ Доры пользовалась Анна Анисимовна. Это была та единственная дѣвушка, у которой надо лбомъ не было французскаго хохла. Аннѣ Анисимовнѣ было отроду лѣтъ двадцать-восемь; она была высокая и довольно полная, но весьма грациозная блондинка, съ голубыми, рано померкшими глазами и характерными углами губъ, которая, въ сочетаніи съ немногого выдающимся подбородкомъ, придавали ея лицу выраженіе твердое, честное и рѣшительное. Анна Анисимовна родилась крѣпостной дѣвочкою, выучена швейному мастерству на Кузнецкомъ мосту въ Москвѣ и отпущена своею молодою барыней на волю. Имѣя девятнадцать лѣтъ, она совсѣмъ близко познакомилась съ однимъ молодымъ, замотавшимся купеческимъ сыномъ и мѣсяца черезъ два приняла своего милаго въ свою маленькую комнатку, которую нанимала неподалеку отъ магазина, гдѣ работала. Три года она работала безъ отдыха, что называется, не покладывая рукъ, денно и нощно. Въ эти три года Богъ далъ ей трехъ дѣтей. Анна Анисимовна кормила и дѣтей, и любовника, и ни на что не жаловалась. Наконецъ кончилъ ея милый курсъ покаянія, получилъ радостное извѣстіе о смерти самодура-отца и удралъ, обѣщаю Аниѣ Анисимовнѣ не забывать ее за хлѣбъ и соль, за любовь вѣрную и за дружбу. О женитьбѣ, или хотя о чемънибудь другомъ посущественнѣе словесной благодарности, и рѣчи не было. Анна Анисимовна сама тоже не сказала ни о чемъ подобномъ ни слова. Приходили съ тѣхъ поръ Аннѣ Анисимовнѣ не разъ круты времена съ тремя дѣтьми, и знала Анна Анисимовна, что забывшій ее милый живетъ богато, губернато-

ровъ принимаетъ, чутъ пару въ банѣ шампанскимъ не поддаетъ, но никогда ни за что она не хотѣла ему напомнить ни о дѣтяхъ, ни о старомъ долгѣ. «Самъ не помнитъ, такъ и не надо; значитъ, совѣсти нѣть», говорила она и еще сильнѣе разрывалась надъ работой, которою и питала и обогрѣвала дѣтей своей отверженной любви. Просила у Анны Анисимовны одного ея мальчика въ сыновья бездѣтная купеческая семья, обѣщала сдѣлать его наследникомъ всего своего состоянія—Анна Анисимовна не отдала. «Счастье у своего ребёнка отнимаете», говорили ей дѣвушки. «Ничего, отвѣчала Анна Анисимовна: за то совѣсти не отниму; не выучу бѣдныхъ дѣвушекъ обманывать, да дѣтей своихъ пускать по миру». Этой Аннѣ Анисимовнѣ Дорушка оказывала полнѣйшее уваженіе и своимъ примѣромъ заставляла другихъ уважать.

Мертвая блѣдность нѣкогда прекраснаго, рано отцвѣтшаго лица и крайняя простота наряда этой дѣвушки невольно остановили на себѣ мимолетное вниманіе Долинскаго, когда изъ противоположныхъ дверей вошла съ свѣчкою въ рукахъ Дорушка и спросила:

— Правда, хорошо у насъ, Несторъ Игнатиичъ?

— Прекрасно, отвѣчалъ Долинскій.

— Вонъ тамъ мой тронъ, или, лучше сказать, мое президентское мѣсто; а это все моя республика. Аня вѣрно уже познакомила васъ съ mademoiselle Alexandrine?

Долинскій отвѣчалъ утвердительно.

— Ну, а я еще познакомлю васъ съ прочими: это—Полинька, видите, она у насъ совсѣмъ перфская красна-дѣвица, и, если у васъ есть хоть одна капля вкуса, то вы въ этомъ должны со мною согласиться; Полинька, нечего, нечего закрываться! Сама очень хорошо знаешь, что ты красавица. Это, продолжала Дора:— это Оля и Маша, отличающіяся замѣчательно неразрывностью своей дружбы и потому называемыя «симпатичными попугаями» (дѣвушки засмѣялись); это все мелкота, пока еще неуспѣвшая ничѣмъ отличиться, сказала она, указывая на маленькихъ дѣвочекъ:— а это Анна Анисимовна, которую мы всѣ уважаемъ, и которую совѣтую уважать и вамъ. Она—самый честный человѣкъ, котораго я знаю.

Долинскій нѣсколько смѣшался и протянулъ Аннѣ Анисимовну руку; дѣвушка торопливо положила на столъ свою работу, неловко застѣнчивостью подала Долинскому свою иголкою руку.

Ч. I.

— Ну, пойдемте дальше теперь, позвала Анна Михайловна.

Хозяйка и гость вышли за двери, которыми за минуту вошла Дора, и вслѣдъ за ними изъ мастерской послышался дружный, веселый смѣхъ нѣсколькихъ голосовъ.

— Ужасные сороки и хохотушки, проговорила, идя впереди со свѣчкою, Дорушка: — а за то народъ все препскренній и пресердечный.

Тотчасъ за мастерскою у Анны Михайловны шель небольшой коридоръ, въ одномъ концѣ котораго была кухня и черный ходъ на дворъ, а въ другомъ двѣ большія, свѣтлая комнаты, которыхъ Анна Михайловна хотѣла кому нибудь отдать, чтобы облегчить себѣ плату за весьма дорогую квартиру. Посрединѣ коридора была дверь, которой входили въ ту самую столовую, куда Журавка ввѣль сумерками къ хозяйкамъ Долинскаго. Эта комната служила сестрамъ въ одно и то же время и залой, и гостиную, и столовой. Въ ней были четыре двери: одна, какъ сказано, вела въ коридоръ; другая въ одну изъ комнатъ, назначенныхъ внаймы, третья въ спальню Анны Михайловны, а четвертая въ уютную комнату Доры. Вся квартира была мѣблирована перескочно и небѣдно, но съ большимъ вкусомъ и комфортно. Все здѣсь давало чувствовать, что хозяйки устроились тутъ для того, чтобы жить, а не для того, чтобы принимать гостей и заботиться выражаться предъ ними съ какой нибудь изящной стороны. Это жилье дышало тою спокойною простотою, которая сразу даетъ себя чувствовать и которую, къ сожалѣнію, все рѣже и рѣже случается встрѣтить въ наше суевѣтливое и суевѣтное время.

— Очень хорошо у насъ, Несторъ Игнатьичъ? спрашивала Дора, когда всѣ усѣлись за чай.

— Очень хорошо, соглашался съ нею Долинскій.

Здѣсь нѣть мѣбели богатой,  
Нѣть ни бронзы, ни картины,  
И хозяинъ, слава Богу,  
Здѣсь не знатный господинъ —

проговорила Дора и съ послѣдними словами сердечно поцаловала свою сестру.

— Дорого только, сказала Анна Михайловна.

— Э! полно, пожалуйста, жаловаться. Отадимъ двѣ комнаты, такъ вовсе не будетъ дорого. За эти комнаты всякой охотно дастъ триста рублей въ годъ.

— Это даже дешево, сказалъ Долинскій.

— Но вѣдь подите же съ нами! говорила Дора.—Наняли квартиру съ тѣмъ, чтобы кому нибудь эти двѣ комнаты уступить, а перешли сюда, и баста; вотъ третій мѣсяцъ не можемъ рѣшиться. Мужчинъ боимся, женщинъ еще болѣе, а дѣти на наше горе не напоминаютъ; ну, кто же намъ виноватъ, скажите пожалуйста?

— Ты, отвѣчала Анна Михайловна.—Сбила меня. Послушалась ее, наняла эту квартиру; правда, она очень хороша, но велика совсѣмъ для насъ.

Изъ коридора показался Илья Макаровичъ.

— А какъ вы люди мыслите? Я... какъ бы это вамъ помудреніе выразиться? началъ входя художникъ.

— Крошечку выпилъ, подсказала Дора.

— Да-съ... въ этомъ въ самомъ густѣ.

— Объ этомъ п говорить не стоило, сказала разсмѣявшись Дора.

Всѣ взглянули на Илью Макаровича, у котораго на щечкахъ пылалъ румянецъ и волосы слиплись на потномъ челѣ.

— Нельзя, Несторка пріѣхалъ, проговорилъ икнувъ Журавка.

— Никакъ нельзя, поддержала серьёзно Дора.

Всѣ еще болѣе засмѣялись.

— Да ужь такъ-съ! лепеталъ художникъ.—Вы сдѣлайте милость... не того-съ... не острите. Я иду, бацъ на углѣ этакій каламбуръ.

— Хорошій человѣкъ встрѣчается, сказала Дора.

— Да-съ, именно хороший человѣкъ встрѣчается и...

— И говоритъ, давай, говоритъ, выпьемъ! снова подсказала Дора.

— И совсѣмъ не то! Денкера приказчикъ, это... Журавка икнуль и продолжалъ:—Денкера приказчикъ, говоритъ, просиль тебя привезти къ нему; портретченко, говоритъ, жены хочетъ тебѣ забазать. Ну, вѣдь волка, я думаю, ножки кормятъ; такъ это я говорю?

— Такъ.

— Я, разумѣется, и пошелъ.

— И, разумѣется, выпилъ.

— Ну, и выпилъ, и работу взялъ. Вѣдь нельзя же!... А тутъ вспомнилъ, Несторка тутъ меня ждетъ! Другъ, говорю, ко мнѣ пріѣхалъ неожиданно; позвольте, говорю, мнѣ въ долгъ пару бутыльченокъ шампанскаго. И ужь извините, кумушка, двѣ бутыльченки мы разопьемъ! Вотъ онѣ, канашки французскія!

клинуль Журавка, торжественно вынимая изъ-подъ пальто двѣ засмоленные бутылки.

Всѣ глядѣли, посмѣиваясь, на Илью Макаровича; на лицѣ котораго выражалось вполнѣ блаженство опьяненія.

— Хорошаго, должно быть, о васъ мнѣнія остался этотъ денежковъ приказчикъ, говорила Дора.

— А что же такое?

— Ничего; пришелъ говорить о заказѣ, сейчасъ патянулся и еще въ долгъ пару бутыльченокъ выпросилъ.

— Да, двѣ; и вотъ онъ здѣсь; вонъ онъ, заморскія, засмолленныя... Нельзя, Дарья Михайловна! Вы еще молоды; вы еще писанія не понимаете.

— Нѣтъ, понимаю, шутила Дора.—Я понимаю, что дома вамъ нельзя, такъ вы вотъ...

— Тсс! тс, тс, тс... нѣтъ, ей-богу же для Несторки. Несторка... вамъ вѣдь онъ ничего, а мнѣ онъ другъ.

— И намъ другъ.

— Ну, нѣтъ-съ, вы погодите еще! Я его отъ бѣды, отъ черта оторвалъ, а вы... нѣтъ... вы...

— «А вы... нѣтъ... вы», передразнила, смѣши кривляясь, Дора и добавила:— совсѣмъ пьянъ, голубчикъ!

— А это развѣ худо, худо? Ну, я и на то согласенъ; на то я художникъ, чтобы все худое дѣлать. Правда, Несторъ Игнатьичъ? Канашка ты, шельмецъ ты! Журавка обнялъ и поцаловалъ Долинскаго.

— Вотъ видишь, говорилъ, освобождаясь изъ дружескихъ объятій, Долинскій:—теперь tolkuешь о дружбѣ, а какъ я совсѣмъ разбитый ѿхалъ въ Парижъ, такъ небось не вздумалъ меня познакомить съ Анной Михайловной и съ mademoiselle Дорой.

— Не хотѣлъ, братишка, не хотѣлъ; тебѣ было нужно тогда уединеніе.

— Уединеніе! Все вздоръ вретъ, просто отъ ревности не хотѣлъ васъ знакомить съ нами, разбивала художника Дора.

— Отъ ревности? Ну, а отъ ревности, такъ и отъ ревности. Вы это навѣрное знаете, что я отъ ревности его не хотѣлъ знакомить?

— Навѣрное.

— Ну, и очень прикрасно, пусть такъ и будетъ, отвѣчалъ художникъ налегая на букву и въ умышленно портимомъ словѣ прекр

— Да, и очень прикрасно, а мы вотъ теперь съ Несторомъ Игнатьичемъ вмѣстѣ жить будемъ, сказала Дора.

— Какъ это вмѣстѣ жить будете?

— Такъ; Аня отдастъ ему тѣ двѣ комнаты.

— Да вы это со мною шутите, смѣетесь или просто говорите? вопросилъ съ эффектомъ Журавка.

— А вотъ отгадайте?

— Я и съ своей стороны спрошу васъ, Дарья Михайловна, вы это шутите, смѣетесь, или просто говорите? сказалъ Долинскій.

Изъ шутки вышло такъ, что Аниа Михайловна, послѣ нѣкотораго замѣшательства и нѣсколькихъ минутъ колебанья, уступила просьбѣ Долинскаго и въ самомъ дѣлѣ отдала ему свои двѣ свободныя комнаты.

— И очень прикрасно! возглашалъ художникъ, когда переговоры кончились въ пользу перехода Долинскаго къ Прохоровымъ.

— А прикрасно, говорила Дора:—по крайней-мѣрѣ будетъ хоть съ кѣмъ въ театръ пойдти.

— Прикрасно, прикрасно, отвѣчалъ Журавка шутя, но съ тѣнью нѣкоторой, хотя и легкой, но худо скрытой досады.

Послѣ уничтоженія принесенныхъ Ильею Макаровичемъ двухъ бутыльчиковъ, онъ началъ высказываться нѣсколько яснѣ:

— Еслибъ я былъ холостой, заговорилъ онъ: — ужь тебѣ-бѣ братишку тутъ не жить.

— Да вы же развѣ женаты?

— Пфъ! не женатъ! да вѣдь я же ей вексель выдалъ.

Этого события между Ильею Макаровичемъ и его Граціэллою до сихъ поръ никто не вѣдалъ. Извѣстно было только, что Илья Макаровичъ былъ помѣшанъ на свободѣ любовныхъ отношеній и на итальяночкахъ. Счастливый случай свелъ его, гдѣ-то въ Неаполѣ, съ довѣренно безобразной синьорой Луизой, которую онъ привезъ съ собою въ Россію и долго не переставалъ кстати и некстати кричать о ея художественныхъ талантахъ и страстной къ нему привязанности. Поэтому извѣстіе о векселѣ, взятомъ съ него итальянкою, заставило всѣхъ очень смѣяться.

— Фу, Боже мой! да вѣдь это только для того, чтобы я не женился, оправдывался художникъ.

Дорогою, по пути къ Васильевскому острову, Журавка все твердилъ Долинскому:

— Ты только смотри, Несторъ... ты, я знаю... ты чоловѣкъ честный...

— Ну, ну, говори ясне, требовалъ Долинскій.

— Онѣ... вѣдь это я тебѣ говорю... пф! это божественныи души!... чистота, искренность... довѣрчивость...

— Да ну, чтѣ ты сказать-то хочешь?

— Не... обезпокой какъ нибудь, не оскорби.

— Полно, пожалуйста.

— Не скомпрометириуй.

— Ну, ты, я вижу, въ самомъ дѣлѣ пьянъ.

— Это, другъ, ничего, пьянъ я, или не пьянъ—это мое дѣло; пьянъ да уменъ, два угодья въ немъ, а ты имъ... братомъ будь. Минутъ пять пріятели проѣхали молча и Журавка опять началъ:

— Потому-что, чтѣ-жь хорошаго...

— Фу, надоѣлъ совсѣмъ! что я самъ будто не знаю, отгово-рился Долинскій.

— А знаешь, братъ, такъ и помни. Помни, что кто за довѣ-рие заплатитъ нехорошо, тотъ подлецъ, Несторъ Игнатьевичъ.

— Подлецъ, Илья Макаровичъ, шутя отвѣчалъ Долинскій.

Оба пріятели весело разсмѣялись, и распостились у гости-ницы, тотчасъ за Николаевскимъ мостомъ.

На другой день, часу въ двѣнадцатомъ, Долинскій переѣхалъ къ Прохоровымъ и прочно водворился у нихъ на жительствѣ.

— Вчера Илья Макаровичъ цѣлую дорогу все читаль мнѣ но-тацію, какъ я долженъ жить у васъ, разсказывалъ за вечернимъ чаеніемъ Долинскій.

— Онъ большой нашъ другъ и, къ несчастію его, совершенно слѣпой Аргусъ, отвѣчала Дора.

— Онъ рѣдкій человѣкъ и любить насъ чрезмѣрно, прогово-рила Анна Михайловна.

### VIII.

#### ПАНСІОНЕРЪ.

Несторъ Игнатьевичъ зажилъ такъ, какъ еще не жилось ему ни одного дня съ самого выхода изъ отцовскаго дома. Постоян-ная внутренняя тревога и недовольство, и собою и всѣмъ окру-жающимъ, совершенно его оставили въ домѣ Аны Михайловны. Аккуратный какъ часы, но необременительный, какъ несносная дисциплина, порядокъ въ жизни его хозяекъ возвратилъ Долин-скаго къ своевременному труду, который смѣялся своевремен-нымъ отдыхомъ и возможными удовольствіями. Всякій день неиз-

мѣнно въ восемь часовъ утра, ему приносили въ его комнату стаканъ кофе съ свѣжею булкою; въ два часа Дорушка звала его въ столовую, гдѣ былъ приготовленъ легкій завтракъ, потомъ онъ проходилъ съ Дорою (которой была необходима прогулка) отъ Владимицкой до Адмиралтейства и назадъ; въ пять часовъ садились за столъ, въ восемь пили вечерній чай и въ двѣнадцать ровно расходились по своимъ комнатамъ.

Въ недѣлю раза два Долинскій съ Дорою бывали въ театрѣ. Дни у нихъ проходили за дѣломъ, но вечерами они не отказывали себѣ въ роздыхѣ и нѣкоторыхъ удовольствіяхъ. Жизнь шла живо, ровно, безъ скучи, безъ задержки.

Пансіонеръ совершенно привыкъ къ порядкамъ своего пансіона и удивлялся, какъ могъ онъ жить иначе столько лѣтъ сраду!

Со смертью своей благочестивой матери, Несторъ Игнатьевичъ разлучился съ стройною домашнею жизнью. Жизнь у дяди, въ которой поверхъ всего плавало и все застипало собою эгоистическое самовластіе его тѣтки, оставила въ немъ однѣ тяжелыя воспоминанія. Воспоминанія о семейной жизни съ женой и тѣщею, уничтожавшими своею требовательностію всякую его свободу и обращавшими его въ раба жениной суетности и своекорыстія, были еще отвратительнѣе. Съ тѣхъ поръ Несторъ Игнатьевичъ вѣль студенческую жизнь въ латинскомъ кварталѣ Парижа, то-есть жилъ бездомовникомъ и отличался отъ прочихъ, истинныхъ студентовъ только развѣ тѣмъ, что немножко чаще ихъ просиживалъ вечера дома за книгою и рѣже таскался по ресторанамъ, кафе и баламъ Прадо. Впрочемъ, несмотря на это, Несторъ Игнатьевичъ все-таки совсѣмъ отучился вѣ время встать, вѣ время лечь и вѣ свое время погулять. Обращать свѣтлый день въ скучную ночь, и скучную ночь въ бѣдный радостями день для него не составляло ничего необыкновенного. Онъ зналъ, что ему будетъ скучно на балѣ, потому что всѣ удовольствія этого бала можно было всегда разсказать впередъ—и все-таки онъ щель отъ скучи на балъ и отъ скучи зѣвалъ здѣсь, пока не пустѣла зала. Отъ скучи онъ валялся въ постели до самаго вечера; между тѣмъ позарѣзъ нужно было изготавить срочную корреспонденцію, и потомъ вдругъ садился, читаль листы различныхъ газетъ, брошюры и работалъ напролетъ цѣлую ночи. Огромный расходъ силъ и постоянная тревога, происходящая оттого, что работа врывалась въ сроки отдыха, а отдыху посвящалось время труда, вовсе не обращали на себя вниманія Долинскаго.

— Все равно, какъ ни живъ — все скучно, говаривалъ онъ себѣ, когда нестройность жизни напоминала ему о себѣ утомлѣніемъ, разстройствомъ нервной системы, или неудачею догнать безполезно потерянное время въ работѣ.

Теперь онъ не могъ надивиться, какъ въ былое время у него недоставало досуга написать въ недѣлю двухъ довольно короткихъ корреспонденцій, когда нынѣче онъ свободно вель порученій ему цѣлый отдѣль газеты и на все это не требовалось ни одной безсонной ночи. Несторъ Игнатьевичъ нетолько успѣвалъ кончить все къ шести часамъ вечера, когда къ нему приходилъ разсыльный изъ редакціи, но даже и изъ этого времени у него почти всегда оставалось нѣсколько свободныхъ часовъ, которые онъ могъ употребить по своему произволу. Съ шести часовъ онъ обыкновенно сидѣлъ въ столовой и что нибудь читалъ своимъ хозяйствамъ. Анна Михайловна любила чтеніе, хотя въ послѣднее время за хлопотами и недосугами читала далеко меныше, чѣмъ Дора. Эта перечитала богъ-знаетъ сколько и, обладая неимовѣрною памятью, обо всемъ имѣла собственное, иногда не совсѣмъ вѣрное, но всегда вполнѣ независимое мнѣніе.

Гостей у Анны Михайловны и у Дорушки бывало немного; даже можно сказать, что кромѣ Ильи Макаровича, у нихъ почти никто не бывалъ, но къ Долинскому кое-кто таки-навертывался, особенно изъ газетчиковъ. По семейному образу жизни, который Долинскій вель у Прохоровыхъ, его знакомые незамѣтнымъ образомъ становились и знакомыми его хозяекъ. Газетчики для Дорушки были народъ совершенно новый и она очень охотно съ ними знакомилась, но потомъ еще скорѣе начинала тяготиться этимъ знакомствомъ и старалась отъ нихъ отдѣливаться. Особенно ея антипатіею были два молодые газетчика: Спиридонъ Меркуловичъ Вырвичъ и Иванъ Ивановичъ Шандорчука. Это были люди того нехитраго разбора, который въ настоящее время не представляетъ уже никакого интереса. Нынѣче на нихъ смотрѣть съ тѣмъ же равнодушіемъ, съ какимъ смотрѣть на дорогоящій домъ, около котораго обломаны всѣ постройки и огонь ни чему по сбѣдству сообщиться не можетъ; но было другое, *старое* время, тода три-четыре назадъ, когда и у насъ въ Петербургѣ и даже частію въ просторной Москвѣ на Неглинной безъ этихъ людей, какъ говорятъ, и вода не святилась. Было это доброе, простодушное время, когда въ извѣстныхъ слояхъ петербургскаго общества нельзя было повернуться не сталкиваясь съ Шандорчукомъ

или Вырвичемъ и когда многими нехитрыми людьми умъ и нравственныя достоинства человѣка опредѣлялись тѣмъ, какъ этотъ человѣкъ относится къ Шпандорчукамъ и Вырвичамъ. Такое положеніе заставляетъ насъ нѣсколько оторваться отъ хода событий и представить читателямъ образцы, можетъ быть, весьма скучныхъ размѣровъ, выражавшихъ отношеніе Доры, Анны Михайловны и Долинскаго къ этому рѣдкостному явленію петербургской цивилизациі.

И Шпандорчукъ, и Вырвичъ въ существѣ были люди незлые и даже довольно добродушные, но недалекіе и безтактные. Оба они, прочитавъ извѣстный тургеневскій романъ, начали называть себя нигилистами. Дора тоже прочла этотъ романъ и при первомъ словѣ кстати сказала:

- Нѣтъ, вы совсѣмъ не нигилисты.
- Какъ это, Дарья Михайловна?
- Да такъ, не нигилисты, да и только.
- Какъ же, когда мы сами говоримъ вамъ, что мы въ Бога не вѣруемъ и мы нигилисты.
- Сами вы можете говорить, что вамъ угодно, а все-таки вы не то, что тутъ названо нигилистомъ.
- Такъ что же мы такое по вашему?
- Богъ васъ, господа, знаетъ, что вы такое!
- Вотъ это-то и есть; вотъ такие-то люди, какъ мы, и называются нигилистами.
- Знаете, по моему, какъ называются такие люди, какъ вы? спросила смѣясь Дора.
- Нѣтъ, не знаемъ; скажите, пожалуйста.
- А не будете сердиться?
- Сердиться глупо. Всякая свобода—нашъ первый принципъ.
- Такъ видите ли, такие люди какъ вы, называются *скучные люди*.
- А! а вамъ веселья хочется.
- Да не веселья, но помилуйте, что же это цѣлую жизнь сообщать въ видѣ новостей то, чтѣ каждому человѣку давно очень хорошо извѣстно: «А знаете ли, что мужикъ тоже человѣкъ? А знаете ли, что женщина тоже человѣкъ? А знаете ли, что богачи давятъ бѣдныхъ? А знаете ли, что человѣкъ долженъ быть свободенъ? Знаете ли, что цивилизaciя навыдумывала пропасть вздоровъ?» — Вѣдь это жъ, согласитесь, скучно! Кто жъ этого не знаетъ, и какой же умный человѣкъ со всѣмъ этимъ давно не согласенъ? И главное дѣло, что все-ты вы нась учите, учите... Право, даже страшно подумать, какіе мы, должно быть, всѣ умные скоро подѣляемся! А въ самомъ-то дѣлѣ,

все это — нуль; на все это жизнь дунетъ — и все это разлетѣлось; все выйдетъ совсѣмъ не такъ, какъ написано въ рецептѣ.

— Да вотъ, то-то и есть, Дарья Михайловна, что вы и сами выходите нигилистка.

— Я! боже меня сохрани! отвѣчала Дора, и какъ-бы въ доказательство тотчасъ же перекрестилась.

— Да чтѣ же дурнаго быть нигилисткой?

— Ничего особенно дурнаго, и ничего особенно хорошаго, только на что мнѣ мундпрѣ? я не хочу его. Я хочу быть свободнымъ человѣкомъ, я не люблю зависимости.

— Да это и значитъ быть независимой. Вы сами не знаете, чтѣ говорите.

— Благодарю за любезность, но не вѣрю ей. Я очень хорошо знаю, чтѣ я такое. У меня есть совѣсть и какой случился свой царь въ головѣ, и кромѣ ихъ я ни отъ кого и ни отъ чего не хочу быть зависимой, отвѣчала съ раздувающимися ноздрками Дора.

— Крайнее свободолюбіе!

— Самое крайнее.

— Но можно найти еще крайнѣе.

— Напримеръ?

— Напримеръ, можно даже стать въ независимость отъ здраваго смысла.

— А что жь! Я, пожалуй, лучше соглашусь и на это! Лучше же быть независимою отъ здраваго смысла, и такъ ужь и слить дуракомъ или дурой, чѣмъ зависѣть отъ этихъ господъ, которые всѣхъ учатъ. Моя душа не дудка и я не позволю на ней играть никому, говорила она въ пылу горячихъ споровъ.

— Ну, а чтѣ же будетъ, если вы въ самомъ дѣлѣ наконецъ станете независимы отъ здраваго смысла? отвѣчали ей.

— Что? Свезутъ въ сумасшедший домъ. Все же, говорю вамъ, это гораздо лучше, чѣмъ цѣлый вѣкъ слушать учителей, сбиться съ толку и сдѣлаться пѣшикой, которую, пожалуй, еще другие, чего доброго, слушать станутъ. Я жизни слушаюсь.

— Да вѣдь, странны вы, право! Теорію вѣдь жизнь же выработала, убѣждали Дашу.

— Нѣтъ-съ; ужь это извините, пожалуйста; этому я не вѣрю! Теорія — сочиненіе, а жизнь — жизнь. Жизнь — это то, чтѣ есть, и то, чтѣ всегда будетъ.

— Значитъ, у васъ человѣкъ рабъ жизни?

— Извините, у меня такъ: думай чтобъ хочешь, а дѣлай, чтобъ долженъ.

— А что же вы должны?

— Должна? Должна я прежде всего работать и какъ можно больше работать, а потомъ не мѣшать никому жить свободно, какъ ему хочется, отвѣчала Дора.

— А не должны вы, напримѣръ, еще позаботиться о человѣческомъ счастьѣ?

— То-есть какъ же это о немъ позаботиться? Кому я могу доставить какое-нибудь счастье—я всегда очень рада; а всѣмъ, то-есть цѣлому человѣчеству, ничего не могу сдѣлать: ручки не доросли.

— Эхъ-съ, Дарья Михайловна! — ручки-то у всякаго доросли, да желанья мало.

— Не знаю-съ, не знаю. Для этого нужно очень много знать, вообще надо быть очень умнымъ, чтобы не подѣлать еще худшей безтолочи.

— Такъ вы и рѣшаете быть въ сторонкѣ?

— Мимо чего пойду, то сдѣлаю — позволенія ни у кого просять не стану, а то, говорю вамъ, надо быть очень умной.

— Несторъ Игнатьичъ! да полноте же, батюшка, отмалчиваться! Какая же, наконецъ, ваши на этотъ счетъ мнѣнія? затягивали Долинскаго.

— Это, господа, вѣдь все вещи рѣшенныя: «ищите прежде деяния царствія божія и правды его, а вся сія приложатся вамъ».

— Фу ты, какой онъ! Такъ отъ него и претъ моралью! Чѣмъ это за царствіе, и что это за правда?

— Правда? Внутренняя правда — бытъ, а не казаться.

— А царствіе?

— Да что жъ вы меня разспрашиваете? Сами возрастъ имате: читите и разумѣйте.

— Это о небѣ.

— Нѣтъ, о землѣ.

— Обѣтованной, по которой потечетъ медъ и молоко?

— Да, конечно, обѣтованной, гдѣ нѣсть ни рабъ, ни свободы, но всяческая и во всѣхъ одинъ духъ, одно желаніе любить другого, какъ самого себя.

— Я за васъ, Несторъ Игнатьичъ! воскликнула Дора.

— Да и я, и я! шумѣлъ Журавка.

— И я, говорили хорошие глаза Анны Михайловны.

— Широко это, очень широко, батюшка Несторъ Игнатьичъ! замѣчалъ Вырвичъ.

— Да какъ же вы хотите, чтобы такая міровая идея была узка? чтобы она такъ-сказать въ аптечную коробочку, что ли, укладывалась?

— То-то вотъ отъ ширины-то ея, ей и не удается до сихъ поръ воплотиться-то; а вы поуже, пояснѣе формулируйте.

— Да любви мало-сь. Вы говорите: идея не воплощается до сихъ поръ потому, что она очень широка, а посмотрите, не оттого ли она не воплощается, что любви нѣть, что все и во имя любви-то дѣлается безъ любви вовсе.

Дорушка заплескала ладонями.

Эти споры Даши съ Вырвичемъ и съ Шпандорчукомъ обыкновенно затягивались долго. Даша давно терпѣть не могла этихъ споровъ, но по своей страстной натурѣ все-таки опять увлекалась и опять при первой встречѣ готова была спорить снова. Шпандорчукъ и Вырвичъ тоже не упускали случая сказать ей нарочно что нибудь почуднѣй и снова втянуть Дорушку въ споры. За глаза же они надъ ней посмѣивались и называли ее «философствующей вздержкой».

Дора съ своей стороны тоже была о нихъ не очень выгоднаго мнѣнія.

— Чѣто это за люди? говорила она Долинскому:—все вычитанное, все чужое, взятое напрокатъ, и своего рѣшительно ничего.

— Да чего вы на нихъ сердитесь? Они сколько видѣли, сколько слышали, столько и говорятъ. Все ихъ несчастье въ томъ, что они мало знаютъ жизнь, мало видѣли.

— И еще меньше думали.

— Ну, думать-то они, пожалуй, и думаютъ.

— Такъ какъ же ни до чего путного не додуматься?

— Да вѣдь это... Ахъ, Дарья Михайловна, и вы-то еще мало знаете людей!

— Это и неудивительно; но удивительно, какъ они другихъ учать, а сами какъ дѣти лепечутъ! Я, по крайней-мѣрѣ, нигдѣ невидная и ничего незнающая человѣчица, а вѣдь это... видите... разсуждаютъ совсѣмъ будто какъ большие!

Долинскій и Дора вмѣстѣ засмѣялись.

— Нѣть, а вы вотъ что, Несторъ Игнатьичъ, даромъ, что вы такой тихона, а прехитрый вы человѣкъ. Что вы никогда почти не хотите меня поддержать передъ ними? говорила Дора.

— Да не въ чемъ-сь, когда вы и сами съ ними справляетесь. Я бы вѣдь такъ не соспорилъ, какъ вы.

— Отчего это?

— Да оттого, что за охота съ ними спорить? Вы вѣдь ихъничѣмъ не урезоните.

— Ну-съ?

— Ну-съ, такъ и говорить не стоить. Чѣмъ за радость открывать передъ ними свою душу! Для меня чѣмъ очень дорого, тѣмъ для нихъ ничего; вѣсть вотъ все это занимаетъ серьёзно, а имъ лишь бы слова выпускать; вы убѣждаетесь, или разубѣждаетесь въ чемъ нибудь—а они многое, что если зарядятся какимъ-нибудь впечатлѣніемъ, а то все такъ...

— Это, выходить, значить, что я глупо поступаю, споря съ ними?

Долинскій тихо улыбнулся.

— Ммм, какой любезный! произнесла Дора, бросивъ ему въ лицо хлѣбнымъ шарикомъ.

— Вы думаете, что для нихъ ошибаться въ чёмъ нибудь—очень важная вещь? Жизни не будетъ стоить: скажетъ, ошибся, да и дѣло къ сторонѣ; не изболитъ сердцемъ, и тѣломъ не похудѣеть.

— Ахъ, Несторъ Игнатычъ, Несторъ Игнатьичъ! кому жь однако вѣрить-то остается? А вѣдь нужно же кому-нибудь вѣрить, хочется наконецъ вѣрить! говорила задумчиво Дора.

— Вѣруйте смѣлѣе въ себя, идите бодрѣе въ жизнь; жизнь сама покажетъ, чѣмъ дѣлать: нужно имѣть умъ и правила, а не расписаніе, успокаивалъ ее Долинскій, и у нихъ перемѣнялся тонъ и заходила долгая, живая бесѣда, кончая которую Даша всегда говорила: зачѣмъ эти люди мѣшаютъ намъ говорить?

Долинскій самъ чувствовалъ, что очень досадно, зачѣмъ эти люди мѣшаютъ ему говорить съ Дорой, а эти люди являлись къ нимъ довольно рѣдко и разъ отъ разу посѣщенія ихъ становились еще рѣже.

— Ну, какое сравненіе разговаривать, напримѣръ, съ ними, или съ простодушнымъ Ильею Макаровичемъ? сирашивала Дора.—Это—человѣкъ, онъ живетъ, сочувствуетъ, любить, страдаетъ, однимъ словомъ *несеть жизни*; а тѣ, точно кукушки, по чужимъ гнѣздамъ прыгаютъ; точно ученыe скворцы сверкаютъ: «дай скворушкѣ *кашки!*» И еще этаکія-то кукушки хотятъ, чтобы всѣ ихъ слушали. Нечего сказать, хорошо бы стало на свѣтѣ! Вышло бы что ни одной твари на землѣ неѣтъ глупѣе, какъ люди.

— Это мы вѣдь обязаны за такое знакомство, шутила она

съ Долинскимъ.—Къ намъ прежде такія птицы не залетали. А впрочемъ, ничего—это очень назидательно.

— А не спорить я все-таки не могу, говорила она въ заключеніе.

Вырвичъ и Шпандорчукъ пробовали заводить съ Дорушкой рѣчь о стѣсненности женскихъ правъ, но она съ первого же слова осталась къ этому вопросу совершенно равнодушною. Развиватели дали ей прочесть нѣсколько статей, касавшихся этого предмета; она прочла всѣ эти статьи очень терпѣливо и сказала: «пожалуйста, не носите мнѣ больше этого сора».

— Неужто, говорили ей:—вы не сочувствуете и тому, что люди боятся за васъ же! боятся за ваши же естественные права, которыхъ у васъ отняты?

— Я очень довольна моими правами; я нахожу, что у меня ихъ ровно столько же, сколько у васъ, и отнять ихъ у меня никто не можетъ, отвѣчала Дора.

— А вотъ не можете быть судьей.

— И не хочу; мнѣ довольно судитъ самое себя.

— А другихъ вы судите чужимъ судомъ?

— Нѣтъ, свомъ собственнымъ.

— Спорщица! Когда ты перестанешь спорить? останавливалась сестру Анна Михайловна, обыкновенно непринимавшая личного участія въ заходившихъ при ней длинныхъ спорахъ.

— Не могу, Аня; за живое меня задѣваютъ эти модныя фразы, горячо отвѣчала Дора.

— Но позовольте, вѣдь вы могли бы пожелать быть врачомъ? возражалъ ей Шпандорчукъ.

— Могла бы.

— И вамъ бы не позволили.

— Совершенно напрасно не позволили бы.

— А все-таки вотъ взяли бы, да и не позволили бы.

— Очень жаль, но я бы нашла себѣ другое дѣло. Нетолько свѣта, что въ окнѣ.

— Ну, хорошо-съ, ну, положимъ, вы можете себѣ создать такое другое независимое положеніе; а тѣ, которые не могутъ?

— Да о тѣхъ и говорить нечего! Кто не умѣеть стать самъ, того не поставите. Бѣлинскій прекрасно говоритъ, что тому нѣть спасенія, кто въ слабости своей натуры носить своего врага.

— Ахъ, да оставьте вы, сдѣлайте милость, въ покой вашего Бѣлинского! Помилуйте, чтѣжъ это, приговорѣ, что ли, что свалъ Бѣлинскій?

— Въ этомъ случаѣ, да — приговоръ. Попробуйте-ка отнять независимость у меня, у моей сестры, или у Анны Анисимовны! Не угодно ли?

— Что это за Анна Анисимовна?

— А, это счастливое имя имѣть честь принадлежать совершенно независимой швеѣ изъ нашего магазина.

Дорушка любила ставить свою Анну Анисимовну въ примѣръ, и охотно рассказывала ея несекретную исторію.

— Вотъ видите! говорили ей послѣ этого разсказа развиватели:—а легко за то этой Аннѣ Анисимовнѣ?

— Ну, господа, простите меня великодушно! запальчиво отвѣчала Дора.—Кто смотритъ, легко ли ему, да еще выгодно ли ему отстоять свою свободу, тотъ ея не стоитъ и даже говорить о ней не долженъ.

— Да, женщина, почти каждая—раба; она раба и въ семье, раба въ обществѣ.

— Потому что она большей частью раба по натурѣ.

— То-есть какъ это? Не можетъ жить безъ опеки?

— Не хочетъ-сь, не想要 сама себѣ помочь, продаётъ свою свободу за кареты, за положеніе, за прочія глупыя вещи. Раба! Всякій, кто дорожить чѣмъ нибудь, больше чѣмъ свободой — рабъ. Не все ли равно, женщина раба мужа, мужъ рабъ чиновъ и мѣстъ, вы рабы вашего либерализма: соболи, бобры—всѣ равны!

— Даже досюда идетъ!

— А еще бы! Вѣдь вы не смѣете быть не либераломъ?

— Потому что мы убѣждены...

— Убѣждены! съ улыбкой перебивала Дора.—Не смѣете, просто не смѣете. Не знаете, чѣмъ дѣлать; не знаете, за что запѣтиться, если васъ выключать изъ либераловъ. Отъ жизни даже отрекаетесь.

— Вотъ то-то, Дарья Михайловна, говорили ей:—не знаете вы, сколько труда въ послѣднее время положено за женщину.

— Это правда. Только я, господа, обѣ одномъ жалѣю, что а не писательница. Я бы всѣ силы мои употребила растолковать женщинамъ, что всѣ ваши о насъ попеченія... просто для насъ упизительны.

— Да что жь, Дарья Михайловна, унизительно, вы говорите. Позвольте вамъ замѣтить, что въ настоящемъ случаѣ вы нѣсколько неосторожно увлеклись вашимъ самолюбиемъ. Мы хлопочемъ вовсе и не о васъ—то-есть нетолько не о васъ лично, а и вообще не обѣ однѣхъ женщинахъ.

— А о себѣ—я это такъ и догадывалась.

— Да хотя бы-сь и о себѣ! Пора наконецъ похлопотать и о себѣ, когда на насъ ложится весь трудъ и тяжесть заработка; а женщины живутъ въ тягость и себѣ и другимъ—ничего не дѣлаютъ. Вопросъ женскій—общій вопросъ.

— Да то-то вотъ, пожалуйста, хоть не называйте же вы этого вопроса *женскимъ*.

— А какъ же прикажете его называть въ вашемъ присутствії?

— *Барынъскій, дамскій*—однимъ словомъ, какъ тамъ хотите, *только не женскій*, потому что, если дѣло идетъ о томъ, чтобы русская женщина трудилась, такъ она, русская-то женщина, *monsieur Шпандорчукъ*, всегда трудилась и трудится, и трудится нерѣдко гораздо больше своихъ мужчинъ. А это вы говорите о барышняхъ, о дамахъ—такъ и не называйте же ихняго вопроса *нашимъ женскимъ*.

— Мы говоримъ вообще о развитой женшинѣ, которая въ наше время не можетъ себѣ добыть хлѣба.

— *Развившаяся до того, что не можетъ добыть себѣ хлѣба! ха-ха-ха...*

Дорушка неудержимо расхохоталась.

— Не смѣшите, пожалуйста, людей, господа! Эти ваши, такимъ манеромъ развиваются женщины, не въ наше только время, а *во всякое время* будуть безъ хлѣба.

— Нѣтъ-сь, это немножко не такъ будетъ. А впрочемъ, гдѣ же эти ваши и не дамы, и не барышни, и ужъ разумѣется тоже и не судомойки же, а женщины?

— А-а! это, господа, ужъ ищите, да-сь, ищите, какъ голодный хлѣба ищетъ. Женщина вѣдь стоитъ того, чтобы ее поискать повнимательнѣе.

— Но гдѣ-сь? гдѣ?

— А-а! вотъ то-то и есть. Помните, какъ Кречинскій говоритъ о деньгахъ: «деньги вездѣ есть, во всякомъ домѣ, только надо знать, гдѣ онѣ лежать; надо знать, какъ ихъ взять». Такъ точно и женщины: вездѣ онѣ есть, въ каждомъ общественномъ кружочкѣ есть женщины, *только нужно ихъ уметь найти*, проговорила Дорушка, стукая внушительно ноготкомъ по столу.

— Да и о чёмъ собственно рѣчь-то? вмѣшался Долинскій. — Если обѣ общемъ счастіи, о мужскомъ и о женскомъ, то я во-все не думаю, чтобы женщины стали счастливѣе, если мы ихъ завалимъ работою и заботою; а мужчина, который дѣйствительно

любить женщину, тотъ самъ охотно возьметъ на себя все тяжелѣйшее. Чѣмъ тамъ ни вводите, а полюбя женщину, я все-таки стану заботиться, чтобы ей было легче, такъ-сказать, чтобы ей было лучше жить, а не буду производить надъ ней опыты, сколько она выстанетъ. Минѣ же пріятно видѣть ее счастливою и знать, что это я для нея устроилъ!

— Да съ, это прекрасно, только съ одной стороны — со стороны поэзіи; а вы забываете, что есть и другія точки, съ которыхъ можно смотрѣть на этотъ вопросъ: напримѣръ, съ точки хлѣба и брюха.

Долинскій нѣсколько смущился словомъ «брюхо», и отвѣчалъ:

— То-есть вы хотите сказать: со стороны денегъ; ну, что же-съ! Если женщина даетъ вамъ счастье, создаетъ ваше благополучіе, то неужто она не участвуетъ такимъ образомъ въ вашемъ трудѣ и не имѣеть права на вашъ заработокъ? Она вашъ половинщикъ во всемъ—въ горѣ и радостяхъ. Какъ вы раздѣлите на рубли вліяніе, которое хорошая женщина можетъ имѣть на васъ, освѣжая вашъ духъ, поддерживая въ васъ бодрость, успокаивая васъ лаской, однимъ словомъ—утѣшая васъ своимъ присутствіемъ и поднимая васъ, и на работу, и на мысль, и на все хорошее? Можетъ быть, ие половина, а восемь десятыхъ, даже все почти, что вы заработаете, будетъ принадлежать ей, а не вамъ, несмотря на то, что это будетъ заработано вашими руками.

— Все же, я думаю, согласитесь вы, что нужно развить въ женщины вкусъ, то-есть я хотѣлъ сказать, развить въ ней любовь и къ труду и къ свободѣ, чтобы она умѣла цѣнить свою свободу и ни на что ее не промѣнивала.

— Да противъ этого никто ничего не говорить. Давай имъ Богъ и этой любви къ свободѣ, и умѣнья честно достигать ее—одно другому ничуть не мѣшаетъ.

— Кто цѣнить свою свободу, тотъ ни на что ее и такъ не промѣняетъ, тотъ и самъ отстоитъ ее и совѣтъ не по вашимъ рецептамъ, равнодушно сказала Дора.

— А вы забываете наши милые законы, заговорилъ, перемѣня тонъ, Шпандорчукъ.

— Очень они мнѣ нужны ваши законы! Я сама себѣ законъ. Не убиваю, не краду, не буюсь — какое до меня дѣло закону?

— Ну, а если вы полюбите и законъ станетъ вамъ поперегъ дороги?

— Что за вздоръ такой вы сказала! Гдѣ же есть для любви законы? Люблю—вотъ и все.

— И какъ же будете поступать?

— Какъ укажетъ мое чувство.—Нѣтъ, всѣ вы, господа—рабы, заканчивала Дора.

Съ нею обыкновенно никто изъ спорящихъ не соглашался и даже нерѣдко ставили Дорушку въ затруднительное положеніе заученнымъ софизмамъ, но всего чаще она на голову побивала своею живою и простую рѣчью всѣхъ своихъ ученьихъ противниковъ, и Несторъ Игнатьевичъ ликовалъ за нее, молча похаживая по оглашевной споромъ комнатѣ.

— Бѣдовая эта ученая швейка! говорили о ней ея новые знакомые.

— Да, разсуждаетъ!

— Придетъ, братъ, видно, точно шекспировское время, что мужикъ станетъ наступать на ногу дворянину и не будетъ извиняться. Я, разумѣется, понимаю *дворянина мысли*.

— Ну, еще бы!

— Надъ ней, однако, очень бы стоило поработать прилежно, заключилъ Вырвичъ.

— Очень жаль, что вы безъ системы все читаете, поучительно заявляя опъ ей одинъ разъ.

— Напротивъ, спросите Нестора Игнатьича; я его, я думаю, замучила, заставляя переводить себѣ.

— Несторъ Игнатьичъ—извѣстный старовѣръ.

— А какая же новая-то есть вѣра? спросилъ сквозь зубы Долинскій.

— Вѣра въ лучшихъ людей и въ лучшее будущее.

— Это самая старая вѣра и есть, также нехотя и равнодушно отвѣчалъ Долинскій.

— Да-съ, да это не о томъ, а о томъ, что Дарья Михайловна съ вами, я думаю, въ чемъ вѣдь упражняется? Все того же Шекспира небось заставляетъ себѣ переводить?

— Русскихъ журналовъ я болѣе не читаю, отвѣчала за Долинскаго Дора.

— Это за что такая немилость?

— Нечего читать. Своихъ прежнихъ писателей я всѣхъ знаю, а новыхъ... да и новыхъ, впрочемъ, знаю.

— Даже не читавши!

— А это васъ удивляетъ? тутъ ничего нѣть такого удиви-

тельного. Дѣло очеиъ извѣстное: всѣ вѣдь почти они на одинъ фасонъ! одинъ говоритъ: пусть женщина отдается по первому влечению, другой говоритъ — пусть никому не отдается; одинъ учитъ, какъ наживать деньги, другой — говоритъ, что деньги наживать нечестно, что надо жить совсѣмъ иначе, а самъ живеть еще иначе. Все одна докучная басня: «жили были кутиль да журавль; накосили они себѣ стожекъ сѣнца, поставили посередь польца, не сказать ли вамъ опять съ конца?» зарядила сорока «Якова», и съ тѣмъ до всякаго.

— А у вашего Шекспира?

— А у моего Шекспира? А у моего Шекспира — вотъ что: я вотъ сегодня устала, забила свою голову всякой дрязгой домашней, а прочла Ричарда — и это меня освѣжило; а прочитай я какую-нибудь вашу статью, или нравоученіе въ лицахъ — я бы только разозлилась, или еще больше устала.

— Въ Ричардѣ-Третьемъ — жизнь!... О, разумъ! — къ тебѣ взываю. Чѣдѣ это такое, эта Арина? Уродъ невозможный. Живая на небо летить за мертвымъ мужемъ, и тутъ же на шею вѣшается его убийцѣ. Помилуйте, развѣ это возможно?

— Иль палецъ выломить любя, какъ леди Перси, вставилъ съ своей стороны Шпандорчука.

— Да... и палецъ выломить, спокойно отвѣчала Дора.

— Такъ ужь послѣдовательно идя, почему жъ не свернуть любя и голову?

— Да... свернуть и голову.

— Любя!

Дорушка помолчала, и посмотрѣвъ на обоихъ оппонентовъ, медленно проговорила, качая своею головкою:

— Эхъ, господа, господа! Какія у васъ должны быть кроинчныя-кроинчныя страстишки-то! — Она приложила палецъ къ концу ногтя своего мизинца и добавила: — вотъ этакія, должно быть, чупучныя, малюсенькия, меньше воробыниаго носка.

— Прекрасно-съ! ну, пусть тамъ страсти, такъ и страсти; но зачѣмъ же въ небо-то было лѣзть?

— Да что вы такъ этого неба боитесь? Не беспокойтесь, пожалуйста, никто живемъ ни въ небо не вскочить, ни въ землю совсѣмъ не закопается.

Журавка обыкновенно фыркаль, пыхаль, подпрыгиваль и вообще ликоваль при этихъ спорахъ. Вырвичъ и Шпандорчука одинъ или два раза круто поспорили съ нимъ о значеніи худо-

жества и вообще говорили объ искусствѣ неуважительно. Илья Макаровичъ былъ плохой діалектикъ; онъ не могъ соспорить съ ними, и за то питалъ къ нимъ всегдашнюю злобу.

Чуть, бывало, онъ завидѣть ихъ еще изъ окна, какъ сейчасъ же завертится, забѣгаешьъ, потираетъ свои руки и кричитъ: «волхвы идутъ! волхвы, гадатели! сейчасъ будуть намъ будущее предсказывать».

Съ появленіемъ Вырвича и Шпандорчука, Журавка стихаль, усаживался въ уголокъ и только тихонько пофыркивалъ. Но за то пересидѣвъ ихъ и дождавшись когда они уйдутъ, онъ тотчасъ же вскакивалъ и шумѣлъ безпощадно.

— Кошлачкі! кошлачкі! говорилъ онъ о нихъ:—отличные кошлачкі!—Славные такие, все какъ на подборъ шершавинськіе, все сѣренкіе, сухенькіе, такие, что хоть выжми ихъ, такъ ничего живаго не выйдетъ... То-есть, добавлялъ онъ, кипятясь и волнуясь:—то-есть вотъ, что называется, ни вкуса-то, ни радости, опричь самой гадости... Торчатъ на свѣтѣ, какъ вывѣтрѣлые шишки еловыя... Тыфу, вы сморчки ненавистные!

Долинскій всей душой сочувствовалъ Дорѣ, но вслѣдствіе ея молодости и дѣтскаго ея положенія при нѣжной, страстно ее любящей сестрѣ, онъ привыкъ смотрѣть на нее только какъ на богато-одаренное дитя, у котораго все еще... не устоялось и бродитъ. Онъ очень любилъ Дору и съ удовольствіемъ исполнялъ каждое ея желаніе, но ко многимъ ея требованіямъ относился какъ къ капризамъ ребёнка и даже исполнялъ ихъ съ снисходительной улыбкой. Дорушка, при всемъ своемъ умѣ и прочихъ хорошихъ качествахъ, дѣйствительно иногда позволяла себѣ немножко покапризить, и материнское снисхожденіе Анны Михайловны къ этимъ капризамъ упрочивало за ея сестрою положеніе дитяти. Въ поведеніи Дорушки таки-случались своего рода грѣшки и странности, и Анна Михайловна не безъ основанія говаривала, что Дора про себя самое поетъ романсъ:

«То безъ рѣчей, то говорлива,  
«То холодна, то жгетъ въ ней кровь».

Отношенія Долинскаго къ Аннѣ Михайловнѣ были совершенно иныя. Это было что-то въ родѣ благоговѣйнаго почтенія. Долинскій даже перемѣнялся въ лицѣ, когда Анна Михайловна относилась къ нему съ вопросомъ. Онъ смотрѣлъ на нее, какъ на что-то непривычное, высшее обыкновенной женщины; разговаривалъ съ нею онъ, не свода своего взора съ ея прекрасныхъ

глазъ; держался передъ нею, какъ передъ идоломъ: ни слова не-обдуманнаго, ни шутки веселой—словомъ, ничего такого, что онъ даже позволялъ себѣ въ присутствіи одной Доры—онъ не могъ сдѣлать при Аннѣ Михайловнѣ. Если Анна Михайловна, которая любила походить въ сумерки по комнатѣ, заводила съ Долинскимъ рѣчъ о дѣлахъ, онъ весь обращался въ слухъ, во вниманіе и Анна Михайловна скоро стала чувствовать безотчетное влечение о всѣхъ своихъ нуждахъ и заботахъ поговорить съ Несторомъ Игнатьевичемъ. Въ его бесѣдѣ не было ни энергической порывчивости Доры, ни верхолетной суетливости Ильи Макаровича, и слова Долинского ближе ложились къ сердцу тихой Анны Михайловны, чѣмъ слова сестры и художника. Въ чувствѣ Долинского къ Аннѣ Михайловнѣ преобладало именно благоговѣйное поклоненіе высокимъ и скромнымъ достоинствамъ этой женщины, а вмѣстѣ и глубокая, нѣжная любовь, чуждая всякого знакомства съ страстью. Анна Михайловна очень уважала въ Долинскомъ хорошаго человѣка, жалѣла о его разбитой жизни и... ей нравилось то робкое благоговѣніе къ ней, которое она внушала этому человѣку безъ всякаго умысла, но котораго однако не могла не замѣтить и которымъ не отказывала себѣ иногда скромно любоваться ея женское самолюбіе.

Такъ прошелъ цѣлый годъ. Всѣ были счастливы, всѣмъ жилось хорошо, всѣ были довольны другъ другомъ. Илья Макаровичъ, забѣгая разъ-два въ недѣлю хватить водочонки, говорилъ Долинскому: «Спасибо тебѣ, Несторка—отлично, братецъ, ты себя ведешь, отлично!» Илья Макаровичу п даже ироницательной Дорѣ и въ умѣ не приходило пощупать Анну Михайловну или Долинского съ ихъ сердечной стороны. А тѣмъ временемъ ихъ тихія чувства крѣпли и крѣпли.

Задумалъ Долинскій, по дорушкиному же подстрекательству, написать небольшую повѣсть. Писалъ онъ неспѣшно, довольно долго, и по мѣрѣ того, что успѣвалъ написать между своею срочной работой, читалъ по кусочкамъ Аннѣ Михайловнѣ и Дорушкѣ.

Сначала Дора, внимательно слѣдившая за медленно подвигавшейся повѣстью, не замѣчала въ ней ничего, кроме ея красоты или недостатковъ въ выполненіи; но вдругъ вниманіе ея стало останавливаться на сильномъ сходствѣ характера самого симпатичнаго женскаго лица повѣсти съ дѣйствительнымъ характеромъ Анны Михайловны. Еще немножко позже она замѣтила, что ея

всегда ровная и спокойная сестра слѣдить за ходомъ повѣсти съ страшнымъ вниманіемъ; увлекается, дѣлая замѣчанія; горячо споритъ съ Дорою и просто дрожитъ отъ радости при каждой удачной сценкѣ. Дописалъ Долинскій повѣсть до конца и сталъ выправлять ее и окончательно приготавлять къ печати. Черезъ недѣлю онъ прочелъ ее всю разомъ въ совершенно отдѣланномъ видѣ.

— Да это у васъ живая Аня списана! вскрикнула по окончаніи чтенія Дора.

Анна Михайловна и Долинскій смущились.

Дора посмотрѣла на нихъ обоихъ и не заводила обѣ этомъ болѣе рѣчи; но дни два была какъ-то задумчивѣе обыкновенна-го, а потомъ опять вошла въ свою колею и шутила.

— Вотъ ногоди, скоро его какой-нибудь пріятель отваляется за эту повѣсть, говорила она Аннѣ Михайловнѣ, когда та въ десятый разъ просматривала напечатанную въ журналѣ повѣсть Долинскаго.

— За что же? вся всыхнувъ и потерявшись, спросила Анна Михайловна.

— Будто ругаютъ за что нибудь. Такъ, просто, потому что это ничего не стоптъ.

Дорушка замѣтила, что сестра ея поражена мыслию о томъ, что Нестора Игнатьевича могутъ разбранить, обидѣть и вообще не пожалѣть его, когда онъ самъ такой добрый, когда онъ самъ такъ искренно всѣхъ жалѣеть.

— Гм! такъ, видно, этому дѣлу и быть, произнесла Дора, долго посмотрѣвъ на Анну Михайловну и тихонъко выходя изъ комнаты.

— Чѣтъ ты, Дорушка, сказала? спросила ее вслѣдъ сестра.

— Что такъ этому дѣлу и быть.

— Какому, душка, дѣлу?

— Да никакому, мой другъ! Я такъ себѣ богъ-знаетъ чѣмъ болтнула, отвѣчала Дорушка и, возвратясь, поцаловала сестру въ лобъ и ласково разгладила ея волосы.

## IX.

### Мальчикъ Бовка.

Прошло очень немногого времени, какъ Дорѣ представился новый случай наблюдать сестру по отношенію къ Долинскому.

Однъ разъ, въ самый ясный погожій осенний день, позднимъ утромъ, такъ часовъ около двѣнадцати, къ Аннѣ Михайловнѣ забѣжалъ Журавка, а черезъ нѣсколько минутъ, какъ по сигналу, явились Шпандорчукъ и Вырвичъ, и у Доры сѣли, за кофе, къ которому они сошлись-было въ столовую, закинѣлъ какой-то ожесточенный споръ. Чтобы положить конецъ этому преню, и не потерять рѣдкаго въ эту пору хорошаго дня, Долинскій, допивъ свою чашку, тихонько вышелъ и возвратился въ столовую въ пальто и въ шляпѣ: на одной рукѣ его была перекинута драповая тальма Доры, а въ другой онъ бережно держалъ ея сѣренѣкую кастроровую шляпу съ черными марабу. Замѣтивъ Долинскаго, Дора улыбнулась и сказала:

— Pardon, господа! мой вѣрный пажъ готовъ.

— Да-съ, готовъ, отвѣчалъ Долинскій:—и полагаетъ, что его благородной госпожѣ будетъ гораздо полезнѣе теперь пройдтись по свѣжему воздуху, чѣмъ спорить и кипятиться.

— Кажется, вы правы, произнесла Дора, оборачиваясь къ нему спиной, для того, чтобы тотъ могъ надѣть ей тальму, которую держали на своей рукѣ.

Долинскій раскрылъ тальму и уже поднесъ ее къ доринымъ плечамъ, но вдругъ остановился, и поднявъ вверхъ одинъ палецъ, тихо произнесъ: тсс!

Всѣ посмотрѣли на него съ пѣкоторымъ удивленіемъ, но никто не сказалъ ни слова, а между тѣмъ Долинскій вырынулъ въ сторону тальмы, торопливо подошелъ къ двери, которая вела въ рабочую комнату, и притворивъ ее безъ всякаго шума, схватилъ Дорушку за руку, и весь дрожа всѣмъ тѣломъ сказалъ ей:

— Вызовите Анну Анисимовну въ мои комнаты! Да сейчасъ! сейчасъ вызовите!

— Чѣмъ такое!? спросила удивленная Дора.

— Зовите ее оттуда! отвѣчалъ Долинскій, крѣпко подернувъ Дорину руку.

— Да чѣмъ? чѣмъ?

Вмѣсто отвѣта Долинскій взялъ ее за плечи и показалъ рукою на фронтонъ высокаго надворного флигеля.

— Ахъ! произнесла чуть слышно Дорушка, и побѣжала къ комнатамъ Долинскаго. — Душенка! Анна Анисимовна! говорила она, плача: — подите ко мнѣ, мой дружочекъ, съ иголочкой въ Несторъ Игнатьевичеву комнату.

По коридорчику вслѣдъ за Дашей прошумѣло ситцевое платье Анны Анисимовны.

Междѣ тѣмъ всѣ столпились у окна, а Долинскій, шепнувъ имъ: «видите, Бобка на карнизѣ!» выбѣжалъ, и снова возвратясь чрезъ секунду, проговорилъ, задыхаясь: «Бога-ради, чтобъ не было шума! Анна Михайловна! Пожалуйста, чтобъ ничто не привлекало его вниманія!»

Сказавъ это, Долинскій исчезъ за дверью, и въ это мгновеніе какъ-то никому не пришло въ голову ни остановить его, ни спросить о томъ, что онъ хочетъ дѣлать, ни подумать даже, чтѣ онъ можетъ сдѣлать въ этомъ случаѣ.

Общее вниманіе было занято карнизомъ. По узкому деревянному карнизу, крытому зеленымъ листовымъ желѣзомъ, и отдаляющему фронтонъ флигеля и бѣльевую сушильню отъ верха третьего жилого этажа, преспокойнымъ образомъ, весело и граціозно ползъ самый маленький, трехлѣтній сынъ Анны Анисимовны, всеобщій фаворитъ Борисушка, или Бобка. Онъ ползъ на четверенькахъ по направленію отъ слухового окна, изъ кото-раго онъ выбрался, къ острому углу, подъ которымъ крыша соединяется съ фронтомъ. Передъ нимъ, въ нѣсколькихъ шагахъ разстоянія, подпрыгивалъ и взмахивалъ связанными крыльышками небольшой сизый голубокъ, котораго ребёнокъ все старался схватить своею пухленькою ручкою. Голубокъ не дѣлалъ никакой попытки разомъ отдѣлаться отъ своего преслѣдователя; чутъ ребёнокъ, подвинувшись на колѣночкахъ, распускалъ надъ нимъ свою ручку, голубокъ встрепенался, взмахивалъ крыльишками, показывая свои бѣленькія подмышки, припрыгивалъ два раза, по-томъ дѣлалъ своимъ красненькими ножками два вершковыхъ шага, и опять давалъ Бобкѣ подползать и изловчаться. Голубокъ отодвигался, и Бобка сейчасъ же заносилъ ножонку впередъ и осторожно двигался на четверенькахъ. Тонкие желѣзные листы, которыми былъ покрытъ полусгнившій карнизъ, гнулись и подъ маленькимъ тѣломъ Бобки, и гнувшись шумѣли; а изъ-подъ нихъ на землю потихоньку сыпалась гнилая пыль гнилого карниза. Бобкѣ оставалось два шага до соединенія карниза съ крышею, гдѣ онъ непремѣнно бы поймалъ своего голубя, и откуда бы еще непремѣнно полетѣлъ съ нимъ вмѣстѣ съ десятисаженной вы-соты на дворовую мостовую. Гибель Бобки была неизбѣжна, по-тому что голубь бы непремѣнно удалился отъ него тѣмъ же алю-ромъ до самаго угла соединенія карниза съ крышей, гдѣ маль-

чикъ ни за что не могъ ни разогнуться, ни поворотиться; надѣяться на то, чтобы ребёнокъ догадался двигаться задомъ, было довольно трудно, да и всякий, кому въ дѣтствѣ случалось путешествовать по тағъ-называемъ «кошачьимъ дорогамъ», тотъ, конечно, пойметъ, что такой фортель былъ для Бобки совершенно невозможенъ. Еще двѣ-три минуты, или какой-нибудь шумъ на дворѣ, который бы заставилъ его оглянуться внизъ, или откуданибудь сердебольный совѣтъ, или крикъ ужаса и состраданія—и Бобка бы непремѣнно оборвался и легъ бы съ размозженнымъ черепомъ на гладкихъ голышахъ почти передъ самымъ окномъ, у которого работала его бѣдная мать.

Но, на бобкино счастье, во дворѣ никто не замѣтилъ его воздушного путешествія. И Журавка, выбѣжавшій вслѣдъ за Долинскимъ, совершенно напрасно, тревожно стоя подъ карнизомъ, грозилъ пальцемъ на всѣ внутреннія окна дома. Даже Анны Михайловны кухарка, рубившая котлетку прямо противъ окна, изъ которого видно было каждое движение Бобки, преспокойно работала сѣчкой и распѣвала:

Полюбила я любовничка,  
Канцелярскаго чиновничка;  
По головѣ его гладила,  
Волоса ему помадила.

Долинскій, выйдя изъ комнаты, духомъ перескочилъ дворикъ и въ одно мгновеніе очутился на чердакѣ за деревяннымъ фронтомъ.

— Бобка! позвалъ онъ потихоньку сквозь доски, стараясь говорить какъ можно спокойнѣе, и какъ разъ у мальчиковой головы.

— А! отозвался на знакомый голосъ юный Блонденъ.

— Гляди-ко сюда! продолжалъ Долинскій, имѣя въ виду привлечь глаза мальчика къ стѣнѣ, чтобы онъ далѣе не трогался и не глянулъ какъ-нибудь внизъ...

— Говѣбъ повзаетъ, говорилъ весь сіяя Бобка.

— Вижу; а ты гляди-ко, Бобка, какъ я его шельму сейчасъ изловлю!

— Ну, ну, лови! отвѣчалъ мальчикъ, и самъ возился въ одно мѣсто на нижней доскѣ фронтона.

— Ты только смотри, Бобка, не трогайся, а я уже его сейчасъ.

Мальчикъ отъ радости оскалилъ бѣленъкіе зубенки, и закусилъ большой палецъ своей лѣвой руки.

Въ это же мгновеніе, въ слуховомъ окнѣ показалась прелестная голова Долинскаго. Красивое, дышащее добротою и кротостью

лицо его было оживлено свѣжею краскою спокойной рѣшимости; волнистые волосы его разсыпались отъ вѣтра и легкими, тонкими прядями прилипали къ лицу, покрывающемуся отъ страха крупными каплями пота. Черезъ мгновеніе вся егостройная фигура обрисовалась на сѣромъ фонѣ выцвѣтшаго фронтона, и прежде чѣмъ желѣзные листы загромыхали подъ его ногами, лѣвая рука Долинскаго ловко и крѣпко схватила ручонку Бобки. Правою рукою онъ сильно держался за край слухового окна, и въ одну секунду бросилъ въ него мальчика, и вслѣдъ за нимъ прыгнуль туда самъ.

Все это произошло такъ скоро, что когда Долинскій съ Бобкою на рукахъ проходилъ черезъ кухню, кухарка еще не кончила пѣсеню про любовничка, канцелярскаго чиновничка, и рассказывала, какъ она

Нашопла его матюю,  
Обложила кругомъ ватою.

— Ахъ, скверный ты мальчишъ! нервно вскрикнула Анна Михайловна при виде Бобка.

— На силу поймалъ, говорилъ весело Долинскій.

— Боже-мой, какой страхъ былъ!

Изъ коридора выбѣжала блѣдная Анна Анисимовна: она-было сердито взяла Бобку за чубокъ, но тотчасъ же разжала руку, схватила мальчика на руки и страстно впилась губами въ его розовыя щеки.

— Миндаль вамъ за спасеніе погибавшаго, проговорилъ шутливо Вирвичъ, подавая Долинскому выколупнутую съ булки поджаренную миндалину.

Анна Михайловна вспыхнула.

— Страшно! у васъ голова могла закружиться, говорила она, обращаясь къ Долинскому.

— Нѣть, это вѣдь одна минута; не надо только смотрѣть внизъ, отвѣчалъ Долинскій, спокойно кладя на столъ поданную ему миндalinку, и съ этими словами ушелъ въ свою комнату, а оттуда вмѣстѣ съ Дащею прошелъ черезъ магазинъ на улицу.

Часа черезъ полтора, когда они возвратились домой, Дора стала сестру въ ея комнатѣ, сильно встревоженною.

— Чѣдѣ это такое съ тобою? спросила она Анну Михайловну.

— Ахъ, Дорушка, не можешь себѣ вообразить, какъ меня разбѣсили!

— Ну?

— Да вотъ эти господа ненавистные. Только что вы ушли, какъ начали они разсуждать, слѣдовало или не слѣдовало Долинскому снимать этого мальчика, и просто вывели меня изъ терпимости.

— Рѣшили, что не слѣдовало?

— Да! Рѣшили, что дворника надо было послать; потомъ стали увѣрять меня, что здѣсь никакого страха нѣть, и никакого риска нѣть; потомъ ужь опять, какъ-то опять стало выходить, что рискъ былъ, и что потому-то именно не слѣдовало рисковать собой.

— Да вѣдь они ничѣмъ и не рисковали, у окошка стоя. Жаль, что я ушла, не послушала рѣчей умныхъ.

— Ужь именно! И чтѣ только такое тутъ говорилось!... и о развитіи, и о томъ, что отъ погибели одного мальчика человѣчеству не стало бы ни хуже, ни лучше; что истинное развитіе обязываетъ человѣка беречь себя для жертвы болѣе важныхъ, чѣмъ одна какая-нибудь жизнь, и все такое, что просто... разстроили меня.

— Что ты даже взялась за гофманскія капли?

— Ну, да.

— Успокойся, моя Софья Павловна, твой Молчалинъ живъ; ни лбомъ не треснулся о землю, ни затылкомъ, проговорила Дора, развязывая передъ зеркаломъ ленты своей шляпы.

— И ты тоже! нетерпѣливо сказала Анна Михайловна.

— Господи, да чтѣ такое за «нетронь-меня» этотъ Долинскій!

— Не Молчалинъ онъ, а я не Софья Павловна.

— Пожалуйста прости, если неловко пошутила. Я не знала, что съ тобой на его счетъ ужь и пошутить нельзя, сухо проговорила, выходя изъ комнаты, Дора.

Черезъ минуту Анна Михайловна вошла къ Дорушкѣ, и молча поцаловала ея руку; Дора взяла обѣ руки сестры и обѣ ихъ поцаловала также молча.

Въ очень короткое время Анна Михайловна удивила Дору еще болѣе поступкомъ, который прямо несвойственъ былъ ея характеру. Анна Михайловна и Дора какъ-то случайно знали, что Шандорчукъ и Вырвичъ частенько занимствовались у Долинского небольшими деньжонками, и что должки эти частію кое-какъ отдавались поюдамъ съ грѣхомъ, а частію не отдавались вовсе и возрастили до цифръ, хотя и небольшихъ, но все-таки для рабочаго человѣка кое-что значущихъ. Было известно также и то, что Долинскій иногда самъ очень сбиваются съ копейки, и что въ одну изъ такихъ минутъ, онъ самымъ мягкимъ и дели-

катнымъ образомъ попросилъ ихъ, не могутъ ли они ему отдать чѣ нибудь? но отвѣта на это письмо не было, и Долинскій пересталъ даже напоминать пріятелямъ о долгѣ. Эта деликатность злила необыкновенно самолюбиваго Шпандорчука; ему непремѣнно хотѣлось отомстить за нее Долинскому, хотѣлось хоть какой-нибудь гадостью расквитаться съ нимъ въ долгѣ, и поссорившись уничтожить всякую мысль о какой бы то ни было расплатѣ. Но поссориться съ Несторомъ Игнатьевичемъ бывало гораздо труднѣе, чѣмъ помириться съ глупой женщиной. Шпандорчукъ пробовалъ ему и кивать головою, и подавать ему два пальца, и полунасмѣшило отвѣтить на его вопросы, но Долинскій хорошо зналъ, сколько все это стоятъ, и не удостоивъ этихъ продѣлокъ никакого вниманія. Шпандорчуку даже видъ Долинскаго сталъ ненавистенъ.

— Какое это у васъ лицо, гляжу я? говорилъ одинъ разъ, прощаюсь съ нимъ, Вырвичъ.

— Какое лицо? спросилъ, не понимая вопроса, Долинскій.

— Да я не знаю, чѣмъ такое, а Шпандорчукъ что-тоувѣряетъ, что у Долинскаго, говорить, совсѣмъ неблагопристойное лицо какое-то дѣлается.

Вырвичъ откровенно захохоталъ.

— А это вѣрно господинъ Шпандорчукъ не чувствуетъ ли себя передъ Несторомъ Игнатьевичемъ въ чѣмъ нибудь... неисправнымъ? тихо вмѣшалась Анна Михайловна. — Всѣ пустые люди, продолжала она:—у которыхъ очень много самолюбія и есть какіе-то слѣды совѣсти, а нѣтъ ни искренности, ни желанія поправиться, всегда кончаютъ этимъ, что ихъ раздражаютъ лица, напоминающія имъ объ ихъ собственной гадости. Все это Анна Михайловна проговорила съ такимъ холоднымъ спокойствіемъ и съ такимъ достоинствомъ, что Вырвичъ не нашелся сказать въ отвѣтъ ни слова, и красненькій-раскрасненькій молча вышелъ за двери.

— Вотъ, братъ, отдѣла тебѣ! началъ онъ, являемъ домой, и рассказалъ всю эту исторію Шпандорчуку.

— Кто васъ проситъ сообщать мнѣ такія мерзости! взвизгнулъ Шпандорчукъ, неистово вскакивая съ постели.—Я ей, негодайкѣ, просто... уши оболтаю на Невскомъ! зарѣшилъ онъ, перекрутывъ и бросивъ на полъ коробочку изъ-подъ зажигательныхъ спичекъ.

Съ этихъ поръ ни Вырвичъ, ни Шпандорчукъ не показывались въ домѣ Анны Михайловны, и послѣдній, встрѣчаясь съ нею,

всегда поднималъ носъ какъ можно выше, по недостатку смѣлости задорно смотрѣль въ сторону.

## X.

### Интересное домино.

Была зима. Святки наступили. Долинскому кто-то подарилъ семейный билетъ на маскарады дворянского собрания. Дорушка во что бы то ни стало хотѣла быть въ этомъ маскарадѣ, а Анна Михайловна наоборотъ—смерть этого не хотѣлось, и она всячески старалась отговорить Дашу. Для Долинского было все ровно: Ѳхать ли въ маскарадѣ, или просидѣть дома.

— Охота тебѣ, право, Дора! отговаривалась Анна Михайловна.—Въ благородномъ собраниѣ бываетъ гораздо веселѣе—да не Ѳздишь, а тутъ чтѣ? Кого мы знаемъ?

— Я? я знаю цѣлый десятокъ франтихъ и всѣ ихъ грязные ромаѣы, и нынче всѣ ихъ перепутаю. Ты знаешь эту барыню, которая какъ взойдетъ въ магазинъ—сейчасъ вотъ такъ начинаетъ водить носомъ по потолку? Сегодня она потерпить самое страшное пораженіе.

— Полно вздоры затѣвать, Дора!

— Нѣтъ, пожалуйста, поѣдемъ.

И поѣхали.

О томъ, какъ залъ сіялъ, гремѣли хоры и волновалась маскарадная толпа, не стоить разсказывать: всему этому есть ужъ очень давно до подробности вѣрно составленная описанія.

Дорушка какъ только вошла въ первую залу, тотчасъ же впилась въ какого-то конногвардейца, и исчезла съ нимъ въ густой толпѣ. Анна Михайловна прошлась раза два съ Долинскимъ по заламъ и стала искать укромнаго уголка, гдѣ бы можно было усѣсться поспокойнѣе.

— Душно мнѣ—уже устала; терпѣть я не могу этихъ маскарадовъ, жаловалась она Долинскому, который отыскалъ два свободныхъ кресла въ одномъ пѣзъ менѣе освѣщеныхъ угловъ.

— Я тоже небольшой ихъ почитатель, отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Духота, давка и всякаго вздора наслушаешься — только и хорошаго.

— Ну, вѣдь для этого же вздора, Анна Михайловна, собственно и Ѳздятъ.

— Не понимаю этого удовольствія. Я, знаете, просто.. боюсь маскою.

— Боятесь!

— Да, дерзкая онъ... имъ все ии по чёмъ... Не люблю.

— За то можно многое сказать, чего не скажешь безъ маски.

— Тоже не люблю и говорить съ незнакомыми.

— Да и съ знакомыми такъ какъ-то совсѣмъ иначе говорится.

— Да это въ самомъ дѣлѣ. Отчего бы это?

Разсуждая, почему и отчего подъ маскою говорится совсѣмъ не такъ, какъ безъ маски, они сами незамѣтно заговорили иначе, чѣмъ говоривали виѣ маскарада.

Прошель часъ-другой, голубое домино Доры мелькало въ толпѣ; изрѣдка оно, проносясь мимо сестры и Долинскаго, ласково кивало имъ головою, и опять исчезало въ густой толпѣ, гдѣ ее неотступно преслѣдовали разные фешенебельные господа и грандиозныя черныя домино. Дора была въ ударѣ и бросала на всѣ стороны самыя Ѣдкія шпильки, постоянно увеличивавшия гонявшіяся за нею хвосты. Анна Михайловна тоже развеселилась и не замѣчала времени. Несмотря на то, что онъ видѣлись съ Долинскимъ каждый день, и, кажется, могли бы затрудняться въ выборѣ тѣмы для разговора, особенно занимательнаго, у нихъ шла самая оживленная бесѣда. По поводу нѣкоторыхъ припомненныхъ ими здѣсь известныхъ маскарадныхъ интригъ, они незамѣтно перешли къ разговору объ питригѣ вообще. Анна Михайловна возмущалась противъ всякой любовной питриги и относилась къ ней презрительно, Долинскій еще презрительнѣе.

— Ужь если случится такое несчастіе, то лучше нести его прямо, разсуждала Анна Михайловна. Долинскій былъ съ нею соглашенъ во всѣхъ положеніяхъ и на эту тѣму.—Или бороться, говорила Анна Михайловна; Долинскій и здѣсь былъ снова соглашенъ и не ставилъ борьбу съ долгомъ, съ правычнымъ уваженіемъ къ извѣстнымъ правиламъ, ни въ вину, ни въ порицаніе.—Борьба всегда говоритъ за хорошую натуру, неспособную перешвыривать всѣмъ, какъ попало, между тѣмъ, какъ обманъ...

— Гадость ужасная! съ омерзѣніемъ произнесла Анна Михайловна.—Странно это, говорила она черезъ нѣсколько минутъ:— какъ люди мало цѣнятъ то, что въ любви есть самаго лучшаго, и сѣбѣшать падать, какъ можно грязнѣе.

— Таковъ ужъ человѣкъ, да можетъ быть, его въ этомъ даже нельзя слишкомъ и винить.

— Нѣтъ, все это очень странно... ни борьбы, ни увѣренности, что мы любимъ другъ въ другѣ... что-то все-таки высшее... человѣческое... Неужто-жъ ужъ это въ самомъ дѣлѣ только шутовство! неужто ужъ такъ нельзя любить?

Анна Михайловна выговорила это съ затрудненiemъ, и она бы вовсе не выговорила этого Долинскому безъ маски.

— Какъ же нельзя, если мы и въ литературѣ и въ жизни встрѣчаемъ множество примѣровъ такой любви?

— Ну, не правда ли, всегда можно любить чисто? Ну, чтõ эти волшебныя крови... интриги...

— Да, мнѣ кажется, что вы совершенно правы.

— Какъ, Несторъ Игнатьевичъ, кажется! Я вѣрю въ это, отвѣчала Анна Михайловна.

— Да, конечно... Борьба .. а не выйдешь изъ этой борьбы побѣдителемъ, то все-таки знаешь, что я—человѣкъ, я спорилъ, боролся, но не совладѣлъ, не устоялъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ? Чистая-чистая любовь и борьба — вотъ настоящее наслажденіе; «блѣдиѣть и гаснуть... вотъ блаженство».

— Долинскій, здравствуй! произнесло, остановясь передъ ними, какое-то черное, кружевное домино.

Несторъ Игнатьевичъ посмотрѣлъ на маску, и никакъ не могъ догаться, кто бы могъ его знать на этомъ аристократическомъ маскарадѣ.

— Давай свою руку, несчастный страдалецъ! звало его писклившимъ голосомъ домино.

Долинскій отказался, говоря, что у него есть своя очень интересная маска.

— Лжешь, совсѣмъ неинтересная, пищала домино.—Я ее знаю— совсѣмъ неинтересная. Пора ужъ вамъ наскучить другъ другу.

— Иди-иди себѣ съ Богомъ, маска, отвѣчалъ Долинскій.

— Нѣтъ, я хочу идти съ тобою, настаивала домино.

Долинскій едва-едва могъ отдѣлаться отъ привязчивой маски.

— Вы не знаете, кто это така? спросила Анна Михайловна.

— Рѣшительно, не знаю.

— Долинскій! опять зажищала та же маска, появляясь съ другой стороны подъ руку съ другою маскою, покрытою звѣзднымъ покрываломъ.

Несторъ Игнатьевичъ оглянулся.

— Оставь же, наконецъ, на минутку свое сокровище, начала смыться маска.

— Оставь меня, пожалуйста, въ покоѣ.

— Нѣтъ, я тебя не оставлю; я не могу тебя оставить, мой милый рыцарь! рѣшительно отвѣчала маска.—Ты мнѣ очень дорогъ, пойми ты—дорогъ мнѣ Долинскій.

Маски слегка хихикали.

— Ахъ, ужь оставь его! Онъ радъ бы, видиши ли, и самъ идти съ тобой, да не можетъ, картавило звѣздное покрывало.

— Ты думаешь, что она его причаровала?

— О, нѣтъ! Она не чаровница. Она его просто пришила — *пришила его*, отвѣчало, громко разсмѣявшись, звѣздное покрывало, и обѣ маски побѣжали.

— Пойдемте, пожалуйста, ходить... Гдѣ Дора? говорила нѣсколько смущенная Анна Михайловна, еще болѣе смущенному Долинскому.

Они встали и пошли, но не успѣли сдѣлать двадцати шаговъ, какъ снова увидѣли тѣ же два домино, шедшія на встрѣчу имъ подъ руки съ очень молодымъ конногвардейцемъ.

— Пойдемте отъ нихъ, сказала оробѣвшая Анна Михайловна и, дернувъ Долинскаго за руку, повернула назадъ.

— Чего она настѣ такъ боится? спрашивало, нагоняя ихъ сзади, черное домино у звѣзднаго покрывала.

— Она не сшила мнѣ къ сроку панталонъ, издѣвалось звѣздное покрывало, и обѣ маски вмѣстѣ съ конногвардейцемъ залились.

— Возьмемъ его приступомъ! продолжало шутить за спиною у Анны Михайловны и Долинскаго звѣздное покрывало.

— Возьмемъ, соглашалось домино.

Долинскій терялся, не зная, чѣму дѣлать, и тревожно искалъ глазами голубого домино Доры. «Вотъ... чортъ-знаетъ, чѣму я могу, чѣмъ я долженъ сдѣлать? Еслибъ Дора! ахъ, еслибъ она!» Онъ посмотрѣлъ въ глаза Аннѣ Михайловнѣ — глаза эти были полны слезъ.

— Ну, бери! произнесло сквозь смѣхъ заднее домино, и схватило Долинскаго за локоть свободной руки.

Въ то же время звѣздное покрывало ловко отодвинуло Анну Михайловну, и взялось за другую руку Долинскаго.

Несторъ Игнатьевичъ слегка рванулся: маски впсѣли крѣпко, какъ хорошо принявшіяся піявки, и только захочотали.

— Ты не думаешь ли драться? спросило его покрывало Долинскій, ничего не отвѣчая, только оглянулся; конногвар-

деецъ, сопровождавшій полонившихъ Долинскаго масокъ, разсказывалъ что-то лейб-казачьему офицеру и старичку самой благонамѣренной наружности. Всѣ они трое помирали со смѣха и смотрѣли въ ту сторону, куда маски увлекали Нестора Игнатьевича. Пунсовый бантъ на капюшонѣ Анны Михайловны робко жался къ стѣнѣ, за колонадою.

— Пустите меня, бога-ради! проспѣлъ Долинскій и ворохнуль руками тихо, но гораздо посерѣзниче.

— Послушай, Долинскій, будь панинка, не дурачъся, а не то, mon cher, самъ пожалѣешь.

— Дѣлайте, чтѣ хотите, только отстаньте отъ меня теперь.

— Ну, хорошо, пди, а мы сдѣлаемъ скандалъ твоей маскѣ.

Долинскій опять оглянулся. Одинокая Анна Михайловна по-прежнему жалась у стѣны, но изъ близкайшихъ дверей показался голубой капюшонъ Доры. Конноогвардеецъ съ лейб-казакомъ и благонамѣреннымъ старичкомъ попрежнему веселились. Лицо благонамѣренного старичка показалось что-то знакомымъ Долинскому.

— Боже мой! вспоминаль онъ: — да это, кажется, благодѣтель Азовцовъ — откупщикъ, и, оглянувшись на висѣвшее у него на правомъ локтѣ черное домино, Долинскій проговорилъ строго:

— Юлія Петровна, это вы мнѣ дѣлаете такіе сюрпризы?

Онъ узналъ свою жену.

— Ну, пойдемте же, куда вамъ угодно и, пожалуйста, говорите скорѣе, чего хотите вы отъ меня — безсовѣстная вы, ненавистная женщина!

## XI.

### Звѣздочка счастья.

Анна Михайловна, встрѣтивъ Дору, упросила ее тотчасъ же уѣхать съ маскарада.

— Я совсѣмъ нездорова — голова страшно разболѣлась, говорила она сестрѣ, скрывая отъ нея причину своего настоящаго разстройства.

— Позовемъ же Долинскаго, отвѣчала Дора.

— Нѣть, Богъ съ нимъ — пусть себѣ повеселится.

Сестры пріѣхали домой, слегка закусили, и разошлись по своимъ комнатамъ.

Долинскій позвонилъ съ чернаго входа часа черезъ два, или ч. I.

даже нѣсколько болѣе. Кухарка отперла ему дверь, подала спички, и опять повалилась на кровать.

Спички оказались вовсе ненужными. На столѣ въ столовой горѣла свѣча и стояла тарелка, покрытая чистою салфеткою, подъ которой лежалъ ломоть хлѣба и кусокъ жареной индѣйки.

Несторъ Игнатьевичъ взглянуль на этотъ ужинъ и, дунувъ на свѣчку, тихонько прошель въ свою комнату.

Минутъ чеrezъ пять кто-то очень тихо постучался въ его двери.

Долинскій, азартно шагавшій взадъ и впередъ, остановился.

— Можно войти? тихо произнесъ за дверью голосъ Анны Михайловны.

— Сдѣлайте милость, отвѣчалъ Долинскій, смущаясь и оглядываясь по сторонамъ своей комнаты.

— Отчего вы не закусили? спросила, входя тоже нѣсколько смущенная Анна Михайловна.

— Сыть—благодарю васъ за вниманіе.

Анна Михайловна очевидно пришла говорить не о закускѣ, но не знала съ чего начать.

— Садитесь, пожалуйста—вы устали, отнесся къ ней Долинскій, подвигая кресло.

— Чѣмъ это было за явленіе такое? спросила она, опускаясь въ кресло, и стараясь спокойно улыбнуться.

— Боже мой! я просто теряю голову, отвѣчалъ Долинскій.—Я былъ причиной, что васъ такъ тяжело оскорбила эта дрянная женщина.

— Нѣть... что до меня касается, то... вы, пожалуйста, не думайте объ этомъ, Несторъ Игнатьевичъ. Это — совершенный вздоръ.

— Я даль бы дорого—о, я дорого бы даль, чтобы этого вздора не случилось.

— Эта маска была ваша жена?

— Почему вы это подумали?

— Такъ какъ-то, сама не знаю. У меня было нехорошее предчувствіе, и я не хотѣла ни за чтоѣхать — это все Даша упрямая виновата.

— Пожалуйста, забудьте этотъ возмутительный случай, управлявшій Долинскій, протягивая Аннѣ Михайловнѣ свою руку.—Иначе это убьетъ меня; я... не знаю, право... я уйду богъ-знаеть куда: я просто хотѣль уѣхать, хоть въ Москву, что ли.

— Очень мило, прошептала, качая съ упрекомъ головою, Анна Михайловна.—Вы лучше скажите мнѣ, не было ли съ вами чего дурнаго?

— Ничего. Она хочетъ съ меня денегъ, и я ей обѣщалъ.

— Какая странная женщина!

— Богъ съ ней, Анна Михайловна. Мнѣ только стыдно... болѣно... кажется, сквозь землю бы пошелъ за то, что вынесли вы сегодня. Вы не повѣрите, какъ мнѣ это больно...

— Вѣрю-вѣрю, только успокойтесь и забудьте этотъ нехорошій вечеръ, отвѣчала Анна Михайловна, подавая Долинскому свои обѣ руки.—Вѣрьте и вы, что изъ всего, что сегодня случилось, я хочу помнить одно: вашу боязнь за мое спокойствіе.

— Боже мой! да чтѣ же у меня остается въ жизни, кромѣ вашего спокойствія?

Анна Михайловна взглянула на Долинского и молча встала.

— Позвольте на одно слово, попросилъ ее Долинскій.

Анна Михайловна остановилась.

— Вы не разсердитесь? спросилъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Я увѣрена, что вы не можете сказать ничего такого, чтѣ бы меня разсердило, отвѣчала Анна Михайловна.

— Я вѣсъ всегда очень уважалъ, Анна Михайловна, а сегодня, когда мнѣ показалось, что я болѣе не буду вѣсъ видѣть, не буду слышать вашего голоса, я убѣдился, я понялъ, что я страстно, глубоко вѣсъ люблю, и я рѣшился... уѣхать.

— Зачѣмъ? краснѣя, и взглянувъ на дверь, отвѣчала Анна Михайловна.

Долинскій молчалъ.

— Вамъ никто не мѣшаетъ... и...

— И чтѣ?

— Вы никогда не будете имѣть права подумать, что вѣсъ любятъ менѣше, чутъ слышно уронила Анна Михайловна.

Долинскій сжалъ въ своихъ рукахъ ея руку. Анна Михайловна ничего не говорила, и опустивъ глаза смотрѣла въ землю.

Въ домѣ было до жуткости тихо, и сердце билось точно подъ самимъ ухомъ. И онъ и она были въ крайнемъ замѣшательствѣ, изъ котораго Анна Михайловна вышла, впрочемъ, первая.

— Пустите, прошептала она, легонько высвобождая свою руку изъ рукъ Долинскаго.

Тотъ было-тихо приподнялъ ея руку къ своимъ устамъ, но взглянуль въ лицо Аннѣ Михайловнѣ, и робко остановился.

Анна Михайловна сама взяла его за голову, тихо, беззвучно его подаловала, и быстро отодвинулась назадъ. Приложивъ пальцы къ губамъ, она стояла въ волненіи у притолка.

— Ахъ! ненадо, ненадо, бога-ради ненадо! заговорила она, торопясь и задыхаясь, когда Долинскій сдѣлалъ къ ней одинъ шагъ, и переведа духъ, какъ тѣнь, неслышно, скользнула за его двери.

Прошелъ круглый годъ; Долинскій продолжалъ любить Анну Михайловну такъ точно, какъ любилъ ее до маскараднаго случая, и никогда не сомнѣвался, что Анна Михайловна любить его не менѣе. Ни о чёмъ произошедшемъ не было и помину.

Единственною разницей въ ихъ теперешнихъ отношеніяхъ отъ прежняго было то, что они знали изъ устъ другъ друга о взаимной любви, нѣжно лелеяли свое чувство, «блѣднѣли и гасли», ставя въ этомъ свое блаженство.

## XII.

### СИМПАТИЧЕСКИЕ ПОПУГАИ.

Въ теченіе цѣлаго этого года не произошло почти ничего особынно замѣчательнаго, только дорушкины симпатическіе попугаи, Оля и Маша, къ концу мясоѣда выкинули преуморительную штуку, еще болѣе упрочившую за ними название *симпатическихъ попугаевъ*. Въ одинъ прекрасный день, они сообщили Дорѣ, что онѣ выходятъ замужъ.

— *Обѣ вмѣсть?* спросила удивясь Дора.

— Да; такъ вышло, Дарья Михайловна, отвѣчали дѣвушки.

— По крайней-мѣрѣ, не за одного хоть?

— Нѣть-съ, какъ можно?

— То-то.

Онѣ выходили за двухъ родныхъ братьевъ, наборщиковъ изъ бывшей по сосѣдству типографіи.

Затѣялась свадьба, въ устройствѣ которой Даша принимала самое жаркое участіе, и наконецъ, въ одинъ вечеръ передъ масленицей, симпатическихъ попугаевъ обѣничали. Свадьба справлялась въ двухъ комнатахъ, нанятыхъ въ томъ же домѣ, гдѣ помѣщался магазинъ Анны Михайловны. Анна Михайловна была посаженнаю матерью дѣвушекъ, Несторъ Игнатьевичъ посаженнымъ отцомъ, Дорушки и Анна Анисимовна — дружками у Оли и Маши.

Илья Макаровичъ былъ на эту пору боленъ, и не могъ принять въ торжествѣ никакого личнаго участія, но прислалъ дѣвушкамъ по парѣ необыкновенно изящно-разрисованныхъ вѣнчальныхъ свѣчъ, бѣлаго пѣтуха съ краснымъ гребнемъ и бѣлую курочку.

Магазинъ въ этотъ день закрылъ ранѣе обыкновеннаго, и всѣ столпились въ немъ около Даши, подъ надзоромъ которой передъ большими трюмо происходило одѣванье невѣстъ.

Даша была необыкновенно занята и оживлена; она хлопотала обо всемъ, начиная съ башмака невѣстъ и до каждого бантика въ ихъ головныхъ уборахъ. Наряды были подарены невѣстамъ Анной Михайловной и частю Дорой, изъ ея собственнаго заработка. Она также сдѣлала на свой счетъ два самыя скромныя, совершенно одинаковыя бѣлыя платья для себя, и для своего друга — Анны Анисимовны. Дорушка и Анна Анисимовна, обѣ были одѣты одинаково, какъ двѣ родныя сестры.

— Что это за прелестное созданіе наша Дора! говорила Анна Михайловна, взойдя въ комнату Долинскаго, когда былъ оконченъ уборъ.

— Да, что ужь о ней, Анна Михайловна, и говорить! отвѣчалъ Долинскій. — Счастливый будетъ человѣкъ, кого она полюбитъ.

Анна Михайловна случайно чихнула, и сказала:

— Вотъ и правда.

— Господа! Симпатические попуганы! позвала, спѣшно пріотворивъ дверь и выставивъ свою головку, Дора. — Чего жь вы сюда забились? — Пожалуйте благословлять моихъ попугаевъ.

Кончилось благословеніе и вѣнчаніе, и начался пиръ. Анна Михайловна пробыла съ частью и стала прощаться; Долинскій послѣдовалъ ея примѣру. Ихъ удерживали, но они не остались, боясь стѣснять своимъ присутствіемъ гостей жениховыхъ, и поступили очень основательно. Все-таки Анна Михайловна была хозяйка, все-таки Долинскій — баринъ.

Дорушка была совсѣмъ иное дѣло. Она умѣла всегда держать себя со всѣми какъ-то особенно просто, и невѣсты были бы очень огорчены, еслибы она оставила ихъ торжественный пиръ, ранѣе чѣмъ ему положено было окончиться по порядку.

Въ комнатахъ была изрядная давка и духота, но Дора не тяготилась этимъ, и подъ звуки плохинъского квартета танцевала съ наборщиками двѣ кадрили.

Въ квартирѣ Анны Михайловны не оставалось ни души; даже дѣвочки были отпущены веселиться на свадьбѣ. Двери съ обоихъ

подъездовъ были заперты, и Анна Михайловна, съ работою въ рукахъ, сидѣла на мягкомъ диванѣ въ комнатѣ Долинскаго.

Вездѣ было такъ тихо, что черезъ три комнаты было слышно, какъ кто-нибудь шмыгалъ резиновыми калошами по парадной лѣстницѣ. Красивый и очень сторожкій кинг-чарльзъ Анны Михайловны, «Риголетка», непривыкшая къ такой ранней тишинѣ, безпрестанно поднимала головку, взмахивала волнистыми ушами и сердито рычала.

— Успокойся, успокойся, Риголеточка, уговаривала ее Анна Михайловна, но собачка все тревожилась, и насили заснула.

— Что это за жизнь безъ Доры-то была бы какая скучная, сказала послѣ долгой паузы Анна Михайловна, относясь къ настоящему положенію.

— Да, въ самомъ дѣлѣ, какъ безъ нея тихо.

— Я тамъ было сѣла у себя, такъ даже какъ будто страшно, молвила Анна Михайловна, и послѣ непродолжительного молчанія добавила: — ужасно дурная вещь одиночество!

— И не говорите. Я такъ отъ него настрадался, что до сихъ поръ, кажется, еще никакъ не отдышиусь.

Анна Михайловна снова помолчала, и съ едва замѣтной улыбкой сказала:

— А ужь, кажется, пора бы.

— Впрочемъ, человѣкъ никогда не бываетъ совершенно счастливъ, проговорила она, вздохнувъ и черезъ нѣсколько времени.

— Сердце будущимъ живетъ.

— А вотъ это-то и нехорошо. Вѣдь вотъ я же счастлива.

Долинскій промолчалъ. Онъ стоялъ у печки и грѣлся.

— А вы, Несторъ Игнатьичъ? спросила она, улыбнувшись и положивъ на колѣна свою работу.

— Я очень счастливъ и доволенъ.

— Чѣмъ?

— Судьбой, и чѣмъ хотите, отвѣчалъ весело Долинскій.

— А я, знаете, чѣмъ и кѣмъ болѣе всего довольна? Анна Михайловна нѣсколько лукаво посмотрѣла искоса на молчавшаго Долинскаго, и договорила: — вами.

Долинскій шутливо поклонился.

— Въ самомъ дѣлѣ, Несторъ Игнатьичъ, продолжала, краснѣя и волнуясь Анна Михайловна: — вы мнѣ доказали истинно, и не словами, что вы меня дѣйствительно любите.

Долинскій также шутливо поклонился еще ниже.

— Я думала, что такъ въ наше время ужъ никто не умѣетъ любить, произнесла она мѣшаясь, какъ переконфуженный ребёнокъ.

Долинскій подошелъ къ Аннѣ Михайловнѣ, взялъ и поцаловалъ ея руку.

Анна Михайловна безотчетно задержала его руку въ своей.

— Вы—хорошій человѣкъ, прошептала она, и подняла къ его плечу свою свободную руку.

Въ это же мгновеніе, Риголетка насторожила уши, и съ звонкимъ лаемъ кинулась къ черному входу. Послышался сильный и нетерпѣливый стукъ.

— Посмотрите, пожалуйста, кто это? произнесла Анна Михайловна, вздрогнувъ, и скоро выбрасывая изъ своей руки руку Долинскаго.

Долинскій пошелъ въ кухню, и тамъ тотчасъ же послышалася голосъ Даши:

— Чего это вы до сихъ поръ не отираете? Десять часовъ стучусь, и никакъ не могу достучаться, взыскивала она съ Долинскаго.

— Не слышно было.

— Помилуйте, мертвые бы, я думаю, услыхали, отвѣчала она, пробѣгая.

— Сестра! позвала она.

— Ну, отклинулась Анна Михайловна въ комнаты Долинскаго.

Дорушка вбѣжала на этотъ голосъ, и остановясь, спросила:

— Чѣмъ это ты такая?

— Какая? мѣшаясь, и еще болѣе краснѣя, проговорила Анна Михайловна.

— Странная какая-то, проронила скороговоркой Дора, и сей-часъ же добавила:—дай мнѣ десять рублей, у нихъ недостаетъ чего-то.

Анна Михайловна пошла въ свою комнату, и достала Дашѣ десять рублей.

— Не бѣгай ты такъ, Дора, бога-ради, въ одномъ шательѣ по лѣстницамъ, попросила она Дорушку, но та ей не отвѣтила ни слова.

Анна Михайловна, проводивъ сестру до самаго порога, торопливо прошла прямо въ свою комнату, и заперла за собою дверь.

XIII.

МАЛЕНЬКІЯ НЕПРІЯТНОСТИ НАЧИНАЮТЬ НѢСКОЛЬКО МѢШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВІЮ.

Послѣ сочетанія симпатическихъ попугаевъ, почти цѣлый домъ у Анны Михайловны переболѣлъ. Первая начала хворать Дорушка. Она простудилась, и на другой же день послѣ этой свадьбы закашляла, и захрипѣла, а на третій слегла. Стали Дорушку лечить, а она стала разнемогаться, и наконецъ заболѣла самыи серъёзнымъ образомъ. Долинскій и Анна Михайловна не отходили отъ ея постели. Болѣзнь Доры была не острая, но угрожала весьма нехорошимъ. Въ домѣ это всѣ чувствовали и, кажется, только боялись произнестъ слово  *чахотка*; но когда кто-нибудь произносилъ это слово случайно, всѣ оглядывались на комнату Даши, и умолкали. Такъ прошло около мѣсяца. Наконецъ стало Дашѣ чуть-чуть будто полегче — Анна Михайловна простудилась и захворала. Болѣзнь Анны Михайловны была непродолжительная и неопасная. Дора во время этой болѣзни чувствовала себя на столько сильною, что даже могла ухаживать за сестрою, но тотчасъ же, какъ Анна Михайловна начала обмогаться, Дора опять сошла въ постель, и еще посерѣзѣѣ прежняго.

— Ну, ужь теперь, кажется, будетъ кранкенъ, сказала она сама.

Характеръ Доры мало измѣнялся и въ болѣзни, но все-таки она жаловалась, говоря: «не знаете вы, господа, сколько нужно силы надъ собой имѣть, чтобы никому не надоѣдать и не злиться».

Иногда, впрочемъ, и Дорушка не совсѣмъ владѣла собою; и у нея можно было замѣтить движения безпокойныхъ, которыхъ бы она вѣроятно не допустила въ здоровомъ состояніи. Это не были ни дерзости, ни придирки, а такъ... больная фантазія. Во время болѣзни Анны Михайловны, когда еще Дора бродила на ногахъ, она, напримѣръ, одинъ разъ ужасно разсердилась на Риголетку за то, что чуткая собачка залаяла, когда она входила въ слабо-освѣщеннуу комнату сестры. Даша вспыхнула, схватила лежавшій на комедѣ зонтикъ, и кинулась за собачкой. Риголетка изъ комнаты Анны Михайловны бросилась въ столовую, гдѣ Долинскій пилъ чай, и сираталась у него подъ столомъ. Даша въ азартѣ достала ее изъ-подъ стула, и нѣсколько разъ сильно ударила ее зонтикомъ.

— Дорушка! Дарья Михайловна! останавливалъ ее Долинскій.  
— Даша! чѣдъ съ тобой? послышался изъ спальни голосъ  
Анны Михайловны.

Даша все-таки хорошенъко прибила Риголетку, и когда нака-  
занная собачка жалобно визжала, спрятавшись въ спальнѣ Анны  
Михайловны, сама спокойно сѣла къ самовару.

— Ну, за что вы били бѣдную собачку? обрезонивалъ ее тихо  
и кротко Долинскій.

— Такъ, для собственного удовольствія... За то, что она лю-  
бить меня меныше, чѣмъ васъ, отвѣчала запальчиво Дора.

— Достойная причина!

— Пусть не лаетъ на меня, когда я вхожу въ сестрину комнату.

— Темно было, она васъ не узнала.

— А зачѣмъ она васъ узнаетъ и не лаетъ? возразила Даша,  
съ раздувающимися ноздрками.

— О, ну, Богъ съ вами! чѣдъ вамъ ни скажешь, все невпо-  
падъ, за все вы готовы сердиться, отвѣчалъ покраснѣвъ До-  
линскій.

— Потому что вы вздоръ все говорите.

— Ну, я замолчу.

— И гораздо умнѣе сдѣлаете.

— Даже и уйду, если хотите, добавилъ беззвучно смеясьъ До-  
линскій.

— Отправляйтесь, серьёзно проводила Даша. — Отправляйтесь,  
отправляйтесь, добавила она, сводя его за руку со стула.

Несторъ Игнатьевичъ всталъ и тихонъко пошелъ въ комнату  
Анны Михайловны. Чуть только онъ переступилъ порогъ этой  
комнаты, пѣ-подъ кровати раздалось сердитое рычаніе напуган-  
ной Риголетки.

— Ага! исправилась? отнесся Долинскій къ собачкѣ. — Ну, Ри-  
голеточка, утѣши, утѣши Дарью Михайловну еще!

Риголетка снова сердито залаяла.

— Мммъ! — дуракъ, настоящій дуракъ, произнесла, смотря на  
Долинскаго, Дора и, соблазненная его искреннимъ смѣхомъ, сама  
тихонъко надъ собой разсмѣялась.

Такъ время подходило къ веснѣ; Дорушка все — то вставала,  
то опять ложилась, и все хворала и хворала; Долинскій и Анна  
Михайловна попрежнему тщательно скрывали свою великодушную  
любовь отъ всякаго чужого глаза, но, однако, тѣмъ не менѣе  
никто не вѣрилъ этому пурпизму, и въ мастерской, при разгово-

рахъ обѣ Аниѣ Михайловнѣ и Долинскому, собственныя имена ихъ не употреблялись, а говорилось просто: *сама* и *ейный*.

#### XIV.

##### Каپризы.

Наконецъ, на дворѣ запахло гнилою гадостью: гнилая петербургская весна приближалась. Здоровье Даши со всякимъ днемъ становилось хуже. Она видимо таяла. Она давно уже, что говорится, дышала на ладонь. Докторъ, который ее пользовалъ, отказался брать деньги за визиты.

«Вы мнѣ лучше платите въ мѣсяцъ, сказалъ онъ: я буду заѣждать къ больной, и буду стараться ее поддерживать. Больше я ничего сдѣлать не могу.»

— У нея чахотка? спросилъ Долинскій.

— Несомнѣнная.

— Долго она можетъ жить?

Докторъ пожалъ плечами и отвѣчалъ:

— Болѣзнь въ сильномъ развитіи.

Съ четвертой недѣли поста, Даша вовсе не вставала съ постели. Въ домѣ все принало еще болѣе грустный характеръ. Ходили на цинѣчкахъ, говорили шепотомъ.

— Господи! вы меня уморите прежде чѣмъ смерть придетъ за мною, говорила больная. — Все шушукаютъ, да скользятъ безъ сѣда, точно тѣчи могильныя. Да поживите вы еще со мною! дайте мнѣ послушать человѣческаго голоса! дайте хоть поглядѣть на живыхъ людей!

Ухода и заботливости о дорушкиномъ спокойствїи было столько, что они ей даже надоѣдали. Проснувшись какъ-то разъ ночью, еще сначала болѣзни, она обвела глазами комнату, и къ удивленію своему, замѣтила при лампадѣ, кромѣ дремлющей на диванѣ сестры, крѣпко спящаго на плетеномъ стулѣ Долинскаго.

— Кто это, Аня? спросила шепотомъ Дорушка, указывая на Долинскаго.

— Это Несторъ Игнатьичъ, отвѣчала Анна Михайловна, оправляясь, и подавая Дорѣ ложку лекарства.

Дорушка выпила микстуру, и сдѣлавъ гримаску, спросила, глядя на Долинскаго:

— Зачѣмъ эта мумія тутъ торчить?

— Онъ все сидѣлъ... и какъ удивительно онъ спить!

— Еще упадетъ и перепугаетъ.

— Бѣдняжка! — три ночи онъ совсѣмъ не ложился.

— Спасибо ему, отвѣчала тихо Дора.

— Да, преуморительный; сегодня всталъ, чтобы дать тебѣ лекарства, налилъ, и самъ всю цѣлую ложку со сна и вышилъ.

Анна Михайловна беззвучно разсмѣялась.

— Мірское челобитье, въ лубочкѣ связанное, проговорила, глядя на Долинскаго, Дора.

— Голубиное сердце, добавила Анна Михайловна.

Въ другой разъ, Даша все казалось, что о ней никто не хочетъ позаботиться, что ее всѣ бросили.

Анна Михайловна не отходила отъ сестры ни на минуту. Въ магазинѣ всѣмъ распоряжалась мадам Alexandrine, и тамъ все шло какрѣмъ да въ кучу, но Анна Михайловна не обращала на это никакого вниманія. Она выходила изъ комнаты сестры только въ сумерки, когда мастерицы кончали работу, оставляя на это время у больной Нестора Игнатьевича. Впрочемъ, они всегда сидѣли вмѣстѣ. Анна Михайловна работала въ ногахъ у сестры, а Несторъ Игнатьевичъ читалъ вслухъ какую-нибудь книгу. Больная лежала, и смотрѣла на нихъ, иногда слушая, иногда далеко летая отъ того, о чёмъ рассказывалъ авторъ.

Насталъ канунъ вербнаго воскресенія. Въ этотъ вечеръ, въ магазинѣ никого не было. Мастерицы разошлись, дѣвочки спали на своихъ постелькахъ. Все было тихо. Анна Михайловна, по обыкновенію, заготовляла на живую нитку разныя работы. Она очень спѣшила, потому что заказовъ къ празднику было множество. Несторъ Игнатьевичъ сидѣлъ за тѣмъ же столикомъ возлѣ Анны Михайловны, и правилъ какія-то корректуры. Даша, казалось, спала очень покойно. За пологомъ не было слышно даже ея тихаго дыханія. Но среди всеобщей тишины, нарушающей только черканье стального цера, да щелканье иглы, прокалывавшей крѣпкую шелковую матерію, больная начала что-то нашептывать. Несторъ Игнатьевичъ и Анна Михайловна перестали работать и подняли головы. Больная все шептала внятнѣе и внятнѣе. Наконецъ, она произнесла совершенно внятно:

«И склонять въ сырью могилу,  
Какъ пройдешь ты тяжелый свой путь,  
Безполезно угасшую силу  
И ничѣмъ песогрѣтую грудь».

Дорушка тяжело вздохнула и сказала:

- Господи! какъ глупо такъ умереть.
- Она бредитъ? спросилъ шепотомъ Долинскій.
- Должно быть, шепотомъ же отвѣчала ему Анна Михайловна.
- Что вы тамъ все шепчетесь? тихо проговорила больная.
- Что ты, Даша? спросила ее Анна Михайловна, какъ будто не разслышавъ ея вопроса.
- Я говорю, что вы все шепчетесь, точно влюбленные, или какъ надѣ побойникомъ.
- Богъ-знаетъ, что тебѣ все приходить въ голову! Намъ просто показалось, что ты бредишь; мы не хотѣли тебя разбудить.
- Нѣтъ, я не брежу; я не спала. Откройте мнѣ занавѣсь, сказала Даша, ударивъ рукою по пологу.
- Долинскій всталъ и откинула половину полога.
- Все, все отбросьте, вотъ такъ! сказала больная. — Ну, говорите теперь, добавила она, оправивъ на себѣ кофту.
- О чёмъ прикажете говорить, Даья Михайловна? спросилъ Несторъ Игнатьевичъ.
- Не умѣете говорить! Ну, прочитайте мнѣ что-нибудь Некрасова, я бы послушала, хоть: «грабикъ ребёнку, ужинъ отцу» прочтите.
- Долинскій зналъ, что Даша любила въ Некрасовѣ, и зналъ, что чтеніе этихъ любимыхъ вещей очень сильно ее волновало и вредило ея здоровью.
- Некрасова-то нѣтъ дома, отвѣчалъ онъ.
- Куда же это онъ уѣхалъ?
- Я его далъ одному знакомому.
- Все вретъ! Какъ вы всѣ безъ меня изоврались! говорила Даша, улыбаясь черезъ силу: — а особенно вы и Анна. Чѣмъ ступните, то солжете. — Ну, вотъ читайте мнѣ Лермонтова — я его никому не отдала, и Даша, доставь изъ-подъ подушки роскошно переплетенное изданіе стихотвореній Лермонтова, подала его Долинскому.
- «Мцыри», сказала Даша.
- Несторъ Игнатьевичъ прочелъ «Мцыри».
- «Бояринъ Орша», сказала больная снова, когда Долинскій дочиталъ «Мцыри».
- Онъ прочелъ «Боярина Оршу», а она ему заказывала новое чтеніе. Такъ прочли «Хаджи Абрека», «Молитву», «Сказку для дѣтей» и наконецъ нѣсколько главъ изъ «Демона».

— Ну, довольно, сказала Даша.—Хорошенькаго понемножку. Дайте-ка мнѣ мою книгу.

Долинскій подалъ ей книжку, она вложила ее въ футляръ и сунула подъ подушку. Долго-долго смотрѣла она, облокотясь своей исхудалой ручкой о подушку, то на сестру, то на Нестора Игнатьевича; кусала свои пересмѣглые губки и вдругъ совершенно спокойнымъ голосомъ сказала:

— Пожалуйтесь пожалуйста.

Анна Михайловна вспыхнула и съ упрекомъ сказала:

— Что ты это говоришь, Даша!

— Что-жъ я сказала? Я сказала: пожалуйтесь пожалуйста.

Долинскому и Анаѣ Михайловнѣ было до крайности неловко, и они оба не находили словъ.

— Чѣмъ ты, съ ума сошла, Дора! могла только проронить Анна Михайловна.

— Какие вы смѣшные! проговорила, улыбаясь, больная.—Вѣдь вы же любите другъ друга.

— Что вы это говорите? что вы говорите! повторялъ съ упрекомъ переконфуженный Долинскій, глядя на еще болѣе сконфуженную Анну Михайловну.

Больная отвернулась къ стѣнѣ, не удостоивъ этихъ упрековъ ни малѣйшаго вниманія и, помолчавъ... съ минуту, опять сказала:

— Да пожалуйтесь, что ли! Мнѣ такъ хочется видѣть, какъ вы любите другъ друга.

— Даша! тебѣ, вѣрно, хотѣлось видѣть, какъ я плачу, такъ ты какъ нельзя лучше этого достигла, сказала полголосомъ Анна Михайловна и, сбросивъ съ колѣнъ работу, быстро вышла изъ комнаты. Слезы текли у нея по обѣимъ щекамъ.

Долинскій посмотрѣлъ ей вслѣдъ и остался молча на своемъ мѣстѣ.

— Вотъ чудаки! тихо заговорила Дора и начала досадливо кусать губки. Это означало, что Даша одинаково недовольна и другими, и сама собою.

— Смѣшно! воскликнула она черезъ минуту съ тою же досадой и съ явнымъ желаніемъ вызвать на разговоръ Долинскаго.

— Да, кошкѣ игрушки, а мышкѣ слезки, отвѣтилъ, не поднимая глазъ отъ бумаги, Долинскій.

Даша вспыхнула.

— Э! ужъ хоть вы по крайней-мѣрѣ перестаньте пожалуйста комонничать! крикнула она запальчиво на Долинскаго.

— Чѣдѣ такое значить комонничать? Извините пожалуйста, я даже слова такого не знаю, отвѣчать сухо Долинскій.

— Русское слово.

— Никогда не слыхалъ въ моей жизни.

— Мало ли чего вы еще не слыхали въ вашей жизни!

Въ это время въ комнату снова вошла Анна Михайловна и опять спокойно сѣла за свою работу. Глаза у нея были заплаканы.

Дора посмотрѣла на сестру, слегка поморщила свой лобъ и попросила ее переложить себѣ подушки.

— Ну, а теперь уйдите отъ меня, сказала она неоправившися отъ смущенія голосомъ сестрѣ и Долинскому.

— Я останусь съ тобою, отвѣчала ей Анна Михайлова.

— Нѣтъ, нѣтъ! Идите оба: «мнѣ видѣть вашъ венавистенъ», тихо улыбаясь шутила Дора. — Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, мнѣ хочется быть одной... спать хочется. Идите себѣ съ богомъ.

## XV.

### ПРИСКАЗКА КОНЧАЕТСЯ И НАЧИНАЕТСЯ СКАЗКА.

На третій день праздника пріѣхалъ докторъ, поговорилъ съ больною, и прописавъ ей малиновый сиропъ съ какою-то невинною примѣсью, сказалъ Аннѣ Михайловой, что въ этомъ климатѣ Дашѣ остается жить очень недолго, и что какъ послѣднее средство продлить ея дни, онъ совѣтуетъ немедленно повезти ее на югъ, въ Италію, въ Ниццу.

— Природа нерѣдко дѣлаетъ чудеса, утѣшалъ онъ Анну Михайловну.

— А для нея, докторъ, возможно еще такое чудо?

— Отчего нѣтъ? Природа чародѣйка, ея аптека всѣмъ богата.

— Какъ же это сдѣлать? спрашивала Анна Михайлова Долинского.

— Надоѣхать въ Ниццу.

— Да не то, что надо. Обѣ этомъ ужъ и говорить нечего что надо; а какъ ее везти? Какъ ее уговоритьѣхать?

— Въ самомъ дѣлѣ: кто же ее повезетъ? Кому съ неюѣхать?

— Или мнѣ, или вамъ. Обѣ этомъ послѣ подумаемъ. Безъ жена тутъ все стало — да это богъ съ нимъ, пусть все прощадеть; а какъ ее приготовить?

— Хотите, я попробую? вызвался Долинскій.

— Да. Очень хочу, но только надо осторожно, ловко, чтобы не перепугать ее. Она все-таки еще, может быть, не знаетъ, что ей такъ худо.

— Лучше вмѣстѣ, заведемъ разговоръ сегодня вечеромъ.

— И прекрасно.

Но вечеромъ они разговора не завели; не завели они этого разговора и на другой, и на третій, и на десятый вечеръ. Все смѣлости у нихъ недоставало. Даѣшь, между тѣмъ, стало баѣ будто полегче. Она вставала съ постели и ходила по комнатѣ. Докторъ былъ еще два раза, торопилъ отправленiemъ больной въ Италию и подтрунивалъ надъ нерѣшимостью Анны Михайловны. Пріѣхавъ въ третій разъ, онъ сказалъ, что рѣшительно весны упускать нельзя, и поговоривъ съ больной въ очень удобную минуту, сказалъ ей:

— Вы теперь слава-богу ужъ гораздо крѣпче, m-lie Doroth  e; вамъ бы очень хорошо было теперь прѣѣхаться на югъ. Это бы васъ совсѣмъ оживило и разсѣяло.

Больная посмотрѣла на него долгимъ, пристальнымъ взглядомъ и сказала:

— Что-жъ, я не противъ этого.

— Такъ и поѣзжайте.

— Это не отъ меня зависитъ, докторъ. Надо знать, какъ сестра, или лучше, какъ ея средства.

— Сестра ваша совершенно согласна на эту поѣздку.

— Вы съ ней развѣ говорили?

— О! да. Давно, нѣсколько дней назадъ говорилъ.

— Что-жъ это они мнѣ ни слова не сказали! Все боятся, что умру, добавила она съ грустной улыбкой.

— Они васъ очень любятъ.

— Очень любять, подтвердила задумчиво больная.

— Такъ, вы поѣдете? спросилъ ее снова докторъ.

— Пусть везутъ, пусть везутъ. Пусть, что хотятъ со мной дѣлаютъ; только пожить бы немножко.

— Поживете! отвѣчалъ докторъ спокойно, берясь за шляпу.

— Немножко?

Докторъ протянулъ ей руку, и не отвѣчая на вопросъ, сказалъ:

— Такъ до свиданія, m-lie Doroth  e!

Даша удержала его руку и опять спросила его: «такъ немножко?»

— Чѣмъ немножко?

— Поживу-то?

— Поживете, поживете, отвѣчалъ докторъ, чтобы что нибудь отвѣтить.

— Ну, а не хотите сказать правды, такъ и богъ съ вами, сказала Даша. — Заѣзжайте-жъ хоть проститься.

— Непремѣнно.

— То-то; а то вѣдь пожалуй ужъ не увидимся до радостнаго утра.

Докторъ ушелъ, а Даша позвала сестру, попеняла ей за перѣшительность и объявила, что она съ большими удовольствіемъ готоваѣхать въ Италію.

Поѣздка была отложена до первого дня, когда докторъ найдетъ Дашу способною выдержать дорогу. Изъ аптеки ей приносили всакій день укрѣпляющія лекарства, а Анна Михайловна собирала ея бѣлье, платье; все осматривала, поправляла и укладывала въ особый ящикъ.

— Золотая ты моя! Точно она меня замужъ снаряжаетъ, говорила, глядя на сестру, Даша.

Дарья Михайловна обмогалась. Хотя она еще не выходила изъ своей комнаты, но докторъ надѣялся, что она на днахъ же будетъ въ состояніи выѣхать за границу. Вечеромъ въ тотъ день, когда докторъ высказалъ это мнѣніе, Анна Михайловна сидѣла у конца письменного стола въ комнатѣ Нестора Игнатьевича. Она сводила счеты и безпрестанно надѣя ними задумывалась. Денегъ было мало. Дашина болѣзнь и зашедшіе во время этой болѣзни беспорядки серьѣзно разстроили дѣла Анны Михайловны, державшейся только ея неусыпными заботами и бережливостью.

— Ну, чѣд? спросилъ Долинскій, видя, что рука Анны Михайловны провела черту и подписала итогъ.

— Плохо, улыбаясь, отвѣтила Анна Михайловна.

— Сколько же?

— Всего въ сборѣ около тысячи рублей, около двухъ тысячъ въ долгахъ; тѣхъ теперь и думать нечего собрать. Изъ тысячи, четыреста сейчасъ надо отдать, рублей триста надо здѣсь на мѣсяцъ...

Въ это время за дверью кто-то запѣлъ медвѣдя, какъ поютъ его маленькия дѣти, когда они думаютъ кого-нибудь испугать:

«Я скрипу-скришу медвѣдь,  
Я на липовой ногѣ;  
Въ сафьянномъ сапогѣ».

— Кто бы это? сказали въ одинъ голосъ оба, и Долинскій пошелъ къ двери. Не успѣлъ онъ взяться за ручку, какъ дверь сама отворилась и ему предстала Дорушка, въ бѣломъ пеньюарѣ и въ большихъ теплыхъ вязанныхъ сапогахъ. Въ одной рукѣ она держала свѣчку, а другою опиралась на палочку.

— Дарья Михайловна, что вы это дѣлаете? вскрикнулъ Несторъ Игнатьевичъ:—вѣдь вамъ еще не позволено выходить.

— Молчите, молчите, запыхавшись и грозя пальчикомъ отвѣчала Даша.—Послѣ будете разсуждать, а теперь давайте-ка мнѣ поскорѣй кресло. Да не туда, а вонъ къ камину. Ну, вотъ такъ. Теперь подбросьте побольше угля и одѣньте меня чѣмъ нибудь теплымъ—я все зябну.

Несторъ Игнатьевичъ поставилъ Дашѣ подъ ноги скамейку, набросалъ въ каминъ изъ корзины новаго кокса, а Анна Михайловна взяла съ дивана бѣличій халатъ Долинскаго и одѣла имъ болѣнную.

— Ишь какой онъ нѣжоха! Какой у него халатикъ маленький, говорила Даша, проводя ручкою по нѣжному бѣличьему мѣху.—И какъ тутъ все хорошо! И въ мастерской такъ хорошо, и вездѣ... вездѣ будто какъ все новое стало. Какъ я вылежалась-то, божемой, руки-то, руки-то, посмотрите, Несторъ Игнатьичъ! Видите? спросила она, поставивъ свои ладони противъ камина:—насквозь свѣтятся.

— Поправитесь, Дорушка, сказалъ Долинскій.

— А?

— Поправитесь, я говорю.

Даша глубоко вздохнула и проговорила:

— Да, поправлюсь. Чего ты на меня такъ смотришь? спросила она сестру, которая забылась и не умѣла скрыть всего страданія, отразившагося въ ея глазахъ, устремленныхъ на угасающую Дашу.—Не смотри такъ пожалуйста, Аня, это мнѣ непріятно.

— Я такъ, Даша, задумалась.

— О чѣмъ тебѣ думать?

— Такъ, о дѣлахъ.

Вышла маленькая пауза.

— Сколько я въ нынѣшнемъ году заработала? проговорила Даша, глядя въ огонь.—Рублей двадцать?

— Что это тебѣ вздумалось, Даша?

— А на леченье мое, я думаю, богъ-знаетъ сколько вышло?

— Да я не считала, Даша, и что это тебѣ приходитъ въ голову.

— Нѣтъ, ничего, я такъ это.

— Даша, Даша, какъ тебѣ не грѣшно, за что ты меня обижаешь? Неужто ты думаешь, что мнѣ жаль для тебя денегъ?

— Кто жь думаетъ, что тебѣ жаль? я только думаю, есть ли у тебя чего жалѣть, покажите-ка мнѣ, что вы считали?

Анна Михайловна подала Дашѣ исписанную карандашомъ бумажку.

— Чѣмъ это значитъ, денегъ почти что нѣтъ! сказала Даша, положивъ счетъ на колѣни.

— Есть около четырехсотъ на поѣздку, отвѣчала Анна Михайловна.

— Около семисотъ, потому что у меня есть триста.

— Вамъ же надо высыпать ихъ?

Долинскій поморщился и отвѣчалъ:

— Нѣтъ, не надо.

— Какъ же не надо, когда надо?

— Надо высыпать еще черезъ пять мѣсяцевъ.

— Куда ему высыпать нужно? спросила Даша, смотря въ каминъ прищуренными глазками. Ей никто не отвѣчалъ. Несторъ Игнатьевичъ стоялъ у печи, заложивъ назадъ руки, а сестра разглаживала ногтемъ какую-то ни къ чему негодную бумажку.

— А, это пенсіонъ за безпорочную службу той барынѣ, которая все любить очень, а деньги больше всего, сказала подумавъ Дора:—хоть бы передъ смертью посмотрѣть на эту особу; полтинникъ бы, кажется, при всей нынѣшней бѣдности, заплатила.

— Дорушка, вполноголоса проговорила Анна Михайловна.

— Что ты?

Анна Михайловна качнула головой, показала глазами на Долинскаго. Долинскій слышалъ слово отъ слова все, что сказала Даша на счетъ его жены, и сердце его не скжалось тою мучительною болью, которую оно скжималось прежде, при каждомъ касающемся ея словѣ. Теперь при этомъ разговорѣ онъ оставался совершенно покойнымъ.

— А вы вотъ о чемъ, Дорушка, поговорите лучше, сказаль онъ:—кому съ вамиѣхать?

— Въ самомъ дѣлѣ, мы все толкуемъ обо всемъ, а не рѣшимъ, кому съ тобойѣхать, Даша.

— Вѣдь паспорты нужно взять, замѣтилъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Киньте жребій, кому выпадетъ это счастье, шутила Дора.—

Тебѣ, сестра, будетъ очень трудно уѣхать. *Alexandrine* твоя, что называется, пустельга чистая. Тебѣ положиться не на кого. Все тутъ безъ тебя въ разоръ пойдетъ. Помнишь, какъ тогда, когда мы были въ Парижѣ. Такъ тогда всего на какихъ-нибудь три мѣсяца уѣзжалъ и въ глухую пору, а теперь... Нѣтъ, тебѣ никакъ нельзяѣ ѿхать со мной.

— Да это что! Пусть идеть какъ пойдетъ.

— За эту готовность цалую твою ручку, только вѣдь и тамъ безъ денегъ макаронъ не дадуть, а денегъ безъ тебя братъ не откуда.

Всѣ задумались.

— Вѣрно ужъ съѣздите вы съ нею, сказала Анна Михайловна, обратясь къ Долинскому.

— Вы знаете, что я никогда не думалъ отказываться отъ услугъ Дорушки.

— Поѣдемте, мой милый! сказала Даша, обернувшись къ нему свое милое личико и протянувъ руку.

Долинскій скоро подошелъ къ креслу больной, поцаловалъ ея руку и отвѣчалъ:

— Поѣдемте, поѣдемте, Дорушка. Я только боюсь, съумѣю-ли я васъ успокоить!

— Вы не боитесь чахотки? спросила Даша, едва удерживая своими длинными рѣсницами слезы, наполнившія ея глаза.

— Нѣтъ, не боюсь, отвѣчалъ Долинскій.

— Ну, такъ дайте, я васъ поцалую. Она взяла руками его голову и крѣпко поцаловала его въ губы.

— Женщины отсюда братъ не надо. Мы вездѣ найдемъ женскую прислугу, соображалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Ненадо, ненадо, говорила Даша, махая рукой:—ничего не надо. Мы будемъ жить экономно въ двухъ комнатахъ. Можно тамъ найти квартиру въ двѣ комнаты и невысоко?

— Можно.

— Ну, вы будете работать, пишите кореспонденціи, начинайте другую повѣсть. Говорятъ, заграницей хорошо писать о родинѣ. Мне кажется, что это правда. Никогда родина такъ не мила, какъ тогда, когда ее не видишь. Все маленькое, все скверненькое останется, а хорошее встаетъ и рисуется въ памяти. Будете мнѣ читать, что напишите; будемъ марать, поправлять. А я буду лечиться, гулять, дышать теплымъ воздухомъ, смотрѣть на голубое небо, спать подъ горячимъ солнцемъ. Ахъ, вотъ я ужъ, право,

какъ будто чувствую, кажется, какъ я тамъ согрѣюсь, какъ прилетить въ мою грудь струя новаго, ласковаго воздуха. Да скорѣй, скорѣй ужъ, что-ли, везите меня съ этого «милага сѣвера въ сторону южную».

## XVI.

### Дѣло темной ночи.

Черезъ три дня все было готово и на завтра назначенъ выѣздъ. Вечеромъ пили чай въ комнатѣ Даши. О чтеніи никто не думалъ, но всѣ молчали, какъ это часто бываетъ передъ разлукой у людей, которые на прощанье много-много чего-то хотѣли бы сказать другъ другу и не могутъ; мысли разсыпаются, разговоръ не вяжется. Они или не говорятъ вовсе, стараясь *насмотрѣться* другъ на друга, или говорять о пустякахъ, о вздорахъ, объ изломанной ножкѣ у кресла, словомъ обо всемъ, кромѣ того, о чѣмъ бы имъ хотѣлось и слѣдовало говорить. Только опытное, искушенное жизнью ухо съумѣть иногда подслушать въ небрежно-оброненномъ словѣ такихъ разговоровъ цѣлую идею, цѣлую цѣпь идей, толпящихся въ головѣ человѣка, обронившаго это слово. Въ комнатѣ у Даши пробовали-было шутить, пробовали говорить серьзно, но все это неудавалось.

— Пишите чаще, говорила Анна Михайловна, положивъ свою хорошенѣкую голову на одну руку, а другой мѣшая давно остывшій стаканъ чаю.

- Будемъ писать, отвѣчалъ Долинскій.
- Не лѣнитесь пожалуйста.
- Я буду писать акуратно всякую недѣлю.
- Ты наблюдай за нимъ, Даша.
- За Дорушкой за самой нужно наблюдать, отвѣчалъ смѣясь Долинскій.

— Ну, и наблюдайте другъ за другомъ, а главное дѣло, Несторъ Игнатычъ... то, что это я хотѣла сказать?... Да, берегите бога-ради Дору. Старайтесь, чтобы она не скучала, развлекайте ее...

Разговоръ опять прервался. Рано разошлись по своимъ комнатамъ. Завтра въ восемь часовъ нужно былоѣхать, и Дашу раньше уложили въ постель, чтобы она выспалась хорошенѣко, чтобы въ силахъ была провести цѣлый день въ дорогѣ.

Долинскій тоже легъ въ постель, но какъ было еще довольно рано, то онъ не спалъ и просматривалъ новую книжку. Прошелъ

часъ, или два. Вдругъ дверь изъ коридора очень тихо скрипнула и отворилась. Долинскій опустилъ книгу на одѣяло, и внимательно посмотрѣлъ изъ-подъ ладони.

Въ его первой комнатѣ быстро мелькнула бѣлая фигура. Долинскій приподнялся на локоть. Чѣмъ это такое? спрашивалъ онъ себя, не зная, чѣмъ подумать. На порогѣ его спальни показалась Анна Михайловна. Она была въ бѣломъ ночномъ пеньюарѣ, но голова ея еще не была убрана по ночному. При первомъ взглядѣ на ея лицо, видно было, что она находится въ сильнѣйшемъ волненіи, съ которымъ никакъ не можетъ справиться.

— Чѣмъ вы? чѣмъ съ вами? спрашивалъ пораженный ея посѣщеніемъ и ея разстроеннымъ видомъ Долинскій.

— Ахъ, Боже мой! отвѣтила Анна Михайловна, отчаянно заломивъ руки.

— Да чѣмъ же такое? чѣмъ? допрашивался Долинскій.

— Ахъ, не знаю, не знаю... я сама не знаю, проговорила со слезами на глазахъ Анна Михайловна.—Я... ничего... не знаю, зачѣмъ это я кожу... Зачѣмъ я сюда пришла? добавила она съ страданіемъ на лицѣ и въ голосѣ, и опустившись сѣла въ ногахъ Долинскаго и заплакала.

— О чѣмъ? О чѣмъ вы плачете? упрашивалъ ее Долинскій, дрожа самъ и цалуя съ участіемъ ея руки.

— Не знаю сама; я сама не знаю, о чѣмъ я плачу, тихо отвѣтчила Анна Михайловна, и спустя одну короткую секунду, вдругъ вздрогнула — страстно его обняла, и Долинскій почувствовалъ на своихъ устахъ и влажное, и горячее прикосновеніе какого-то жгучаго яда.

— Слушай! заговорила страстнымъ шепотомъ Анна Михайловна.—Я не могу... Ты никого не люби, кромѣ меня... потому, что я очень... я ужасно люблю тебя.

Долинскій дрожащею рукою обнялъ ее за талію.

— Тебя одну, всегда, весь вѣкъ, прошепталъ онъ сохнущимъ языкомъ.

— Мой милый! Я буду ждать тебя... ждать буду, лепетала Анна Михайловна, страстно цалуя его въ глаза, щеки и губы.—Я буду еще больше любить тебя! добавила она съ истерическою дрожью въ голосѣ, и, какъ мокрый вьюнъ, выскользнула изъ рукъ Долинскаго и пропала въ черной темнотѣ ночи.

XVII.

О пять ничего не видно.

Извощица карета, нанятая съ вечера, пріѣхала въ семь часовъ утромъ. Дащу разбудили. Анна Михайловна то бросалась къ самовару, то бралась помогать дѣвушкѣ одѣвать сестру, то входила въ комнату Долинскаго. Взойдетъ, посмотритъ по сторонамъ, какъ будто она что-то забыла, и опять выйдетъ.

— Какъ тебѣ не стыдно такъ тревожиться! говорилъ Долинскій, взглянувъ на нее и покачавъ головой.

— Ахъ! не говори ничего, бога-ради! отвѣчала Анна Михайловна, и махнувъ рукой опять вышла изъ его комнаты.

Чаю напились молча и стали прощаться. Дѣвушки вынесли извощику два чемодана и картонку. Даша целовала дѣвушекъ, и особенно свою «маленькую команду». Всѣ плакали. Анна Михайловна стояла молча, блѣдная, какъ мраморная статуя.

— Прощай, сестра! сказала, наконецъ, подойдя къ ней Даша.

— Прощай! тихо проговорила Анна Михайловна, и начала крестить Дашу.—Лечись, выздоравливай, возвращайся скорѣй, говорила она, целуя сестру за каждымъ словомъ.

Сестры долго целовались, плакали, и наконецъ, поцеловали другъ у друга руки.

Несторъ Игнатьевичъ подошелъ и тоже поцеловалъ ея руку. Онъ не зналъ, какъ ему проститься съ нею при окружавшихъ ихъ дѣвушкахъ.

— Дайте, я васъ перекрещу, сказала Анна Михайловна, улыбнувшись сквозь слезы и положивъ рукою символическое знаменѣ на его лицѣ, спокойно взяла его руками за голову и поцеловала. Губы ея были холодны и дрожали, на рѣсицахъ блестѣли слезы.

Даша вошла первая въ карету, за ней сѣла Анна Михайловна, а потомъ Долинскій съ дорожной сумкою черезъ плечо.

Дѣвушки стояли у дверецъ съ заплаканными глазами и говорили: «прощайте, Дарья Михайловна! Прощайте, Несторъ Игнатьевичъ. Ворочайтесь скорѣе». Дѣвочки плакали, заложа ручонки подъ бумажные шейные платочки, и отирая повременамъ слезы уголками этихъ же платочекъ, ничего не говорили.

Извощику велѣли ѿхать тихо, чтобы не трясло больную. Карета тронулась, дѣвушки еще разъ крикнули: «Прощайте!», а

Даша, высунувшись изъ окна, еще разъ перекрестила въ воздухъ дѣвочекъ и экипажъ завернуль за уголъ.

На станцію пріѣхали вѣ время. Долинскій отправился къ кассѣ купить билеты и сдать багажъ, а Анна Михайловна съ Дащею усѣлись въ уголкѣ на диванъ въ пассажирской комнатѣ. Онѣ обѣ молчали и обѣ страдали. На прекрасномъ лицѣ Анны Михайловны это страданіе отражалось спокойно; хорошенъкое лицо Даши болѣзненно подергивалось, и она кусала до крови свои губки.

Подошелъ Долинскій, и укладывая въ сумку билеты, сказалъ:

— Все готово. Остается всего пять минутъ, добавилъ онъ послѣ коротенькой паузы, взглянувъ на свои часы.

— Дайте мнѣ свои руки! тихо сказала Анна Михайловна сестрѣ и Долинскому.

Анна Михайловна пристально посмотрѣла на путешественниковъ и сказала:

— Будьте, пожалуйста, благоразумны; не обманывайте меня, если случится что дурное; что бы ни случилось—все пишите мнѣ.

— Пожалуйте садиться! крикнулъ кондукторъ, отворяя двери на платформу. Долинскій взялъ сак-вояжъ въ одну руку и подалъ Дашѣ другую. Они вышли вмѣстѣ, а Анна Михайловна пошла за ними. У барьера ее не пустили, и она остановилась противъ вагона, въ который вошли Долинскій съ Дорой. Усѣвшись, они выглянули въ окно. Анна Михайловна стояла прямо передъ окномъ въ двухъ шагахъ. Ихъ раздѣлялъ барьеръ и узенькая проходъ. На глазахъ Анны Михайловны еще дрожали слезы, но она была покойнѣе, какъ часто успокаиваются люди въ самую послѣднюю минуту разлуки.

— Смотри же, Даша, выздоравливай, говорила она громко сестрѣ.

— А ты не грусти, отвѣчала ей Даша.

— Ворочайтесь оба скорѣе! Ахъ, Несторъ Игнатьичъ!—я забыла спросить! что дѣлать съ письмами, которыхъ будутъ приходить на ваше имя?

— Отвѣчай на нихъ сама, сказала Даша.

Даша Михайловна засмѣялась.

Да, право! что тамъ этакими пустяками нарушать наше спокойствіе.

Раздался третій свистокъ; вагоны дернулись, покатились, и исчезли въ густомъ облакѣ сѣраго пара.

Анна Михайловна вернулась домой довольно спокойно—даже она сама не могла надивиться своему спокойствию. Она хлопотала въ магазинѣ, распоряжалась работами, обѣдала вмѣстѣ съ m-lle Alexandrine, и только къ вечеру, когда начало темнѣть, ей стало скучнѣе. Она вошла въ комнату Даши — пусто, вошла къ Долинскому — тоже пусто. Присѣла на его креслѣ и невыносимая тоска, словно какъ нѣжнѣйшій другъ, такъ и обняла ее изъ-за мягкой спинки. Въ глазахъ у Анны Михайловны затуманилось и зарябило.

«Какое дѣтство!» подумала она, и поспѣшно отерла слезы.

Такъ просидѣла она здѣсь больше двухъ часовъ, молча, спокойно, не сводя глазъ съ окна, и ей все становилось скучнѣе, и скучнѣе. Одиночество сухимъ чучеломъ выростало въ холодномъ полумракѣ белѣсоватой полярной ночи, въ которую смотришь не то какъ въ день, не то какъ въ ночь, а будто вотъ глядишь по какой-то обизанности въ сѣдую грудь сонной совы. Анна Михайловна пошла въ кухню, позвала кухарку и дѣвочекъ. Съ ними она отставила шкафъ отъ дверей, соединявшихъ ея комнату съ комнатой Долинского, отставила комодъ отъ дверей, соединявшихъ ея спальню съ спальню Даши, отворила всѣ эти двери и долго-долго ходила вдоль открывшейся анфилады.

Была уже совсѣмъ поздняя ночь. Луна свѣтила во всѣ окна, и Аннѣ Михайловнѣ не хотѣлось оставаться ни въ одной изъ трехъ комнатъ. Тутъ она лелѣяла красавицу Дору и завивала ея локоны; тутъ онъ, съ слезами въ голосѣ, разсказывалъ ей о своей тоскѣ, о сухомъ одиночествѣ; а тутъ... Сколько надѣя собою выказано силы, сколькоуваженія къ ней? Сколько времени чистый потокъ этой любви не мутился страстью, и... и зачѣмъ это онъ не мутился? Зачѣмъ онъ не замутился... И какой онъ... странный человѣкъ, право!...

Наконецъ, далеко за полночь Анна Михайловна устала; ноги болѣли и голова тоже. Она поправила лампаду передъ образомъ въ комнатѣ Даши, и посмотрѣла на ея постельку, задернутую чистымъ, бѣлымъ пологомъ, потомъ вошла къ себѣ, бросила блузу, подобрала въ ночной чепецъ свою черную косу и новилась у своей постели. Очень скучно ей здѣсь показалось.

— Тоска! произнесла про себя Анна Михайловна, и прошла въ комнату Долинского.

Здѣсь было также пусто и невесело. Анна Михайловна взяла подушку, бросила ее на диванъ и на свѣту тревожно заснула.

Много грезилось ей чего-то страшного, беспокойного, и въ восемь часовъ утра она проснулась, держа у груди обнятую во снѣ подушку.

Вставши, Анна Михайловна принялась за дѣло. Въ комнатѣ Нестора Игнатьевича и Даши все убрала, но все оставила въ старомъ порядке. Казалось, что жильцы этихъ комнатъ только что вышли пройтись по Невскому проспекту.

Время Анны Михайловны шло скоро. За безпрестанной работой она не замѣчала, какъ дни бѣжали за днами. Письма отъ Даши и Долинского начали приходить акуратно и Анна Михайловна была спокойна насчетъ путешественниковъ.

Сама она никуда почти не выходила, и у нея никто почти не бывалъ иначе, какъ по дѣлу. Только не забывалъ Анну Михайловну одинъ Илья Макаровичъ Журавка, котораго, впрочемъ, въ этомъ домѣ никто и не считалъ гостемъ.

---



## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ.**

849078 DT3AP

## I.

### МАЛЕНЬКІЙ ЧЕЛОВѢКЪ СЪ ПРОСТОРНЫМЪ СЕРДЦЕМЪ.

Въ этомъ романѣ, какъ читатель могъ видѣть судя по первой части, все будуть люди очень маленькие— до такой степени маленькие, что авторъ считаетъ своею обязанностью еще разъ предупредить объ этомъ читателя зѣгодя. Пусть читатель не ожидаетъ встрѣтиться здѣсь, ни съ героями русскаго прогресса, ни съ свирѣпыми ретроградами. Въ романѣ этомъ не будетъ ни уѣздныхъ учителей, открывающихъ дешевыя библиотеки для безграмотнаго народа, ни мужей, выдающихъ субсидіи любовникамъ своихъ сбѣжавшихъ женъ, ни гвоздевыхъ постелей, на которыхъ какъ-то умѣютъ спать образцовые люди, ни самодуровъ отцовъ, спеціально занимающихся угнетенiemъ геніальныхъ дѣтей. Все это уже описано, описывается и вѣроятно еще, всему этому пока не конецъ. Еще на дняхъ новая книжка одного пе-  
ріодического журнала вынесла на свѣтъ повѣсть, гдѣ снова дѣйствуетъ такой *организмъ*, который материнское молоко чуть не отравило, который чуть не запороли въ училищѣ, но который все-таки выкорабкался, открылъ библиотеку, и сейчасъ поскорѣе посѣдѣлъ, сталъ топить горе въ водкѣ и далъ себѣ зарокъ не носить новыхъ сапогъ, а всегда съ заплатками. Благородный *организмъ* этотъ развиваетъ женщинъ, говорить самыя ехидныя рѣчи, и все-таки сознаетъ, что онъ пришелъ въ свѣтъ не вѣ-время; что даже и при немъ у знакомаго этому *организму* лакея *наспомыя* все-таки *могутъ отѣстъ голову*. Таковы были его рѣчи.

Ни уѣзднаго учителя съ библиотекою для безграмотнаго народа, ни сѣдого въ тридцать лѣтъ женскаго развивателя, ни образцового безсребренника, словомъ— ни одного гражданскаго ге-

роя здѣсь не будетъ; а будуть люди съ слабостями, *люди дурнаго воспитанія*. И потому кто хочетъ слушать что-нибудь про тирановъ, или про героевъ, тому лучше далѣе не читать этого романа; а кто и за симъ не утратить желанія продолжать чтеніе, такого читателя я долженъ просить о небольшомъ вниманіи къ маленькому человѣчку, о которомъ я непремѣнно долженъ здѣсь кое-что поразсказать.

Самый проницательный изъ моихъ читателей будетъ тотъ, который отгадаетъ, что выступающій маленький человѣчекъ есть не кто иной, какъ старый нашъ знакомый Илья Макаровичъ Журавка.

Несмотря на то, что мы давно знакомы съ художникомъ по нашему разсказу, здѣсь будетъ нелишнимъ сказать еще пару словъ о его теплой личности. Илья Макаровичу Журавкѣ было лѣтъ около тридцати-пяти; онъ былъ бѣлокуръ, съ горбатымъ тонкимъ носомъ, очень выпуклыми близорукими глазами, довольно окладистой бородкой и такимъ курьѣзнымъ ротикомъ, что мало привычный къ нему человѣкъ, глядя на собранныя губки Ильи Макаровича, все ожидалъ, что онъ вотъ-вотъ сейчасъ свиснетъ.

Илья Макаровичъ былъ чистый хохоль до самой невозможной невозможности. Онъ не только не хотѣлъ зарабатывать новаго карбованца, пока у него въ карманѣ былъ еще хоть одинъ старый, но даже при видѣ сала или колбасы способенъ былъ забывать о цѣломъ мірѣ, и чувствуя свою несостоятельность оторваться отъ сѣдомаго, говоривалъ: «а возмѣть, будѣтъ ласковы, або ковбасу отъ менѣ, або менѣ отъ ковбасы, а то або я ни зѣмъ, або вонѣ менѣ зѣистъ». Но, несмотря на все чистокровное хохлачество Ильи Макаровича, судьба выпустила его на свѣтъ съ самой бѣлокурѣйшей нѣмецкой физіономіей. Физіономія эта была для Журавки самой несносной обидой, ибо по ней его безпрестанно принимали за нѣмца и начинали говорить съ нимъ понѣмецки тогда, какъ онъ относился къ доброй нѣмецкой расѣ съ самымъ глубочайшимъ презрѣніемъ и объяснялся понѣмецки непозволительно гадко. Ходилъ на острову такой анекдотъ, что будто работалъ что-то такое въ дрезденской галереѣ, Журавка хотѣлъ объяснить своему професору несовершенства нарисованной гдѣ-то собаки и заговорилъ:

— Herr Professor... Hund...

— Bitte sehr halten sie mich nicht fr einen Hund, отвѣчать професоръ.

— Aber ist sehr schlechter Hund... Professor, поправлялся и выяснялъ Илья Макаровичъ.

Снисходительное великолдуше нѣмецкаго професора изсяло; онъ поднялъ свой тевтонскій клювъ и произнесъ съ важностью: Ich hõre Sie mich zum zehnten mal Hund nennen; erlauben sie endlich, dass ich kein Hund bin!

Илья Макаровичъ покраснѣлъ, задвигалъ на носу свои очки и задумалъ-было въ тотъ же день уѣхать отъ нѣмцевъ.

Но, на несчастье свое, этотъ маленький человѣкъ имѣлъ слабость, свойственную многимъ даже и очень великимъ людямъ: это—слабость подвергать свои рѣшенія, составленныя въ пылу негодованія, долгому позднѣйшему раздумыванію и передумыванію. Очень многихъ людей это вредное обыкновеніе отъ одного тяжелаго горя вело къ другому, гораздо большему, и оно же съиграло презлую шутку съ Ильею Макаровичемъ.

Журавка, огорченный своимъ пасажемъ съ нѣмецкимъ языкомъ у професора, прогулялся за-городъ, напился гдѣ-то въ форштадтѣ пива и, успокоясь, возвращался домой, съ новою рѣшимостью уже неѣхать отъ нѣмцевъ завтра же, а прежде еще докончить свою копію, и тогда точтасъ же уѣхать съ готовой работой. Идетъ этакъ Илья Макаровичъ по улицѣ, такъ-сказать, нѣсколько примиренный съ нѣмцами и успокоенный—а ужь огни вездѣ были зажжены, и видитъ—маленькая парикмахерская, и сидѣть въ этой парикмахерской прехорошенькая нѣмочка. А Илья Макаровичъ, хоть и не любилъ нѣмцевъ, но бѣлокуренькія нѣмочки, съ лицами Гретхенъ и съ руками колбасницъ нашей Гороховой улицы, все-таки дощупывались до его художественнаго сердца.

Журавка остановился подъ окномъ и смотрѣть, а Гретхенъ все сидѣть, и дѣлаетъ частые штычки своей иголочкой, да нѣтъ-нѣтъ, и подниметъ свою головку съ русыми кудерьками и голубыми глазками.

— Ахъ, ты шельменокъ ты этакой; какіе у нея глазенки, думаетъ художникъ.—Отлично бы было посмотрѣть на нее ближе. А какъ на тотъ грѣхъ, дверь изъ парикмахерской вдругъ отворилась у Ильи Макаровича подъ самымъ носомъ и высокій сѣй нѣмецъ съ физіономіей королевско-прускаго вахмистра высунулся и сердито спрашивается: Was wollen Sie hier, mein Herr?

«Чортъ бы тебя побралъ!» подумалъ Журавка, и вмѣсто того, чтобы удирать, остановился съ вопросомъ:

— Я полагаю, что здѣсь можно остречься?

Ильѣ Макаровичу вовсе не было никакой необходимости стричься, потому что онъ, какъ художникъ, носилъ длинную гривку, составлявшую, до введенія въ Россійской Имперіи нигилистической ереси, исключительную привилегію василеостровскихъ художниковъ. И нужно вамъ знать, что Илья Макаровичъ такъ дорожилъ своими лохмами, что не разстался бы ни съ однимъ вершкомъ ихъ ни за какие крендели; берегъ ихъ, какъ невѣста свою дѣвичью честь.

Но не бѣжалъ же было въ самомъ дѣлѣ Ильѣ Макаровичу отъ нѣмца! Впервыхъ, это ему показалось нечестнымъ (проклятая щепетильность!), а во вторыхъ, вѣдь и чортъ его знаетъ, чѣмъ такой вахмистръ можетъ швырнуть въ догонку.

— Чортъ его возьми совсѣмъ! — подстригусь немножко. Немножко только—совсѣмъ немножко, этвасъ... бисхенъ, лепеталь онъ заискивающимъ списхожденія голосомъ, идучи вслѣдъ за нѣмцемъ и уставляясь глазами на Гретхенъ.

Нѣмецъ посадилъ Илью Макаровича такъ, что онъ могъ вполнѣ наслаждаться созерцаніемъ своей красавицы, и вооружился гребенкой и ножницами.

— Wie befehlen Sie Ihnen die Haare zu schneiden, mein Herr? спросилъ пунктуальный нѣмецъ.

— Ja, bitte, твердо отвѣчалъ Илья Макаровичъ, не сводя глазъ съ шыющей Гретхенъ.

— Nichts über dem Kamm soll bleiben? спросилъ нѣмецъ снова.

Илья Макаровичъ не понялъ, и сильно сконфузился: не хотѣлось ему сознаться въ этомъ при Гретхенъ.

— Ja, отвѣчалъ онъ наугадъ, чтобы отвязаться.

— Oder nichts fr den Kamm? пристаетъ опять вахмистръ, не приступая къ своей работе.

«Чортъ его знаетъ, что это такое значить», подумалъ Журека, чувствуя, что его всего бросило въ краску и на лбу выступаетъ потъ.

— Ja, махнулъ онъ на смѣлость.

— Nichts über den Kamm, oder nichts fr den Kamm?

«Oder» и «oder» показали Ильѣ Макаровичу, что тутъ однимъ *ja* не отдѣлаешься.

«Была, не была», подумал онъ, и смѣло повторилъ послѣднюю часть нѣмцевой фразы: «Nichts f眉r den Kamm!»

Нѣмецъ откашлялся, съ особеннымъ чувствомъ, съ трескомъ высморкался въ синій бумажный платокъ гамбургскаго изготавленія и пріятельскимъ тономъ дорф-барбира произнесъ:

— Ich werde sie Ihnen ganz akkurat schneiden.

По успокоительному тону, которымъ были произнесены эти слова, Илья Макаровичъ сообразилъ, что лингвистическая пытка его кончается. Онъ съ одобряющей миной отвѣчалъ твердо:

«Recht wohl!, и ничѣмъ несмущаемый, началъ опять любоваться своей Далилой.—Да, это была новая Далила, глядя на которую, нашъ Самисонъ не замѣчалъ, какъ жречески священномѣдѣйствовавшій нѣмецъ прибралъ его *ganz akkurat* до самаго чепца. Илья Макаровичъ все смотрѣлъ на свою Гретхенъ и не замѣчалъ, что ножницы ея отца снесли съ его головы всю ёго художническую красу. Когда Журавка взглянула въ стоявшее передъ нимъ зеркало, онъ даже не ахнулъ, но только присѣлъ книзу. Онъ былъ остиженъ подъ щотку, такъ что еслибы плюнуть на ладонь и хлопнуть Илью Макаровича по маковкѣ, то за стѣною можно бы подумать, что нѣмецъ поцарапалъ его въ темя.

— Sehr h眉bsch! Sehr akkurat! произнесъ нѣмецъ, окончивъ свое жреческое священномѣдѣйствіе и отходя полюбоваться издали своей работой.

Илья Макаровичъ всталъ, заплатилъ бѣлокурой Далилѣ пять зильбергрошей и бросился домой опрометью. Шляпа вертѣлась на его оголенной головѣ и безпрестанно напоминала ей о ея неслыханномъ въ василеостровской академіи позорѣ.

— Нѣть, я вижу, нѣчего тутъ съ этими чертами дѣлать! рѣшилъ Илья Макаровичъ, и на другой же день бросилъ свою копію и уѣхалъ отъ нѣмцевъ въ Италію, но уѣхалъ, увы! не съ художественной гривкой, а съ форменной стрижкой прусскаго рекрута.

Бѣдный Илья Макаровичъ стыдился убѣжать отъ нѣмца, а долженъ былъ болѣе полугода безстыдно лгать, что у него было воспаленіе мозга.

Характеръ у Ильи Макаровича былъ необыкновенно живой и непостоянны; легкость въ мысляхъ, какъ говорилъ Хлестаковъ, необыкновенная; ко всему этому скорость, сердечность и добро-

та безграницная. Илья Макаровичъ выше всего на свѣтѣ ставилъ дружбу и товарищество. Для друга и товарища онъ былъ готовъ идти хоть въ огонь и въ воду. Однако, Илья Макаровичъ былъ очень обидчивъ, и только одна Дора владѣла секретомъ растранивать его, соблюдая мѣру, чтобы не переходить его терпѣнія. Отъ другихъ же Илья Макаровичъ всѣмъ очень скоро и очень легко обижался, но сердился рѣдко и обыкновенно довольно жалостнымъ тономъ, говорилъ только: «ну, да-да, я знаю, что я смѣшонъ; но есть люди и смѣшнѣй меня, да надѣ ними не смѣются». Въ жизни онъ былъ довольно смѣшной человѣкъ. По суетливости и легкости въ мысляхъ, онъ, напримѣръ, вдругъ воображалъ себя механикомъ, и тутъ въ его квартирѣ сейчасъ же появлялся верстакъ, чертежи, циркуль; потомъ, словно по какому-то волшебному мановенію, все это вдругъ исчезало, и у Ильи Макаровича являлось ружье за ружьемъ, англійскій штуцеръ за штуцеромъ, старинный самопаль и, наконецъ, барочная, мѣдная пушка. Обзаводясь этимъ арсеналомъ, Илья Макаровичъ воображалъ себя Дирслейеромъ, или Ласкаро. Какъ зачарованный швабскій поэтъ, сидѣлъ онъ скривясь мопсомъ, чистилъ и смазывалъ свои смертоносныя оружія, лиль изъ свинца разнокалиберные пули и все собираясь на какую-то необыкновенную охоту. Охоты эти, впрочемъ, оканчивались всегда пальбою въ цѣль на смоленскомъ полѣ, или подстрѣливаньемъ воронъ, печально скитающихся по заживо умершимъ деревьямъ, которыхъ торчать за смоленскимъ кладбищемъ. Ружья и самопалы у Ильи Макаровича разновременно получали, одно передъ другимъ, то повышеніе въ чинахъ, то пониженіе.

— Это подлое ружъенко, говорилъ онъ насчетъ какогонибудь ружья, къ которому начиналъ имѣть личность за то, что не умѣлъ пригнать пулю къ его калибру—и опальное ружье тотчасъ теряло тесменный пагонъ и презрительно ставилось въ уголь.

Илья Макаровичъ кипятился непомѣрно, и ругался съ ружъенкомъ на чемъ свѣтѣ стоить.

— А этотъ штуцеришко бардzo добрый! весь сіяя отзывался онъ въ другой разъ о штуцерѣ, механизмъ котораго дался ему разгадать себя съ первого раза. И добрый штуцеришко внезапно же получалъ красивую полосу экипажнаго басона, и вѣшался на стѣнѣ надъ кроватью Ильи Макаровича.

Разъ Илья Макаровичъ купилъ случайно пару орловъ и одного коршуна и рѣшился заняться приученiemъ хищныхъ птицъ. Птицы были посажены въ желѣзную клѣтку и приученіе ихъ началось съ того, что коршунъ разодралъ Илью Макаровицу руку. Вслѣдствіе этого несчастнаго обстоятельства, Илья Макаровичъ возьмѣль къ коршуну такую же личность, какую онъ имѣль къ своему ружью, и все приученіе ограничивалось тѣмъ, что онъ не оказывалъ никакого вниманія своимъ орламъ, но за то коршуна раза три въ день принимался толкать линейкой.

— Нѣть, она понимаетъ, подлая птица, говорилъ онъ людямъ, увѣщевавшимъ его прекратить бесполезную личность къ коршуну.— О! о! видите, якъ тулястся подлецъ по клѣткѣ! указывалъ онъ на бѣдную птицу, которая искала какого нибудь убѣжища отъ преслѣдующей ее линейки.

Въ Италии Илья Макаровицъ обзавелся итальянкой, м-me Луизой, тоже по скорости и по легкости мыслей, представлявшихъ ему въ итальянкахъ какихъ-то особенныхъ, художественныхъ существъ. Не прошло года, какъ Илья Макаровичъ возьмѣль иѣ, которую личность и противъ своей Луизы; но съ Луизой было не такъ легко справиться, какъ съ ружьемъ, или съ коршуномъ. Илья Макаровицъ было-заегозился, только вскорѣ осѣль и замолкъ. Синьора Луиза была высока, изжелта смугла, съ очень хорошими черными глазами и весьма неизящными длинными зубами. Характеръ у нея былъ смѣлый, язвительный и сварливый. Большинство людей, знавшихъ семейный бытъ Журавки, во всѣхъ домашнихъ непріятностяхъ болѣе обвиняли синьору Луизу, но въ существѣ п синьора Луиза никакъ не могла ужиться въ ладу съ Ильею Макаровицемъ. Въ ладу съ нимъ могла бы жить женщина добрая, умная и снисходительная, которая умѣла бы ни плесть всякое лыко въ строку и проходить мимо его смѣшныхъ сторонъ съ веселой шуткой, а не съ высокомѣрной доктриной и не здовитымъ шипѣнiemъ. Конечно, синьорѣ Луизѣ бывало не очень весело, когда Илья Макаровичъ послѣдній рубль, нужный завтра на базаръ, употреблялъ на покупку орловъ да коршуновъ, или вдругъ, ни уха ни рыла не смысля въ музыкѣ, обзаводился скрипкой и начинать нарѣзывать на ней лазаревскіе концерты; но все же она слишкомъ обижала художника и неделикатно стѣсняла его свободу. По крайней-мѣрѣ, она дѣлала это такъ, какъ нравственно развитая и умная женщина ни за что бы эн сдѣлала.

— Надъ Ильею Макаровичемъ нельзя иногда не смѣяться, но огорчать его за его наивность очень неблагородно, говорила Дора, когда заходила рѣчь о художнике.

Синьора Луиза недолюбливала ни Анну Михайловну, къ которой она ревновала своего сожителя, ни Дору, которая обыкновенно не могла удерживаться отъ самаго веселаго смѣха, когда итальянка съ отчаянiemъ рассказывала о какомъ нибудь новомъ сумасбродствѣ Ильи Макаровича. Не смѣяться надъ этими рассказами точно было невозможно, и Дора не находила ничего ужаснаго въ томъ, что Илья Макаровичъ, напримѣръ, являлся домой съ какимъ нибудь трехрублевымъ полированымъ столикомъ; два или три дня онъ обдувалъ, обтиралъ этотъ столикъ, не позволяя къ нему ни притрогиваться, ни положить на него что-нибудь—и вдругъ этотъ же самый столикъ попадалъ въ немилость: Илья Макаровичъ вытаскивалъ его въ переднюю, ставилъ на немъ сушить свои калоши, или начиналъ стругать на немъ разныя палки и палочки. Дора сама была разъ свидѣтельницей, какъ Илья Макаровичъ оштрафовалъ своего грудного ребёнка. Ребёнокъ захотѣлъ груди, и въ отсутствіи синьоры Луизы раскричался, чтò называется, благимъ матомъ. Илья Макаровичъ урезонивалъ его тихо, потомъ сталъ кипятиться, началъ угрожать ему розгамъ, и вдругъ, вынувъ его изъ колыбели, положилъ на подушкѣ въ уголъ.

Даша расхохоталась.

— Нѣтъ, его надо проучить, оправдывался художникъ.—О! о! о! вотъ-вотъ видите! Нѣтъ, не бойтесь, оно, шельмовское дитя, все понимаетъ, говорилъ онъ Дорѣ, когда ребёнокъ замолчалъ, уставя удивленные глазки въ пестрый карнизъ комнаты.

Дора взяла наказанного ребёнка, и положила обратно въ колыбель, и никогда не переставала преслѣдоватъ Илью Макаровича этимъ его обдуманнымъ поступкомъ.

Болѣе всего у Ильи Макаровича стычки происходили за дѣтей. На Илью Макаровича иногда находило неотразимое стремленіе заниматься воспитанiemъ своего потомства, и тотчасъ двухлѣтняя дѣвочка опредѣлялась къ растиранію красокъ, трехлѣтній сынъ плавилъ свинецъ и долженъ былъ отливать пули, или изучать механизмъ добра го штуцера; но синьора Луиза поднимала бунтъ и воспитаніе дѣтей немедленно же прекращалось.

Илья Макаровичъ въ качествѣ василеостровскаго художника также не прочь былъ выпить въ пріятельской бесѣдѣ, и не прочь

поподчивать пріятелей чѣмъ Богъ послалъ дома, но синьора Луиза смотрѣла на все это искоса и дѣлала Илью Макаровичу сцены немилосердныя. Такою рѣшительною политикою синьора Луиза, однако, вполнѣ достигла только одного, чего обыкновенно легко достигаютъ сварливыя и ревнивые женщины. Илья Макаровичъ совсѣмъ пересталъ ее любить, сталъ искусно скрывать отъ нея свои маленькия шалости, чаще началь бѣгать изъ дома и пересталъ хвалить итальянокъ. Дѣтей своихъ онъ любилъ до сумашествія и каждый годъ хоть по сту рублей кладъ для нихъ въ сохранную казну. Кромѣ того, онъ давно застраховалъ въ трехъ тысячахъ рублей свою жизнь и тщательно вносилъ ежегодную премію.

На сердце и нравъ Ильи Макаровича синьора Луиза не имѣла желаемаго вліянія. Онъ оставался попрежнему безпardonно добрымъ «товарищескимъ» человѣкомъ и всѣ его знакомые очень любили его попрежнему. Анну Михайловну и Дорушку онъ тоже попрежнему считалъ своими первыми друзьями и готовъ былъ для нихъ хоть лечь въ могилу. Илья Макаровичъ всегда рвался усугубить имъ, и не было такой услуги, на которую бы онъ не былъ готовъ, хотя бы эта услуга и далеко превосходила всѣ его силы и возможность.

Этотъ-то Илья Макаровичъ въ цѣломъ многолюдномъ Петербургѣ оставался единственнымъ человѣкомъ, который зналъ Анну Михайловну болѣе, чѣмъ всѣ другіе, и имѣлъ право называться ея другомъ.

## II.

### ТЕМНЫЯ ПРЕДЧУВСТВІЯ.

Былъ пыльный и душный вечеръ. Илья Макаровичъ зашелъ къ Аннѣ Михайловнѣ съ синьорой Луизой и засидѣлись.

— Что это вы, Анна Михайловна, такія скучны стали? спросилъ поглядѣвъ на часы художникъ.

— Чѣмъ, Илья Макаровичъ, я стала скучна? спросила Анна Михайловна.

— Да вотъ десять часовъ, а вы и водченки не дадите.

— Que diu? спросила итальянка, строго взглянувъ глазами на своего сожителя.

Илья Макаровичъ дмухнулъ два раза носомъ и пробурчалъ что-то съ весьма рѣшительнымъ выраженіемъ.

— Вотъ срамъ! Какая я въ самомъ дѣлѣ невнимательная! сказала Анна Михайловна, поднявшись и идя къ двери.

— Постойте! постойте, крикнулъ Илья Макаровичъ:—я вѣдь это такъ спросилъ. Если есть, такъ хорошо, а нѣтъ—и не нужно.

— Постойте, я посмотрю въ шкафъ.

— Пойдемте вмѣстѣ, крикнулъ Илья Макаровичъ, и засемениль за Анной Михайловной.

Въ шкафѣ нашлось немного водки, въ графинчикѣ, который ставили за столъ при Долинскомъ.

— Вотъ и отлично, сказалъ художникъ.—Теперь бы кусочекъ чего нибудь.

— Да вы идите въ мою комнату — я велю туда подать, чтõ найдутъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ хлопотать? ненадо! ненадо. Вотъ это, чтõ у васъ въ банкѣ?

— Грибы.

— Маринованные! Отлично. Я вотъ грибченковъ закупшу.

Илья Макаровичъ, тутъ же стоя у шкафа, выпилъ водички и закусиль грибченкомъ.

— Хотите еще рюмченку? сказала Анна Михайловна, держа въ рукахъ графинъ съ остаткомъ водки.—Пейте, чтобы ужъ зла не оставалось въ домѣ.

Илья Макаровичъ мыкнулъ въ знакъ согласія и, показавъ чрезъ плечо рукою на дверь, за которую осталась его сожительница, покачалъ головою и помоталъ въ воздухѣ пальцами.

Анна Михайловна разсмѣялась, какъ умѣютъ смѣяться однѣ женщины, когда хотятъ, чтобы не слыхали ихъ смѣха, и вылила въ рюмку остатокъ водки.

— За здоровье отсутствующихъ! возгласилъ Илья Макаровичъ.

— Да пейте, безтолковый, скорѣй! отвѣчала шопотомъ Анна Михайловна, тихонько толкнувъ художника подъ руку.

Журавка какъ будто спохватился, и разомъ выливъ въ ротъ рюмку, чуть-было не поперхнулся.

— А грибченки бардzo добрые, заговорилъ онъ, громко откашливаясь за каждымъ слогомъ.

Анна Михайловна, закрывъ ротъ батистовымъ платкомъ, смѣялась отъ всей души, глядя на «свободнаго художника, потерявшаго свободу».

— Ахтительный грибченки, говорилъ Илья Макаровичъ, входя

въ комнату, гдѣ оставалась его итальянка. Синьора Луиза стояла у окна и смотрѣла на стѣнусосѣднаго дома.

— Пора домой, сказала она, не оборачиваясь.

— Ту минуту, ту минуту. Вотъ только сверну сигареточку, отвѣчалъ художникъ, доставая изъ кармана табакъ и папиросную бумажку.

Анна Михайловна вошла и положила ключи въ карманъ своего платья и сѣла.

— Чего вы торопитесь? спросила она пофранцузски.

— Да вонъ, синьора приказываетъ, отвѣчалъ порусски и пожимая плечами Илья Макаровичъ.

— Пора, дѣти скучать будутъ. Не улягутся безъ меня, отвѣчала синьора Луиза.

— А что-то нашъ Несторушка теперь подѣлываетъ? спросилъ Илья Макаровичъ, котораго двѣ рюмченки видимо развеселили.

— А Богъ его знаетъ, вздохнувъ отвѣчала Анна Михайловна.

— Теперь хорошо въ Италии!

— Да, я думаю.

— А у насъ-то какая дрянь! бррр! Колоритъ-то! колоритъ-то! Экая гадость. А пишутъ они вамъ?

— Вотъ только десятый день что-то нѣтъ писемъ, и это меня очень тревожитъ.

— Не случилось ли чего съ Дарьей Михайловной?

— Богъ-знаетъ. Писали, что ей лучше, что она почти совсѣмъ здорова и ни на что не жалуется, а вирочемъ всего надумаешься.

— Не влюбился ли Несторушка въ итальяночку какую? посмѣиваясь, и потирая руки, сказалъ художникъ.

Анна Михайловна слегка смѣшалась, какъ человѣкъ, котораго поймали на самой сокровенной мысли.

— Чѣмъ жъ, очень умно сдѣлаеть. Пусть себѣ влюбляется хоть и не въ итальянку, лишь бы былъ счастливъ, проговорила она съ самымъ спокойнымъ видомъ.

— Нѣть, Анна Михайловна! на свѣтѣ нѣть лучше женщинъ, какъ наши русскія, сказалъ вздохнувъ Журавка.

— Въ самомъ дѣлѣ? спрашивала его, улыбаясь, Анна Михайловна.

— Да, право! Гдѣ всѣмъ этимъ *тамъянкамъ* до нашей до русской! Наша русская какъ полюбитъ, такъ и пригрѣбѣть, и приголубить, и пожалѣть, а это все...

— Qua? спросила синьора Луиза, услыхавъ нѣсколько разъ повторенное слово «итальянка».

— Квакай, матушка, отвѣчалъ Илья Макаровичъ, и безъ того недовольный тѣмъ, что его почти насильно уводятъ домой.— Начуясь говорить порусски, да тогда и квакай; а то капусту выучилась єсть вмѣсто апельсинъ, а говорить въ пять лѣтъ не выучилась. Ну, прощайте, Анна Михайловна! добавилъ онъ, взявъ шляпу и подавъ свернутую кренделемъ руку подругѣ своей жизни.

Анна Михайловна подала руку Ильѣ Макаровичу и поцаловала синьору Луизу, оскалившую при семъ случаѣ свои длинные зубы, закусившіе русскаго маэстро.

— Колоритъ-то, колоритъ-то какой! говорилъ Журавка, вертясь передъ окномъ передней.— Буря, кажется, будетъ.

Ему смерть не хотѣлось идти домой.

Анна Михайловна улыбнулась и сказала:

— Да, въ одинадцатой линіи, какъ говоривалъ Несторъ Игнатичъ, того и гляди, что къ ночи соберется бура.

— Да, съострилъ, шельмецъ—чтобъ ему самому вымокнуть.

— Будетъ съ него, батюшка мой, и того, чтò было.

Итальянкѣ наскучилъ этотъ разговоръ и она незамѣтно толкнула Журавку локтемъ.

— Сейчасъ, матушка! отвѣчалъ онъ, и обратясь къ Аннѣ Михайловнѣ, спросилъ: — а что, барыня-то его бомбардируетъ?

— Нѣтъ, теперь, слава-богу не пишеть — успокоилась. Анна Михайловна лгала.

— Экая егарма! сказалъ Журавка, дмухнувъ носомъ.

— Вотъ вамъ и русская.

— Кой-чортъ это русская! Вы вотъ русская, а это чортъ, а не русская.

— Идите ужъ, полно толковать, сказала Анна Михайловна, видя, что итальянка сердится и нѣсколько разъ еще толкнула локтемъ Журавку, который не замѣчалъ этого, слагая свой панегирикъ нѣкогда сильно захаянной имъ русской женщинѣ. — Идите, а то того и гляди, что громъ грянетъ и перекреститься не успѣете.

Журавка махнула рукой и потащилъ за двери свою синьору; а Анна Михайловна, проводивъ гостей, вошла въ комнату Долинскаго, сѣла у его стола, придинула къ себѣ его большую фотографію и сидѣла какъ окаменѣла, не замѣчая какъ бѣлобрюхой,

холодной жабой проползала надъ угрюмыми, каменными массами столицы безстыдно-наглая, петербургская лѣтняя ночь.

Часто Аннѣ Михайловнѣ выпадали такія ночи, и такъ тянулось до осени. Письма изъ-за границы начали приходить все какъ-то рѣже. Сначала вмѣсто двухъ писемъ въ недѣлю, Анна Михайловна стала получать по одному, а тамъ письмо являлось только разъ въ двѣ недѣли, и даже еще рѣже. И всѣ письма эти стали казаться Аннѣ Михайловнѣ какъ-то странными. Долинскій извѣщалъ въ нихъ, что Дорушкѣ лучше, что Дорушка совсѣмъ почти выздоровѣла, а тамъ говорилъ что-то о хорошей итальянской природѣ, о русскихъ за-границей, а о себѣ никогда ни слова. Дорушка же только дѣлала приписки подъ его письмами и то не всегда. «Что это значитъ?» думала Анна Михайловна: «Дорушкѣ лучше, Дорушка почти здорова и отъ Дорушки не добѣшься слова. Неужто же она меня разлюбила? Неужто Долинскій забылъ меня? Неужто они оба»... Анна Михайловна блѣдила отъ своихъ догадокъ и ужасно страдала, но письма въ Италію писала ровныя, теплыя, безъ горечи и упрека. Она не писала имъ ни чаще, ни рѣже, но всякое воскресенье своими руками аккуратно бросала одно письмо въ заграничный ящикъ. Иногда вся сила ея надъ собою истощалась; горячая натура брала верхъ надъ разумомъ, и Анна Михайловна хотѣла завтра же взять паспортъ и летѣть въ Ницу, но безсонная ночь проходила въ размышленіяхъ и утромъ Анна Михайловна говорила себѣ: «зачѣмъ? къ чому? — Чему быть, тому ужъ не миновать», прибавляла она въ раздумье. Такъ все и ползло и лѣзло скучное время.

### III.

#### Шпилька.

Передъ новымъ годомъ у Анны Михайловой была куча хлопотъ. Отъ заказовъ некуда было дѣваться; мастерицы работали рукъ не покладывая; а Анна Михайловна немножко поблѣдила и сдѣлалась еще интереснѣе. Въ темно-коричневомъ шерстяномъ платьѣ, подъ самую шею, перетянутая по талии чернымъ шелковымъ поясомъ, Анна Михайловна стояла въ своемъ магазинѣ съ утра до ночи, и съ утра до ночи можно было видѣть на противоположномъ тротуарѣ не одного, такъ двухъ, или трехъ зѣвакъ, любовавшихся ея фигурою.

— Еслибъ я была хоть въ половину тафъ хороша, какъ эта дура, разсуждала съ собою m-lle Alexandrine, глядя презрительно на Анну Михайловну:—что бы я только устроила... Tiens. Oui! oui... une petite maisonette et tout ça...

Анна же Михайловна, разумѣется, ко всѣмъ поклоненіямъ своей красотѣ оставалась совершенно равнодушною.

Она держала себя съ большимъ достоинствомъ. Съ такимъ тактомъ встрѣчала она своихъ то надменныхъ, то суетливыхъ заказчицъ, такъ ловко и такими парижскими оборотами отпарировала всякое покушеніе бомонда потретировать модистку съ высоты своего величія, что засмотрѣться на нее было можно.

Въ одинъ изъ такихъ дней магазинъ Анны Михайловны былъ полонъ существами, обсуждавшими достоинство той и другой шляпки, той и другой мантильи. Анна Михайловна терпѣливо слушала пустые вопросы и отвѣчала на нихъ со вниманіемъ, щадя пустое самолюбіе и смѣшныя претензіи. Въ часъ въ дверь вошелъ почтальонъ. Письмо было изъ-за границы; адресъ надписанъ Дащею.

— Je vous demande bien pardon, je dois lire cette lettre immédiatement, сказала Анна Михайловна.

— Oh! je vous en prie, lisez! Faîtes moi la grâce de lire! отвѣчала ей гостья.

Анна Михайловна отошла къ окну и поспѣшило разорвала конвертъ. Письмо все состояло изъ десяти строкъ, написанныхъ дашиной рукою. Дорушка поздравляла сестру съ новымъ годомъ, благодарила ее за деньги и по русскому обычаю желала ей съ новымъ годомъ новаго счастья. На сдѣланный когда-то Анной Михайловной вопросъ: когда они думаютъ возвратиться, Даша теперь коротко отвѣчала въ post scriptum: «Возвращаться мы еще не думаемъ. Я хочу еще пожить тутъ. Не хлопочи о деньгахъ. Долинскій получилъ за повѣсть, и намъ есть чѣмъ жить. Въ этомъ долгъ я надѣюсь съ нимъ счастья». Долинскій только приписывалъ, что онъ здоровъ, и что на дняхъ будетъ писать больше. Этимъ давно уже онъ обыкновенно оканчивалъ свои коротенькия письма, но обѣщанныхъ большихъ писемъ Анна Михайловна никогда «на дняхъ» не получала. Послѣднее письмо такъ поразило Анну Михайловну своею оригиналною краткостью, что, положивъ его въ карманъ, она подошла къ оставленнымъ ею покупательницамъ совершенно растерянная.

— Не отъ mademoiselle Доры ли? спросила ее давняя заказчица.

— Да, отъ нея, отвѣчала какъ могла спокойнѣе Анна Михайловна.

— Здорова она?

— Да, ей лучше.

— Скоро возвратится?

— Еще не собирается. Пусть живеть тамъ; тамъ ей здоровѣе.

— О, да, это конечно. Россія и Италія—какое же сравненіе?— Но вамъ безъ нея большая потеря. Ты не можешь вообразить, chère Vera, отнеслась дама къ своей очень молоденькой спутницѣ:—какая это геніальная дѣвушка, эта mademoiselle Дора! Какой вкусъ, какая простота и отчетливость во всемъ, чтѣ бы она ни сдѣлала, а вѣдь русская! Удивительныя руки! Все въ нихъ какъ будто оживаетъ, все измѣняется. Вообще артистка.

— Гдѣ же она теперь? спросила m-lle Vera.

— Въ Ниццѣ, отвѣчала Анна Михайловна.

— Въ Ниццѣ?!

— Да, въ Ниццѣ.

— Я тоже провела это лѣто съ матерью въ Ниццѣ.

— Это m-lle Vera Онучина, назвала дама дѣвушку.

Анна Михайловна поклонилась.

— Очень можетъ быть, что я гдѣ нибудь встрѣчала тамъ вашу сестру.

— Очень немудрено.

— Съ кѣмъ она тамъ?

— Съ однимъ... нашимъ родственникомъ.

— Если это не секретъ, кто это такой?

— Долинскій.

— Долинскій, его зовутъ Несторъ Игнатьичъ?

— Да, его такъ зовутъ.

— Такъ онъ-ей не мужъ?

— Нѣтъ. Съ какой стати?

— Онъ вамъ родственникъ?

— Да, отвѣчала Анна Михайловна, проклиная эту пытливую особу, и чтобы отклонить ее отъ допроса, сама спросила:—такъ вы знали... видѣли мою сестру въ Ниццѣ, вы ее знали тамъ?

— Une tête d'or! Кто же ее не знаетъ? Вся Ницца знаетъ une tête d'or.

— Это, вѣрно, ее тамъ такъ прозвали?

— Да, ее все такъ зовутъ. Необыкновенно интересное лицо; она ни съ кѣмъ не знакома, но ее все русскіе знаютъ и никто ее иначе не называетъ, какъ une tête d'or. Мой братъ познакомился гдѣ-то съ Долинскимъ, и онъ бывалъ у насъ, а сестра ваша, кажется, совсѣмъ дикарка.

— Ну... это не совсѣмъ такъ, произнесла Анна Михайловна и спросила:

— Здорова она на видъ?

— Кажется; но что она прекрасна, это я могу вамъ сказать навѣрно, отвѣчала смѣясь незнакомая дѣвица.

— Да, она хороша, сказала Анна Михайловна, и разсѣянно спросила:—а господинъ Долинскій часто бывалъ у васъ?

— О, нѣтъ! Три или четыре раза за все лѣто, и то братъ его затачивалъ. У насъ случилось много русскихъ и Долинскій былъ такъ любезенъ, прочелъ у насъ свою новую повѣсть. А то, впрочемъ, и онъ тоже нигдѣ не бываетъ. Они всегда вдвоемъ съ вашей сестрой. Вмѣстѣ бродятъ по окрестностямъ, вмѣстѣ читаютъ, вмѣстѣ живутъ, вмѣстѣ скрываются отъ всѣхъ глазъ... кажется, вмѣстѣ дышать одной грудью.

— Какъ я вамъ благодарна за этотъ разсказъ! проговорила Анна Михайловна, держась рукой за столъ, за которымъ стояла.

— Мне самой очень пріятно вспомнить обворожительную tête d'or. А знаете, я черезъ мѣсяцъ опять ѿду въ Ниццу съ моей maman. Можетъ быть, хотите что нибудь передать имъ?

— Merci bien. Я имъ пишу часто.

Свѣтская дама съ свѣтской дѣвицей вышли.

— Какъ она забавно мѣнялась въ лицѣ, замѣтила дѣвица.

— Ну да, еще бы! Это ея amant.

— Я такъ и подумала. Какой оригиналный случай!

Дамы засмѣялись.

— И въ какомъ, однако, странномъ кружкѣ врачаются эти господа! пройдя нѣсколько шаговъ сказала m-lle Vera.

— И, та chère! въ какомъ же по твоему кружкѣ имъ должно вращаться?

— А онъ умень, въ раздумье продолжала дѣвица.

— Мало ли, мой другъ, умныхъ людей на свѣтѣ?

— И довольно интересенъ, то-есть я хотѣла сказать, довольно оригиналенъ.

Дама взглянула на дѣвицу, и саркастически улыбнулась.

— Не на столько, однако, надѣюсь, интересенъ, пошутила она:—чтобъ приснился во снѣ mademoiselle Вѣрѣ.

— М-м-м-ъ... за сны свои, ma chère Barbe, никто не отвѣчаетъ, отшутилась m-lle Вѣра, и онѣ обѣ весело разсмѣялись, встрѣтились съ знакомымъ гусаромъ, и заговорили ни о чёмъ.

#### IV.

Туманная даль влизится и яснѣеть.

Какъ только дамы вышли изъ магазина, Анна Михайловна написала къ Ильѣ Макаровичу, прося его сегодня же принести ей книжку журнала, въ которомъ напечатана послѣдняя повѣсть Долинскаго, и ждала ее съ нетерпѣніемъ. Илья Макаровичъ черезъ два часа прибѣжалъ изъ своей одинадцатой линіи, немножко разстроенный и надутый, и принесъ съ собою книжку.

— Что жь это Нестерка-то! началъ онъ, только входя въ комнату.

— А чтò? спросила Анна Михайловна, перелистывая съ нетерпѣніемъ повѣсть.

— И повѣсти вамъ не прислалъ?

— Вѣрно, у него у самаго ея нѣть. Нескоро доходитъ за границу.

Илья Макаровичъ заходилъ по комнатѣ, и все дмухалъ сердито носомъ.

— Читали вы повѣсть? спросила Анна Михайловна.

— Читалъ, какъ же не прочесть? — читалъ.

— Хороша?

— Хорошую написалъ повѣсть.

— Ну, и слава-богу.

— Денегъ онъ пропасть заработываетъ какую!

— Еще разъ слава-богу!

— А чтò, онъ вамъ пишетъ?

— Пишетъ, медленно проговорила Анна Михайловна.

Илья Макаровичъ опять задмухалъ.

— Водченки пропустить хотите? спросила Анна Михайловна, не подымая глазъ отъ книги.

— Нѣть, чортъ съ ней! Чайшки развѣ, такъ отъ скучи—могу.

Анна Михайловна позвонила.

Подали самоваръ.

Ч. II. — Обойд.

— Вы на меня не въ претензії? спросила она Илью Макаровича.

— За чѣдѣ?

— Что я при васъ читаю.

— Сдѣлайте милость!

— Скучно безъ нихъ ужасно, сказала Анна Михайловна, обва-  
ривая чай.

— И чего они тамъ сидать?

— Для Даши.

Илья Макаровичъ опять задумалъ.

— Знаете, что я подозрѣваю? сказалъ онъ. — Это у него все  
теперь эти *идеи* въ головѣ бродатъ.

— Попали пальцемъ въ небо.

Илья Макаровичъ хотѣлъ употребить дипломатическую, успо-  
коительную хитрость, и очень сконфузился, что она не удалась.

— А вотъ что, Анна Михайловна! сказалъ онъ, пройдясь нѣ-  
сколько разъ по комнатѣ, и снова остановясь передъ хозяйкой,  
сидѣвшей за чайнымъ столомъ, надъ раскрытою книгою журнала.

— Чѣдѣ, Илья Макаровичъ?

Художникъ долго смотрѣлъ ей въ глаза, и наконецъ, съ до-  
бродушнѣйшей улыбкой произнесъ:

— Махну-ка я, Анна Михайловна, въ Италию.

— Это же ради какихъ благъ?

— Еще разъ передъ старостью, небо теплое увидѣть. Душу  
свою обогрѣю.

— Э, не сочиняйте-ка вздоровъ! У кого душа тепла, такъ  
вездѣ она будетъ тепла, и подъ этимъ небомъ.

Илья Макаровичъ не умѣлъ сказать обинякомъ то, что онъ  
думалъ.

— Ихъ посмотрю, сказалъ онъ прямо.

— Ну, и чѣдѣ жъ будетъ?

Илья Макаровичъ долго молчалъ, мѣнялся въ лицѣ и моргалъ  
глазами.

— Обрезонить надо человѣка; вотъ что будетъ! наконецъ вы-  
молвилъ онъ съ таинственнымъ придыханіемъ.

— Это вы Долинскаго хотите обрезонивать! Онъ не мальчикъ,  
Илья Макаровичъ. Ему уже не двадцать лѣтъ; самъ понимаетъ,  
чѣдѣ дѣлаетъ.

— И ее, ещетише продолжалъ художникъ.

— Ее?

Илья Макарович сдѣлалъ самую строгую мину и качнулъ въ знакъ согласія головою.

— Дашу? переспросила его Анна Михайловна.

— Ну, да.

— Не знаете вы, за что беретесь, мой милый! отвѣчала улыбнувшись Анна Михайловна.

— Слово надо сказать; одно слово иногда заставляетъ человѣка опомниться, таинственно произнесъ художніе.

— Кому же это вы будете говорить, что вы будете говорить, и по какому праву, наконецъ, Илья Макарычъ?

— Право! Съ подлецомъ нечего разбирать правъ!

— Пожалуйста, только не горячитесь.

— Нѣтъ-съ, я не горячусь и не буду горячиться, а я только хочу ему высказать все, что у меня накипѣло на сердцѣ, только и всего; и чортъ съ нимъ послѣ.

Анна Михайловна махнула рукой.

— Да и ей тоже-съ. Воля милости ея, а пусть слушаетъ. А ужъ я наговорю!

— Дашь?

— Да съ.

— О, Аркадія священная! Дашь не слова человѣческія, а если бы громъ небесный упалъ передъ нею, такъ она... и на этотъ громъ, я думаю, не обратила бы вниманія. — Что тутъ слова, когда, видите, ей менѣя не жаль—а вѣдь она меня любить! Нѣтъ, Илья Макарычъ, когда сердце занялось пламенемъ, тутъ ужъничай разумъ и никакія слова не помогутъ!

— Такъ, что жь они о себѣ теперь думаютъ! грозно кривнуль и привскочилъ съ мѣста Журавка.

— А ничего не думаютъ.

— Какъ же ничего не думаютъ?

— А такъ — зачѣмъ думать?

— Какъ зачѣмъ думать? Помилуйте, Анна Михайловна, да это... чѣмъ же это такое вы сами-то наконецъ говорите?

— Я вамъ говорю, что они ничего не думаютъ.

— Да что же опѣ-то такое? Послѣ этого вѣдь онъ же выходить подлецъ! Илья Макаровиѣ въ азартѣ стукнулъ кулакомъ по столу и опять закричалъ:—подлецъ!

— За что вы его такъ браните? Ну что, отъ этого поправится, или получшѣеться?

— Зачѣмъ же онъ сбилъ дѣвушку?

Анна Михайловна улыбнулась.

— Чего вы смеетесь?

— Надь вами, Илья Макарычъ! Ничего-то вы не разумѣете хотъ и въ Италии были.

— Чего-сь я не разумѣю?

Анна Михайловна промолчала.

— Нѣтъ-сь, позвольте же, Анна Михайловна, если ужь начали говорить, такъ вы извольте же договаривать: чего это-сь я не разумѣю?

— Да какъ вы можете утверждать, что онъ ее съ чего нибудь сбивалъ? сказала Анна Михайловна.

Илья Макаровичъ дмухнулъ носомъ и помолчавъ спросилъ:

— Такъ какъ же это по вашему было?

— Дору никто не собьетъ и... никто Илью Макаровича ни отъ чего не удержитъ.

Журавка опять забѣгалъ.

— Да... однако-жъ... позвольте: на что же это она бьетъ, въ чью же-сь это голову она бьетъ?! спросилъ онъ, остановившись.

— Любить.

— Да ну-те-жъ бо, Богъ съ вами, Анна Михайловна, чтò жъ будетъ изъ такой любви?

— Чтò изъ любви бываетъ—радость, счастье и жизнь.

— Да вѣдь позвольте... мы вѣдь съ вами старые друзья. Вѣдь... вѣдь его наконецъ любите?

— Ну-сь; такъ чтò же далъе? произнесла немногого конфузясь Анна Михайловна.

— И онъ васъ любилъ?

— Положимъ.

— Ничего не понимаю! крикнулъ пожавъ плечами Илья Макаровичъ и опять ожесточенно забѣгалъ, мотая повременамъ головою и повторяя съ ажитаціей:—ничего... ровно ничего не понимаю! Хоть голову мою срубайте, ничего не понимаю!

— А какъ же это вы однако поняли, что тамъ что-то есть? спросила послѣ паузы Анна Михайловна съ цѣллю повѣрить свои соображенія чужими.

— Да такъ просто. Думаю себѣ иной разъ, сидя за мольбертомъ: что онъ тамъ наконецъ, собака, дѣлаеть? Знаю, вѣдь онъ такой олухъ царя небеснаго; даже прекраснаго, шельма, не понимаетъ; идетъ все понурый, на женщину никогда не взглянетъ, а

женщины на него, какъ муки па медъ. Душа у него такая кроткая, чистая и вся на лицѣ.

— Да, уронила Анна Михайловна, вспоминая лицо Долинского и опять невинно смущаясь.

— Не полюбить-то его почти нельзя!

— Нельзя, сказала улыбнувшись Анна Михайловна.

— То-есть именно, я говорю, чортъ его знаетъ, каналью, ну нельзя, нельзя.

— Нельзя, подтвердила Анна Михайловна нѣсколько серъёзнѣе.

— Ну, вотъ и думаю: чего до грѣха, свихнетъ онъ Дорушку!

— Ничего я не вижу отсюда, а совершенно увѣренъ... Да, Илья Макарычъ, о чемъ это мы съ вами толкуемъ—а?... развѣ они не свободные люди?

Художникъ вскочилъ и непрестово крикнулъ:

— А ужъ это нѣть-съ! Это пзвините-съ, бо онъ, низкій онъ человѣкъ, долженъ былъ помнить, что онъ оставилъ!

— Эхъ, Илья Макарычъ! А еще вы художникъ и «свободный художникъ»! А молодость, а красота, а коса золотая, сердце горячее, душа смѣлая! Мало вамъ адвокатовъ?

— То-есть чортъ его знаетъ, Анна Михайловна, вѣдь въ самомъ дѣлѣ можно съ-ума сойти! отвѣчалъ художникъ, заламывая на брюшкѣ свои ручки.

— То-то и есть. Вспомните-ка ея пѣсенку:

То горделива, какъ свобода,  
То вдругъ покорна, какъ раба.

— Да, да, да... то-есть именно, я вамъ, Анна Михайловна, скажу, это чортъ-знаетъ, что такое!

Долго Анна Михайловна и художникъ молчали. Одна тихо и неподвижно сидѣла, а другой все бѣгалъ, и то дмухалъ носомъ, то что-то вывертывалъ въ воздухѣ рукою, но наконецъ это его утомило. Илья Макаровичъ остановился передъ хозяйкой и тихо спросилъ:

— Ну, и что жъ дѣлать однако?

— Ничего, такъ же тихо отвѣтила ему Анна Михайловна.

Художникъ походилъ еще немножко, сдѣлалъ на одномъ поворотѣ руками жестъ недоумѣнія, и произнесъ:

— Прощайте, Анна Михайловна.

— Прощайте. Вы домой прямо?

— Нѣть, забѣгу въ Палкинъ, водченки хвачу.

— Что жь вы не сказали, здѣсь бы была водченка, спокойно говорила Анна Михайловна, хотя лицо ея то и дѣло покрывалось пятнами.

— Нѣтъ, ужь тамъ выпью, разсуждалъ Журавка.

— Ну, прощайте.

— А написать ему можно? щопотомъ спросилъ художникъ, снова возвращаясь въ комнату въ шинели и калошахъ.

— Ни, ни, ни! Чужая собака подъ столъ, знаете пословицу? отвѣчала Анна Михайловна, стараясь держаться шутливаго тона.

— Господи Боже мой! Какая вы дивная женщина! воскликнулъ восторженно Журавка.

— Такая, которую всегда очень легко забыть, отшутилась Анна Михайловна.

V.

Немножко назадъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Долинскій съ Дарьей Михайловной отѣхали отъ петербургскаго амбаркадера варшавской желѣзной дороги, они проводили свое время въ слѣдующихъ занятіяхъ: Дорушка утерла набѣжавшія слезы, и упорно смотрѣла въ окошко вагона. Природа ее занимала, или просто молчать ей хотѣлось—глядя на нее рѣшить было трудно. Долинскій тоже молчалъ. Онъ попробовалъ-было заговорить съ Дашей, но та кинула на него бѣглый взглядъ, и ничего ему не отвѣтила. Подѣбѣзжалъ къ Острову, Даша сказала, что она устала, и дальшеѣхать не можетъ. Отѣскали въ гостиницѣ нумеръ съ передней. Долинскій приготовилъ чай, и спросилъ ужинъ.

Даша ни къ чему не притронулась.

— Ну, такъ ложитесь спать, сказалъ ей Долинскій.

— Да я спать хочу, отвѣчала Даша.

Она легла на кровати въ комнатѣ, а Долинскій завернулся въ шинель, и легъ на диванчикѣ въ передней.

Они оба молчали. Даша была не то печальна, не то угрюма; Долинскій приписывалъ это слабости и болѣзненнай раздраженности. Онъ не беспокоилъ ее никакими вопросами.

— Прощайте, моя милая нянюшка! слабо проговорила черезъ перегородку Даша, полежавъ минутъ пять въ постели.

— Прощайте, Дорушка. Спите спокойно.

— Вамъ тамъ скверно, Несторъ Игнатьичъ?

— Нѣтъ, Дорушка — хорошо.

— Потерпите, мой милый, ради меня, чтобы было по чѣмъ вспомнить.

— Спите, Дорушка.

Больная провела ночь очень покойно и проснулась утромъ довольно поздно. Долинскій нашелъ женщину, которая помогла Дашѣ одѣться, и велѣлъ подать завтракъ. Даша кушала съ аппетитомъ.

— Несторъ Игнатьичъ! сказала она, оканчивая завтракъ:—вотъ сейчасъ вамъ будетъ испытаніе, какъ вы понимаете наставленія моей сестры. Чѣдь она приказала вамъ на мой счетъ?

— Беречь васъ.

— А еще?

— Служить вамъ.

— А еще?

— Ну, чѣдь же еще?

— Еще, еще?

— Право, не знаю, Дарья Михайловна.

— Вотъ память-то!

— Да что же? она просила исполнять ваши желанія и только.

— Ну, наконецъ-то! *Исполнять мои желанія*, а у меня теперь есть желаніе, которое не входило въ наши планы: исполните-ли вы его?

— Чѣдь же это такое, Дорушка?

— Сvezите меня въ Варшаву. Смерть мнѣ хочется посмотретьъ поляковъ въ ихъ городѣ. У васъ тамъ есть знакомые?

— Должны быть; но какъ же это сдѣлать? Вѣдь это намъ составить большой разсчетъ, Дорушка, да и экипажа нѣтъ.

— Какънибудь. Вы не повѣрите, какъ мнѣ этого хочется.

Факторъ въ Вильно нашелъ старую, очень покойную коляску, оставленную кѣмъ-то изъ варшавянъ, и устроилъ Долинскому все очень удобно. Желѣзная дорога тогда еще была неокончена. Погода стояла прекрасная, путешественники щахали безъ непріятностей и Даша была очень счастлива.

— Люблю я, говорила она:—їхать на лошадяхъ. Отсталая женщина—терпѣть не могу желѣзныхъ дорогъ и этихъ глупыхъ вагоновъ.

Долинскій смеялся и рассказывалъ ей разныя непріятности путешествія на лошадяхъ по Россіи.

— Все это можетъ быть такъ; я только одинъ разъ всего щахала

далеко на лошадяхъ, когда Аня взяла меня изъ деревни, но терпѣть не могу, какъ въ вагонахъ запираютъ, прихлопнуть, да еще съ наслажденiemъ ручкой поверять: дескать, не смѣешь вылѣзть.

Дорога шла очень пріятно. Даша много спала въ покойномъ экипажѣ и говорила, что она оживаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, несмотря на дорожную усталость, она чувствовала себя крѣпче и дышала свободнѣе.

Въ Варшавѣ они размѣстились очень удобно въ большомъ номерѣ, состоявшемъ изъ трехъ комнатъ. Долинскій отыскалъ много знакомыхъ поляковъ съ Волыни и Подоліи и представилъ ихъ Дашѣ. Даша много съ ними говорила — и осталась очень довольна новыми знакомствами.

Долинскій нашелъ тоже пани Свѣнтоховскую, известную варшавскую модистку, съ которой Анна Михайловна и Даша познакомились въ Парижѣ, и которую принимали у себя въ Петербургѣ. Пани Свѣнтоховская, женщина строгая и ультра-католичка, пріѣхала къ Дашѣ, когда Долинскаго не было дома, и разсыпалась передъ Дорою въ поздравленіяхъ и благожеланіяхъ.

— Да съ чѣмъ вы меня поздравляете? спросила Даша.

— Какъ съ чѣмъ? Съ мужемъ.

— Съ какимъ мужемъ? разсмѣявшиясь спросила ее Даша.

— А панъ Долинскій!

Даша еще громче разсмѣялась.

— Да какъ же вы ёдете? спросила нѣсколько обиженнная ея смѣхомъ полька.

— Простите мнѣ, мой ангелъ, этотъ глупый смѣхъ, отвѣчала Даша, обтирая выступившія у нея отъ хохота слезы, и рассказала пани Свѣнтоховской, какъ устроилась ея поѣздка.

Солидная пани Свѣнтоховская покачала головой.

— Чѣмъ жь, вы развѣ находите это очень ужъ неприличнымъ? А будто приличнѣе было бы оставить меня умирать для приличія

— Не то, что очень неприлично, а...

— А чѣмъ?

— Оно... небезпечно.

Даша опять захохотала, и немного покраснѣвъ, сказала:

— Какіе пустяки!

Когда пришелъ Долинскій, не заставъ уже пани Свѣнтоховской, Даша встрѣтила его веселымъ смѣхомъ.

— Чего вы такъ смѣетесь, Дора? освѣдомился Долинскій.

— Знаете, Несторъ Игнатьичъ, что вы въ опасности.

— Въ какой опасности?

— Въ опасности.

— Полноте шалить, Дора! скажите толкомъ, отвѣчай нѣсколько встревоженный Долинскій.

— Не пугайтесь, милая няня! Опасностью вамъ угрожаю я. Я, моей собственной персоной! Даша рассказала опасенія madame Свѣнтоховской.

И онъ и она усердно смеялись.

Вечеромъ Даша и Долинскій долго просидѣли у пани Свѣнтоховской, которая собрала нѣсколькихъ своихъ знакомыхъ дамъ, съ ихъ мужьями, и ни за что не хотѣла отпустить петербургскихъ гостей безъ ужина. Долинскій ужасно беспокоился за Дашу. Онъ не сводилъ съ нея глазъ, а она превесело щебетала съ польками, и на ея миломъ личикѣ не было замѣтно ни малѣйшаго признака усталости, хотя часъ былъ уже поздній.

— Домой пора, Дора, не разъ шепталъ ей Долинскій.

— Погодите—невѣжливо же уѣхать!

— Заболѣвете.

— Ахъ! Какъ вы мнѣ надоѣли съ вашимъ менторствомъ.

Долинскій отходилъ прочь.

Вернулся домой только во второмъ часу. Войдя въ нумеръ, Долинскій взялъ Дашу за обѣ руки и сказалъ:

— Смерть я боюсь за васъ, Дорушка! Того и гляжу, что вы сляжете.

— Не бойтесь, не бойтесь, мой милый, отвѣчала она, пожимая его руки.

— А вы слышали, чѣмъ о васъ говорили паны? спросилъ Долинскій, усадивъ Дору въ кресло.

— Нѣтъ. Чѣмъ они говорили?

— Говорили: какая хорошенъкая московка!

Даша сдѣлала гримасу, и сказала:

— Это мы и безъ нихъ знали, а потомъ спросила:

— А вы слышали, чѣмъ о васъ говорили паны?

— Нѣтъ.

Даша разсмѣялась.

— Говорили, чѣмъ вы анина «коханокъ».

— Кому это они говорили?

— Сами съ собой говорили.

— Ворона вѣсть принесла.

— Ворона, именуемая панею Свѣнтоховскою.

— А ей кто доложилъ?

— Ахъ, Несторъ Игнатьичъ! слухомъ, сударь, земля полнится. Долинскій вичего не отвѣчаль.

— А странный вы господинъ! начала, подумавъ, Даша.—Громами гремите противъ предразсудковъ, а самимъ ухъ какъ жутко становится, если дѣло на чистоту выходитъ! Чѣдѣ же вамъ! Развѣ вы не любите сестры, или стыдитесь быть ея, какъ онѣ говорять, «коханкомъ?»

— Да мнѣ все равно, только... зачѣмъ? Я вѣдь знаю, что у этихъ господъ значить коханекъ.—Мнѣ это, конечно, все равно, а...

— А кому жъ неравно? Ужъ не за сестру ли вы печалитесь?—Мы съ ней люди простые, въ пансіонахъ не воспитывались: ёдимъ пряники неписанные.

— Да я-жъ вѣдь ничего и не сказалъ, кажется.

— А толькo подумалъ! отвѣчала съ ироніей Даша.—Нѣть, Несторъ Игнатьичъ, крѣпко еще, вѣрно, сидать въ нась бабушкины то присказки!

Даша тоже задумалась и стала смотрѣть на свѣчу, а Долинскій молча прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ и сказалъ:

— Ложитесь спать, Даша.

Даша не отвѣчала.

— Идите въ постель, Дора, повторилъ черезъ минуту Долинскій. Даша молча встала, пожала Долинскому руку и, выходя изъ комнаты, громко продекламировала:

О, жалкій, слабый родъ! О, время,  
Полупорывовъ, долгихъ думъ  
И робкихъ дѣлъ! О, вѣкъ! О, племя!  
Безъ вѣры въ собственный свой умъ!

## VII.

### Все овстоитъ благополучно.

Путешественники наши пробыли въ Варшавѣ пять дней, и написали Аннѣ Михайловнѣ два длинныхъ письма. На шестой день панна Свѣнтоховская проводила ихъ на желѣзную дорогу. Усаживая Дашу въ вагонъ, она шепнула ей нѣсколько словъ, на которыхъ та отвѣчала гримаскою. Дорогою Даша первый день чувствовала себя нѣсколько слабою. Закачало ее, и потому Долинскій

рѣшился вовсе не везти ее ночами. Но на другой день Даша было гораздо лучше, и она хотела надѣть Долинскимъ, представляя, какое у него длинное лицо бываетъ, когда она охнетъ.

— Смотрите, Несторъ Игнатьичъ, говорила она: — чтобъ, въ самомъ дѣлѣ, не вышло на слова пани Свѣнтоховской. Въ самомъ дѣлѣ, какъ она говоритъ, «небезпечно» вамъ, кажется, разгуливаться со мной по бѣлу-свѣту. Чего доброго, влюбитесь вы въ меня. Въ два-то года живя вмѣстѣ, вы меня не разсмотрѣли хорошенько, а теперь вотъ дѣлать вамъ нечего, со скучи, какъ разъ злой недугъ приключится. Вотъ анекдотъ-то выйдетъ! Хоть со свѣта бѣжи тогда.

— Чѣмъ вы выдумываете, Дорушка!

— А чѣмъ жь! Всѣ подъ-богомъ ходимъ. Развѣ ужь въ меня и влюбиться нельзя?

— Какая вы хорошенькая! смѣясь воскликнулъ Долинскій.

— Вотъ то-то и оно! Въ Варшавѣ, въ царствѣ женской красоты таковою признана.

— А кстати, Дора, я и забылъ васъ спросить: какъ вамъ понравилась Варшава?

— Очень хороший, типическій городъ.

— А варшавянѣ?

— Мужчины, или женщины?

— Тѣ и другіе?

— Однимъ словомъ на это отвѣтить нельзя.

— Ну, можете двумя словами.

— Въ полякахъ мнѣ одно только нравится, а въ полькахъ одно только не нравится.

— Значить, въ мужчинахъ вы замѣтили только одну добродѣтель, а въ женщинахъ только одинъ порокъ?

— Не то совсѣмъ. Мужчины почти точно такие же, какъ и наши; даже у этихъ легкости этой ненавистной, пожалуй, какъ будто, еще и больше — это мнѣ противно; но они вотъ чѣмъ умнѣѣ: они за однимъ другого не забываютъ.

— Какъ это, Дорушка?

— А такъ! У нихъ пѣнію время, а молитвѣ часъ. Они не требуютъ, чтобъ люди уродами подѣлялись за то, что ихъ матери не въ тотъ, а въ другой годъ родили. У нихъ божіе идетъ Богови, а кесарево Кесареви. Они и живутъ и думаютъ, и любятъ и не надоѣдаются своимъ женщинамъ одною докучною фразою. Мнѣ, вы знаете, смерть надоѣли эти наши ораторы! Все

чувства боятся! Сердчишекъ не далъ Богъ, а они еще мечами картонными отмахиваются. Любовь и привязанность будто чему-нибудь хорошему могутъ мѣшать? Будто любовь чему-нибудь мѣшаетъ? Даша разгорячилась.—Шуты святочные! сказала она съ презрѣніемъ, и стала смотрѣть въ окошко вагона.

— Ну, а о женщинахъ-то польскихъ, что же вы, Даша, скажете?

Даша обернулась съ веселой улыбкой.

— Прелестъ! Я не знаю, гдѣ у васъ царь въ головѣ былъ, Долинскій?

— Когда?

— Когда вы чортъ-знаешь какъ обрѣшились.

Долинскій ничего не отвѣчалъ и по лицу его пробѣжало тучка. Даша поняла, что она тронула больную рану Долинскаго. Она тронула его пальчикомъ по губамъ и сказала:

— У-у. Бука! стыдно дуться! Городничій поѣдетъ и губы отдавать.

Долинскій вздохнулъ.

— А знаете же, что я одно только невзлюбила въ полькахъ? заговоривала Дора.

— Чѣмъ? спросилъ въ свою очередь Долинскій, проведя рукою по лбу.

— Отгадайте?

— Богъ васъ знаетъ, Дорушка! отвѣчалъ Долинскій, все еще невошедшій въ свою тарелку.

— Ну, отгадайте?

— Да, право, не знаю.

Даша нагнулась, и пристально посмотрѣвъ въ глаза Долинскаго, спросила:

— Вы, кажется, все еще дуетесь?

— Нѣтъ, за что же?

— То-то. Видѣли вы, какъ поляки лошадей запрягаютъ?

— Видѣлъ.

— Ну, какъ?

— Въ шоры.

— Нѣтъ, вотъ тутъ на голову — какъ это называется?

Даша приложила ладони къ своимъ вискамъ.

— Наглазники.

— Ну, да, наглазники. Вотъ эти самые наглазники есть у польскихъ женщинъ. По дорогѣ онѣ идутъ хорошо, а въ сто-

рону ничего не видать. Или одна крайность, или другая чрезвычайность.

— Какъ это, Дорушка?

— А такъ; или строгость, или ужь распущенность, есть свое-воліе, а между тѣмъ свободы честной нѣтъ.

— А у нашихъ есть?

— Ну, какъ же ровнять! отвѣчала качая головкой Дора.

— Способнѣе полагаете наши къ честной свободѣ-то?

— Еще бы! какъ ихъ можно и сравнивать въ этомъ отноше-ніи! У нашихъ дѣйствительно смѣлость; наши женщины—хоро-шія женщины; онѣ дѣйствительно хотятъ быть честно свободными.

— Да много ли ихъ?

— Разумѣется, немного пока; а погодите, я увѣрена, что съ нашими женщинами будетъ жить легче, чѣмъ со всакими дру-гими. Вѣдь неплохо и теперь живется съ ними? добавила она, улыбаясь.

— Хорошо, Дорушка, отвѣчалъ спокойно Долинскій.

— А чтѣ, кого вспомнили?

Долинскій улыбнулся и отвѣчалъ:

— Какая вы наблюдательная, Дора!

— А вы это только теперь замѣтили?

— Только теперь.

— Ну, да! вѣдь я недаромъ говорила, что въ два года вы, меня хорошенько не разсмотрѣли! Даша помолчала, вздохнула и проговорила:

— Чтѣ-то она теперь подѣлываетъ?

На другой день по пріѣздѣ въ Ниццу, Долинскій оставилъ Дашу въ гостиницѣ, а самъ до изнеможенія бѣгалъ, отыскивая квартиру. Задача была немалая. Даша хотѣла жить какъ можно дальше отъ людныхъ улицъ, и какъ можно ближе къ морю. Она хотѣла имѣть комнату въ нижнемъ этажѣ, съ окнами въ садъ, невысоко и недорого.

Послѣ долгихъ поисковъ, наконецъ нашлась такая квартира у старой француженки, м-те Бюжаръ. Это были три комнатки въ маленькомъ флигелькѣ, съ окнами, выходящими въ уединенный садикъ. М-те Бюжаръ, старушка съ очень добродушнымъ лицомъ, взялась приносить постояльцамъ обѣдъ и два раза въ день навѣщать ихъ и исполнять все, что будетъ нужно для большой рус-ской синьоры. Сама старушка вмѣстѣ съ двумя желтенькими курочками и чернѣмъ голландскимъ пѣтухомъ жила въ крошечной

комнаткѣ въ другомъ флигелькѣ, выходившемъ въ тотъ же садикъ. Квартира очень понравилась Дашѣ, и вечеромъ того же дня они въ нее перѣхали. Даша заняла большую комнату съ двумя большими окнами, а Долинскій помѣстился въ маленькомъ кабинетикѣ. Кромѣ того у нихъ было нѣчто въ родѣ зальца, раздѣлявшаго собою ихъ комнаты. На другой день Долинскій пригласилъ лучшаго доктора, который осмотрѣлъ больную и съ покойнымъ видомъ объявилъ, что она вовсе не въ такомъ положеніи, какъ имъ кажется. Сдѣлавъ необходимыя гигіеническія наставленія Дорѣ, докторъ уѣхалъ, обѣщавъ навѣщать ее черезъ два дня въ третій. М-те Бюжаръ оказалась драгоцѣннымъ существомъ. Она услуживала синьорѣ Дорѣ съ искреннимъ радушіемъ и съ всегдашней французской веселостью. Впрочемъ, Даша и мало требовала услугъ. Утромъ она открывала оконечко и кричала: «M-me Бюжартъ!» Изъ другаго окна ей весело откликались словомъ: «Signora Dorra!» и старуха, переваливаясь, бѣжалъ и помогала ей сдѣлать, чтѣ нужно. Утромъ старуха убирала ихъ комнаты, да приносила обѣдъ. Больше Долинскій и Даша ничего не требовали, и старуха очень полюбила своихъ тихихъ и непривередливыхъ жильцовъ. Жизнь началась очень пріятная. Долинскій отдыхалъ послѣ срочной работы и трудился только тогда, когда ему хотѣлось, а Даша поправлялась не по днемъ, а по часамъ, и опять стала дѣлаться тою же обворожительной, розовой ундиной, какою она была до своей несчастной болѣзни. Только алый пятна все еще не сходили съ ея нѣжныхъ щекъ. Днемъ Долинскій читалъ Дашѣ вслухъ, или работалъ. Онъ написалъ другую повѣсть и совсѣмъ приготовлялъ ее къ отсылкѣ въ Россію. Писанная на свободѣ повѣсть была очень удачна. Даша хорошо знала эту повѣсть. Она знала, что авторъ часто говоритъ въ ней о самомъ себѣ и о людяхъ, помявшихъ его въ своихъ перчаткахъ. Она заставляла Долинскаго по нѣсколько разъ повторять ей нѣкоторыя мѣста и часто надѣ многимъ крѣпко и долго задумывалась.

## VII.

### НА УСТАХЪ И ВЪ СЕРДЦѢ.

Въ десятый разъ они перечитывали знакомую рукопись, и въ десятый разъ Даша заставляла его повторять знакомыя мѣста. Наступалъ вечеръ, Дорушка взяла изъ рукъ Долинскаго тетрадь, дол-

го читала сама глазами и задумчиво глядя на бумагу, начала что-то чертить перомъ на маржѣ.

— Однако, позвольте, Дарья Михайловна, что же это вы... Вамъ тутъ рисовать вовсе не полагается.

Даша молча замарала все начертанное ея перомъ, отбросила съ недовольной гримаской рукопись, встала, надѣла на себя широкополую соломенную шляпу, и подавая руку Долинскому, нѣсколько сурово сказала: «пойдемте гулять».

Долинскій взялъ фуражку, и они отправились къ обыкновенному пункту своихъ вечернихъ прогулокъ. Во все время дороги они оба молчали, и дойдя до холмика, съ которого всегда любовались моремъ, оба молча присѣли на земную травку. Видъ отсюда былъ самый очаровательный и спокойный. Далеко-далеко открывалась предъ ними безбрежная водная равнина, и вечернее солнце тонуло въ краснѣющей раби тихаго моря. Необыкновенно сладко дразнить здѣсь свою душу мечтами и сердцу давать живые вопросы. Даша устала. Долинскій сбросилъ верхнее пальто и кинулъ его на траву. Даша на немъ прилегла и какъ-бы уснула. Молчанью и думамъ ничто не мѣшало.

— Странно какъ это! сказала Даша, не открывая глазъ.

— Чѣмъ такое? какъ-бы оторвавшись отъ другой думы спросилъ Долинскій.

— Такъ богъ-знаетъ, чѣмъ приходить въ голову. Вотъ, напримѣръ... сколько чепухи на свѣтѣ?

— Немало, Дарья Михайловна; даже очень довольно.

— Я это и безъ васъ знаю, отвѣчала Дора и опять замолчала.

— Не понимаю я, начала она черезъ нѣсколько минутъ:—какъ это дѣлается все у людей... все какъ-то шиворотъ на выворотъ и таранты-на-вонъ. Клянуть и презираютъ за то, чѣмъ только уважать можно, а уважаютъ за то, за что отвернуться хочется отъ человѣка. Трусы!

— Отчего же не что-нибудь другое, а трусы?

— Такъ, потому, что это все отъ трусости. En gros все ихъ пугаетъ, а en detail—все ничего. Дасть человѣкъ золотую монету за удовольствіе, котораго ему хочется—его назовутъ мотомъ; а размѣняетъ ее на пятиалтынныи и пятиалтынниками разбросаетъ—только погаже какъ-нибудь—ничего. Какъ это у нихъ тамъ все въ головахъ? Все кверху ногами.

— Подите же съ ними! тихо отвѣчалъ Долинскій.

— Вѣдь это ужасное несчастіе!

— Да, это *не счастие*.

— Но какъ же это дѣлается? Я, напримѣръ, совсѣмъ не понимаю, какъ это размѣняться, стать мельче, чѣмъ я есть?

— Очень просто, Дорушка. Употребляя вашу метафору, одинъ человѣкъ самъ боится раскнуться на весь капиталъ, а другой и предлагалъ свою цѣлую золотую монету, да взамѣнъ ея получилъ кое-что изъ мелочи, вотъ и пошла въ обоихъ случаяхъ въ оборотъ одна мелочь—на которую ужъ нельзѧ вымѣнять снова цѣлой монеты; недостаетъ ужъ нѣсколькихъ пятиалтынныхъ.

— Какія у людей маленькия душонки! сказала Даша съ презирательной гримаской.

— У кого же онѣ больше?

— Да *у никого*. Это-то и скверно, что ни у кого.

Даша задумалась, и помолчавъ, спросила:

— А вы, Несторъ Игнатьичъ, много набрали мелочишки въ сдачу?

— Есть бездѣлица.

— А зачѣмъ?

— Богъ его знаетъ, зачѣмъ? Да и тутъ ваша милая метафора негодится. Не руками берутъ эту, какъ мы сказали, сдачу; а сама она какъ-то послѣ оказывается. Есть поговорка, что всего сердца сразу не излюбишь.

— Ну, да.

Даша подумала и тихо проговорила:

— Я это понимаю. Мнѣ вотъ только непонятны эти люди маленькие съ своими программами. Счастья они не даютъ никому, а со всѣхъ все взыскиваютъ.

— Кому жъ они понятны?

— Какъ вы думаете: вѣдь я увѣрена, что это болѣе все глупая сентиментальность дѣлаетъ?

— И сентиментальность, пожалуй, а больше всего предразсудки, разумъ съ дѣствия изуродованный, страхи пустые, безволье, привычка цѣнить пустыя удобства, да и многое-многое другое.

— Да, разумъ съ дѣствия изуродованный—это особенное несчастіе.

— Огромное и почти всегда вѣчное.

— Вы какъ же думаете... Я знаю, что вы поступать не мастеръ, но я хочу знать, какъ вы думаете: нужно идти противъ *всѣхъ* предразсудковъ, противъ *всего*, что несогласно съ моимъ разумомъ и съ моими понятіями о жизни?

— На это, Дорушка, я полагаю, спль человѣческихъ недостанетъ.

— Но, какъ же быть?

— Самому только не подчиняться предразсудкамъ, не обращать вниманія на людей и ихъ узкую мораль, стоять смѣло за свою свободу, потому что внѣ свободы нѣтъ счастья.

— А вамъ скажутъ, что жизнь дана не для счастья, а для че-го-то другаго, для чего-то далекаго, неосознамаго.

— Что жь вамъ до этого? Пусть говорятъ. На погость живу-чи всѣхъ не переплачешь, на свѣтѣ маясь всѣхъ не переслушаешь. Въ томъ и вся штука, чтобы не спутаться; чтобы, какъ говорятъ, съ петлей не соскочить, не потерять своей свободы, не просмо-трѣть счастья, гдѣ оно есть, и не искать его тамъ, гдѣ оно ко-му-то представляется.

— Да-съ, да: въ этомъ штука, въ этомъ штука!

— Мнѣ такъ кажется; а впрочемъ, можетъ быть, я и неправъ.

— Нѣтъ, я чувствую, что это правда. Скажите, пожалуйста, вамъ все это не мѣшаетъ жить на свѣтѣ?

— Что такое?... Путаница-то эта?

— Путаница-то.

— Ну, какъ вамъ сказать?

— Да такъ: чувствуете вы, напримѣръ, себя свободнымъ отъ всѣхъ предразсудковъ?

— Теперь я чувствую себя очень свободнымъ.

— А прежде?

— Да и прежде. Впрочемъ, я по какимъ-то счастливымъ слу-чайностямъ, давно пріучилъ себя смотрѣть на многое по своему; но только именно все мнѣ какъ-то очень неспокойно было, жи-лось очень дурно.

— Вы очень много любили людей?

— Да, меня учили любить людей, и я точно очень любилъ ихъ.

— А теперь?

— Вы знаете, что я зла никому не дѣлаю, или, по крайней-мѣрѣ, стараюсь его не дѣлать.

— Только ужь не привязываетесь къ людямъ?

— Я люблю человѣчество.

— Какъ мнѣ надоѣла эта петербургская фраза! Такъ гово-рятъ тѣ, которые ровно никого и ничего не любятъ; а вы не такой человѣкъ. Вы мнѣ скажите, какая разница въ вашихъ Ч. II. — Обойд.

теперешнихъ чувствахъ къ людамъ съ тѣми чувствами, которыхъ жили въ васъ прежде?

— Близкихъ людей у меня нѣть.

— Совсѣмъ?

— Кромѣ Анны и васъ.

— А прежнія привязанности?

— Растоптали ихъ, теперь онѣ засыпались.

— А мать?

— Я ее очень люблю, но вѣдь ея нѣть на свѣтѣ.

— Но вы ее все-таки любите?

— Очень. Моя мать была женщина святая. Такихъ женщинъ мало на свѣтѣ.

— Разскажите мнѣ, голубчикъ Несторъ Игнатьичъ, что нибудь про вашу матушку, попросила Дора, быстро приподнявшись на локоть и ласково смотря въ глаза Долинскому.

— Долго вамъ рассказывать, Дорушка.

— Нѣть, разскажите.

Долинскій хотѣлъ очертить свою мать и свое дѣтское житѣе на Киевскомъ Печерскѣ въ двухъ словахъ, но увлекаясь, началъ описывать самыя мелочныя подробности этого житѣя, съ такою полнотою и ясностью, что передъ Дорою проходила вся его жизнь; ей казалось, что лежа здѣсь въ Ницѣ на берегу моря, она слышитъ изъ-за синихъ ницкихъ скалъ мелодическій гуль колоколовъ Печерской Лавры и видитъ живую Ульяну Петровну, у которой никто не можетъ ничего украсть, потому что всякой не крадучи можетъ взять у нея все, чѣмъ ему нужно.

— Какой вы художникъ! Какъ хорошо вы все это рассказываете! перебивала она не разъ Долинскаго.

И выслушавъ, какъ Долинскій, вдохновившійся воспоминаніемъ о своей матери, говорилъ въ заключеніе: «У насъ въ домѣ не знали, чѣмъ такое попрѣкъ, илиссора; намъ не твердили, что отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ, а учили, что всякое неправое стяженіе — прахъ; намъ никогда не говорили: «наживай да сберегай», а говорили: «отдавай, помогай, не ропщи и вѣруй, что сколько съ тебя чего нужно, столько съ тебя есть на свѣтѣ» — Дорушка воскликнула:

— Какое прелестное, какое завидное дѣтство! Вы не будете ревновать меня, если я стану любить вашу мать такъ же, какъ вы?

Долинскій молча пожалъ руку Доры.

— Вы знаете, продолжалъ онъ, увлекаясь:—люди восторгаются

Галубомъ; въ немъ видѣли идеалъ; по поводу его написаны лучшія статьи о нравственно-развитомъ человѣкѣ, а онъ только не столкнулся с врагомъ, убійцу брата! Сердце не позволило. А моя мать? Эта святая душа, которая не только не могла столкнуться с врагомъ, но и которой не могло быть врага, потому что она впередь своей христіанской индульгенціей простила все людямъ; она не вдохновитъ никого, и могила ея, я думаю, до сихъ поръ разрыта и сравнена, и сынъ ея вспоминаетъ о ней разъ въ цѣлые годы; даже черненѣкое поминанье, въ которое она записывала всѣхъ и въ которое я когда-то записалъ мою детскую рукою ея имя—и оно гдѣ-то пропало тамъ въ Москвѣ, и еще, можетъ быть, не разъ служило предметомъ шутокъ и насмѣшекъ... Господи, какія у насъ бываютъ женщины! Сколько добра и правды! Какое высокое пониманіе истины сердцемъ! Моя мать, напримѣръ, едва умѣвшая писать имена въ своею поминаніѣ, и этотъ Шпандорчукъ, или Вырвичъ...

— Зачѣмъ вы ихъ троихъ вспоминаете вмѣстѣ? произнесла чутъ слышно, отворачиваясь въ сторону, Дора. Слезы обильнымъ ручьемъ текли у нея по обѣимъ щекамъ.

— А я! ея дитя, вскормленное ея грудью, выученное ею читать добро, любить, молиться за враговъ—что я такое?... Поэзію, искусства, жизнь какъ будто понимаю, а понимаю ли себя? Зачѣмъ неѣть мира въ костяхъ моихъ? Что я наконецъ такое? Вырвичъ и Шпандорчукъ по всему лучше меня.

— Вы лучше ихъ, произнесла скороговоркою, не оборачиваясь, Дора.

— Они могутъ быть полезнѣе меня.

— Вы всегда будете полезнѣе ихъ, опять такъ же спѣшно оторвала Дора.

— Вы знаете... вотъ мы, вѣдь друзья, а я, впрочемъ, никогда и вамъ не открывалъ такъ мою душу. Вы думаете, что я только слабъ волею... неѣть! Во мнѣ еще сидитъ какой-то червякъ! Мнѣ все скучно; я все какъ будто не на своею мѣстѣ; все мнѣ кажется... что я сдѣлаю что-то дурное, преступное, чего никогда-никогда нельзя будетъ поправить.

— Что жъ это такое? спросила, медленно поворачиваясь къ нему лицомъ, Дора.

— Не знаю. Я все боюсь чего-то. Я просто чувствую, что у меня впереди есть какое-то ужасное несчастіе. Ахъ, мнѣ не надо жить съ людьми! Мнѣ не надо встречаться съ ними! Это все,

что какъ нибудь улыбается мнѣ, этого всего не будетъ. Я не умѣю жить. Все это, что есть въ мірѣ хорошаго, это все не для меня.

— Васъ любять.

— И изъ этого ничего не будетъ, отвѣчалъ, покачавъ головою, Долинскій.— Я вѣрю въ мои предчувствія.

— А они говорятъ?

— Что чтѣ-то близится страшное; что чтѣ-то такое мое до меня близится; что этотъ врагъ мой...

— Близокъ?

— Да. Мать моя предчувствовала свою смерть, я предчувствую свою погибель.

— Не говорите этого! сказала строго Дора.

— Пусть только бы скорѣе, истома хуже смерти.

— Не говорите этого! Слышите! Не говорите этого при мнѣ! сердито крикнула, вся измѣнившись въ лицѣ, Дора и окинувъ Долинскаго грознымъ, величественнымъ взглядомъ, прошептала: *пророкъ!*

Ни одинъ трагикъ въ мірѣ не могъ бы передать этого страшнаго, разлетѣвшагося надъ моремъ шопота Доры. Она истинно была и грозна, и величественна въ эту минуту.

— За то, началь Долинскій, когда Дора, пройдясь нѣсколько разъ взадъ и впередъ по берегу, снова сѣла на свое мѣсто: — кончается мое незабвенное дѣтство и съ пимъ кончается все хорошее.

— Да... ну, продолжайте: какова была, напримѣръ, любовь вашей жены вначалѣ хотя? разспрашивала, силясь успокоиться, Дора.

— А кто ее знаетъ, что это была за любовь? Я только одно знаю, что это было что-то небезкорыстное.

— Не понимаю.

— Ну, и славу-богу.

— Нѣть, вы расскажите это.

— Говорю вамъ, что безкорыстья не было въ этой любви. Не знаете какъ любить, какъ арендную статью?

— Все *по праву* требуютъ, а не по сердцу.

— Ну, вотъ вы и понимаете!

— А братъ вашъ?

— Я его очень любилъ; но мы какъ-то отвыкли другъ отъ друга.

- Зачѣмъ же? зачѣмъ же отвыкать?
- Разъѣхались, разбросало нась по разнымъ мѣстамъ.
- Какъ будто мѣста могутъ разорвать любовь?
- Поддержать ее не умѣли.
- Это дурно.
- Да, хорошаго ничего нѣтъ.
- Кто же это: вы ему перестали писать, или онъ вами?
- Нѣтъ, онъ.
- А вы ему писали?
- Писалъ долго, а потомъ и я пересталъ.
- Дорушка задумалась.
- Ну, а сестра? спросила она послѣ короткой паузы.
- Сестра моя?... Богъ ее знаетъ! говорятъ, такъ себѣ...  
*барыня.*
- По «правиламъ» живеть, смѣясь сказала Даша.
- По «правиламъ», смѣясь же отвѣчалъ Долинскій.
- Эгоистка она?
- Нѣтъ.
- А что же?
- Я вами сказаль: барыня.
- Добрая?
- Такъ... не злая.
- Незлая и недобрая?
- Незлая и недобрая.
- Господи! въ самомъ дѣлѣ, съ какою вы обстановкой жили послѣ матери! Страшно просто.
- Теперь все это прошло, Дорушка. Теперь я живу съ хорошими людьми. Вотъ Анна Михайловна—хорошій человѣкъ; вы—золотой человѣкъ.
- Анна—хорошій, а я—золотой! чѣмъ же лучше: золотой, или хороший?
- Обѣ вы хорошие человѣкіи.
- Значитъ, «обѣ лучше». А которую вы больше любите?
- Васъ, конечно.
- Ну—то-то.
- Они разсмѣялись и наговорившись досыта пошли домой.

VII.

ЛЮБОВЬ ДО СЛЕЗЪ ГОРЮЧИХЪ.

Тихое однообразіе ницкой жизни Доры и ея спутника продолжалось ненарушенное ничѣмъ ни съ одной стороны, но при всемъ этомъ оно не было тѣмъ утомительнымъ *semper idem*, при которомъ всякое чувство и всякое душевное настроеніе способно переходить въ скучу. Одинъ недавно умершій русскій писатель, владѣвшій умомъ обаятельной глубины и свѣтлости, человѣкъ увлекавшійся безмѣрно и соединявшій въ себѣ крайнюю необузданность страстей съ голубиною прегостью духа, восторженно утверждалъ, что для людей живыхъ, для людей съ *искрой божіей* нѣть *semper idem* и что такие, живые люди, оставленные самимъ себѣ, никогда другъ для друга не исчерпываются и не теряютъ великаго жизненнаго интереса; остаются другъ для друга вѣчно, такъ-сказать, недочитанною любопытною книгою. Отъ слова до слова я помнилъ всегда оригинальныя, полныя самаго горячаго поэтическаго вдохновенія рѣчи этого человѣка, хлеставшія бурными потоками въ спорѣ о всѣмъ извѣстной старенькой книжкѣ Saint Pierre «Paul et Virginie», и теперь, когда исторія событий доводитъ меня до этой главы романа, въ ушахъ моихъ снова звучать эти пылкія рѣчи смѣлага адвоката за право духа и человѣкъ снова начинаетъ мнѣ представляться недочитанною книгою.

Дорушка и слышать не хотѣла ни о какихъ знакомствахъ, и ни о какихъ разнообразіяхъ. Когда Долинскій случайно познакомился гдѣ-то въ *café* съ братомъ Вѣры Александровны Онучиной, Кириломъ, и когда Кирилъ Александровичъ сдѣлалъ Долинскому взить и потомъ еще навѣстилъ его два или три раза, Дорушка не то что дулась, не то чтобы тяготилась этимъ знакомствомъ, но точно какъ будто боялась его, тревожилась, находила себя въ какомъ-то человкомъ, непримонъ положеніи. А Кирилъ Онучинъ не былъ совсѣмъ же непріятный аристократъ, ни демократическій фатъ, ни левъ, ни франтъ дурного тона. Это былъ человѣкъ самый скромный, и вообще типъ у насъ довольно рѣдкій. По происхожденію, состоянію, а равно по тонкости и бѣлизнѣ кожи, сквозь которую видно было, какъ благородная кровь переливается въ тоненькихъ, голубыхъ жилкахъ его висковъ, Кирилъ Онучинъ былъ аристократъ, но ни одного аристократическаго стремленія, ни одного исключительнаго порока и недостатка, свой-

ственного большинству нашихъ русскихъ патриціевъ, въ Кирилѣ Онучинѣ не было и запаха, и тѣни. Въ собственной семье онъ былъ очень милымъ и любимымъ лицомъ, но лицомъ таки ровно ничего незначащимъ; въ обществѣ, съ которымъ водилась его мать и сестра, онъ значилъ еще менѣе.

— Кириль Онучинъ?... Да какъ бы это вамъ сказать, что такое Кириль Онучинъ? отвѣчалъ вамъ, разводя врозь руками всякой, у кого бы вы ни вздумали освѣдомиться объ этомъ экземплярѣ.

Въ существѣ же длинный и кротчайшій Кириль Сергеевичъ былъ страстный ученый, любившій науку для науки, а жизнь свою какъ средство знать и учиться. Онъ почти всегда или читалъ, или писалъ, или что нибудь препарировалъ. Въ жизни онъ былъ самый милый невѣжда, но въ ботаникѣ, химії и сравнительной анатоміи знатокъ великий. Скромнѣйшимъ образомъ возился онъ съ листочками да корешочками, и никому рѣшительно не была извѣстна мѣра его обширныхъ знаній естественныхъ наукъ; но когда Орсина бросила свои бомбы подъ карету Наполеона III-го, а во всѣхъ кружкахъ затолковали обѣ этихъ ужасныхъ бомбахъ и недоумѣвали, что это за составъ былъ въ этихъ бомбахъ, Кириль Сергеевичъ одинъ разъ вызвалъ потихоньку въ садъ свою сестру, сталь съ нею подъ окномъ каменного гrotа, показалъ крошечную, черненѣкую грушку, велчиною въ маленький женскій наперстокъ, и загнувъ руку,бросилъ этотъ шарикъ на полъ гrotа. Страшный взрывъ потрясъ не только всѣ стѣны гrotа, но и земляную, заросшую дерномъ насыпь, которая покрывала его старинные своды.

— Вотъ видишь, только это въ крошечномъ размѣрѣ, а то, вѣрно, въ большомъ, разсказывалъ Кириль Сергеевичъ перепутанной его опытомъ сестрѣ, и никому болѣе не говорилъ обѣ этомъ ни одного слова.

Этотъ смиренный человѣкъ рѣшительно не могъ ничѣмъ произвести въ Дорѣ дурное впечатлѣніе, но она, очевидно, просто на просто не хотѣла никакихъ знакомствъ. Ей просто не хотѣлось имѣть передъ глазами и на слуху ничего способнаго каждую минуту напомнить о Россіи, съ воспоминаніемъ о которой связывалось кое-что другое, смутное, но тяжелое, о которомъ лучше всего не хотѣлось думать.

Не давая ярко проявляться своему неудовольствію за это новое знакомство съ Онучинными, Дора выбила этотъ клинъ другимъ клиномъ: замѣнила знакомство Онучиныхъ знакомствомъ съ

дочерью молочной сестры madame Бюжаръ, прехорошенькою Жервезой. Эта Жервеза была очень милая женщина съ добрымъ, живымъ французскимъ лицомъ, покрытымъ постоянно сильнымъ загаромъ, придававшимъ живымъ и тонкимъ чертамъ еще большую свѣжесть. Ей было около двадцати-двухъ лѣтъ, но она уже имѣла шестилѣтнаго сына, котораго звали Пьеро, и второго, грудного, Жона. Мужъ Жервезы, прехорошенький парискъ, щеголявшій всегда чистенькою рубашкой, яркимъ галстукомъ и кокетливой курткой, былъ огородникъ. У нихъ былъ свой очень маленький крестьянскій домикъ, въ трехъ или четырехъ верстахъ отъ города. Домикъ этотъ стоялъ на краю одной узенькой деревенской дорожки при зеленой долинѣ, съ которой несло вѣчной свѣжостью. Жервеза и Генрихъ (ея мужъ) были собственники. Собственность ихъ состояла пзъ этого домика, съ крошечнымъ дворикомъ, крошечнымъ огороженнымъ грядъ въ десять или пятнадцать и огороженнымъ лужкомъ съ русскую тридцатную десятину. Это было наслѣдственное богатство сиротки Жервезы, которое она принесла съ собою своему молоденькому мужу. Потомъ у нихъ на этомъ лужкѣ гуляли четыре очень хорошия коровы, на дворѣ стояла маленькая желтенькая тележка съ красными колесами и небольшая, лапоухая мышастая лошадка, болѣе похожая на осла, чѣмъ на лошадь. Если прибавимъ къ этому еще десятка полтора куръ, то получимъ совершенно полное и обстоятельное понятіе о богатствѣ *молочной красавицы*, какъ называли Жервезу горожане, которымъ она аккуратно каждое утро привозила на своей мышастой лошадкѣ молоко отъ своихъ коровъ и яйца отъ своихъ куръ. Мужъ Жервезы бывалъ цѣлый день дома только въ воскресенье. Въ простые дни онъ обыкновенно вставалъ съ зарею, запрягалъ женѣ лошадь и съ зеленою шерстяною сумою за плечами уходилъ до вечера работать на чужихъ, большихъ огородахъ. Жервеза въ эту же пору усаживалась между кувшинами и корзинами въ свою крошечную тележку и катила на своей лапоушкѣ въ нѣжащейся еще во снѣ городѣ. Старшій сынъ ея обыкновенно оставался дома съ мужиной сестрою, десятилѣтнею дѣвочкой Аделиной, а младшаго она всегда брала съ собою, и ребенокъ или сладко спалъ, убаюкиваемый тихою тряскою тележки, или при всей красотѣ природы съ аппетитомъ сосалъ материно молоко, хлопаль ее полненькой рученкой по смуглой груди и улыбался, зазирая изъ-подъ косынки на черные глаза своей кормилицы.

Эта Жервеза каждый день являлась къ madame Бюжаръ, и оставивъ у нея ребёнка, отправлялась развозить свои продукты, а потомъ заѣзжала къ ней снова, выпивала стаканъ кофе, брала ребёнка и съ купленнымъ для супу кускомъ мяса спѣшила домой. Дорушка нѣсколько разъ видѣла у madame Бюжаръ Жервезу, и молочная красавица ей необыкновенно нравилась.

— Это Маріи, говорила она Долинскому:—а не мы, Марѳы, кажется, только и стоющія одного упрека... Можетъ быть, только мы и выслужимъ за свое мареунство.

— Опять новое слово, замѣтилъ весело Долинскій: — то разъ было комонничать, а теперь мареунствовать.

— Всякое слово хорошо, голубчикъ мой, Несторъ Игнатьичъ, если оно выражаетъ то, что хочется имъ выразить. Академія наукъ не знаетъ всѣхъ словъ, которыя нужны, отвѣчала ласково Дора.

Быстро и сильно увлекаясь своими симпатіями, Дора совсѣмъ полюбила Жервезу, вспоминала о ней очень часто, и говорила, что она отдыхаетъ съ нею духомъ, и не можетъ на нее налюбоваться.

Въ то время, когда съ Долинскимъ познакомился Кирилль Онучинъ, у Жервезы случилось горе: мужъ ея, впервые послѣ шести лѣтъ, уѣхалъ на какую-то очень выгодную работу на два, или на три мѣсяца, и Жервеза очень плакала и грустила.

— Онъ у меня такой недурненъкій, такой ласковый, а я одна остаюсь, напивно жаловалась она теткѣ Бюжаръ и Дорушкѣ.

— Ай, ай, ай! говорила ей, качая сѣдою головою, старушка Бюжаръ.

— Ну, да! хорошо вамъ разсуждать-то, отвѣчала печально, обтирая слезы, Жервеза.

Горе этой женщины было, въ самомъ дѣлѣ, такое граціозное, поэтическое и милое, что и жаль ее было, и все-таки нельзя было не любоваться самымъ этимъ горемъ. Дорушка перемѣнила мѣсто прогулокъ и стала навѣщать Жервезу. Когда они пришли къ «молочной красавицѣ» въ первый разъ, Жервеза ужинала съ сыномъ и мужниной сестренкой. Она очень обрадовалась Долинскому и Дорѣ; краснѣла, не знала какъ ихъ посадить и чѣмъ угостить.

— Милочка, душечка Жервеза, и ничего больше, успокоивала ее Дора.—Совершенно французская идилія изъ повѣсти или романа, говорила она, выходя съ Долинскимъ за калитку дворика:—

благородная крестьянка, коровки, дѣти, куры, молоко и лужайка. Какъ странно! Какъ глупо и пошло мнѣ это представлялось въ описаніяхъ, и какъ это хорошо, какъ спокойно ото всего этого, на самомъ дѣлѣ. Жервеза, возьмите, милая, меня жить къ себѣ.

— Oh, mademoiselle, какъ это можно! Мы не умѣемъ служить вамъ; у насть... тѣсно, спокойно, увѣряла «молочная красавица».

— А вотъ, mademoiselle Дора думаетъ, что у васъ-то именно очень спокойно.

— Oh, non, monsieur! Коровы, куры утромъ кричатъ, дѣти плачутъ; мой Генрихъ тоже встаетъ такъ рано и начинаетъ рубить дрова, да нарочно будитъ меня своими пѣснями.

— Но теперь вашъ Генрихъ не рубить вамъ дровъ, и не поетъ своихъ пѣсенъ?

— Да, теперь онъ бѣдный не поеть тамъ своихъ пѣсенокъ.

— А, можетъ быть, и поетъ, пошутила Дора.

— Поетъ! Ахъ нѣтъ, не поетъ онъ. Вы вѣдь не знаете, mademoiselle, какъ онъ меня любить: онъ такой недурненький и всегда хочетъ целовать меня... Я просто, когда только вздумаю, кто ему тамъ чистить его бѣлье, кто ему починить если разорвется его платье, и мнѣ такъ хочется плакать, мнѣ дѣлается такъ грустно... когда я только подумаю, что...

— Кто-нибудь другой тамъ вычистить его бѣлье, и его по-далуетъ?

— Mademoiselle! зачѣмъ вы мнѣ это говорите? произнесла блѣднѣя «молочная красавица», и кружка заходила въ ея дрожащей рукѣ.—Вы знаете что-нибудь, mademoiselle? спросила она, дѣлая шагъ къ Дорѣ, и быстро вперяя въ нее полные слезъ и страха глаза.

— Что вы! что вы, бѣдная Жервеза! Успокойтесь, другъ мой, я пошутила, говорила встревоженная Дора, вставая и целуя крестьянку.

— Честное слово, что вы пошутили?

— Даю вамъ честное слово, что я пошутила, и что я, напротивъ, увѣренна, что Генрихъ любить васъ, и ни за что вамъ не измѣнитъ.

— Увѣренъ въ этомъ, mademoiselle, никто не можетъ быть, но я лучше хочу сомнѣваться, но... вы никогда, mademoiselle, такъ не шутите. Вы знаете, я завтра оставлю дѣтей и хозяйство, и пойду сейчасъ, возьму его назадъ оттуда, если я что-нибудь узнаю.

— Однако, какъ плохо шутить-то! проговорила порусски Дора, когда Жервеза успокоилась и начала высказывать свои взглѣды.

— Вѣдь я ему вѣрна, mademoiselle Дора; я ему совсѣмъ вѣрна; я противъ него даже помысломъ невиновата, и я люблю его, потому что онъ у меня такой недурненький и ласковый, и по-тому вѣдь мы же сѣть нимъ, mademoiselle, вѣнчались; онъ не долженъ сдѣлать противъ меня ничего дурнаго. Прекрасно еще было бы! Нѣтъ, если я тебя люблю, такъ ты это знай и помни, и помни, и помни, говорила она, развеселья и цалуя за каж-дымъ словомъ своего ребёнка. Вы вѣдь знаете, мы шесть лѣтъ женаты, и мы никогда, рѣшительно никогда не ссорились съ моимъ Генрихомъ.

— Эго рѣдкое счастье, Жервеза.

— Ахъ правда, mademoiselle, что рѣдкое! Мы оба съ Генрихомъ такие... какъ бы вамъ сказать? Мы оба всегда умно ведемъ себя: мы цѣлый день работаемъ, а ужъ за то, когда онъ при-ходитъ домой, mademoiselle, мы совсѣмъ сумасшедшие; мы все цалуемся, все падаемъ.

Дора и Долинскій оба весело разсмѣялись.

— Ахъ, pardon, monsieur, что я это при васъ рассказываю!

— Пожалуйста, говорите, Жервеза; это такъ рѣдко удается слышать про счастье.

— Да, это правда, а мы съ Генрихомъ совсѣмъ сумасшедшие: какъ я ему только отворяю вечеромъ дверь, я схожу съума и онъ тоже.

— А чѣмъ вы думаете, Жервеза, обѣ этомъ господинѣ? *Не дурненъкій* онъ или нѣтъ? говорила Дора, прощаясь и указывая Жервезѣ на Долинскаго.

«Молочная красавица» посмотрѣла на Нестора Игнатьича, ко-торый былъ безъ сравненія лучше ея Генриха, и улыбнулась.

— Чѣмъ же? переспросила ее Дора.

— Генрихъ лучше всего міра! отвѣчала ей на ухо Жервеза.— Онъ такъ меня цалуетъ, шептала она скороговоркой:—что у меня голова такъ кружится, кружится-кружится, и я ничего не помню послѣ.

На первой полуверстѣ отъ дома молочной красавицы, Дорушка остановилась разъ шесть, и принималась весело хохотать, вспо-миная наивную откровенность своей Маріи.

— Да-съ, однако, шутить-то съ вашей Маріей не очень лег-

ко: за ухо приведеть и скажеть: нѣть, ты мой мужъ; помни это, голубчикъ! говорилъ Долинскій.

— Ну, да, да, это очень наивно; но вѣдь она на это право имѣеть: видите, она за то вся живеть для мужа и въ мужѣ.

— Вы это оправдываете?

— Извиняю. Еслибы Жервеза была не такая женщина, какая она есть; еслибы она любила въ мужѣ самое себя, а не его, тогда это, разумѣется, было бы неизвинительно; но когда женщина любить истинно, тогда ей должно прощать, что она смотритъ на любимаго человѣка, какъ на свою собственность, и не хочетъ потерять его.

— А если она ревнуетъ, лежа какъ собака на сѣнѣ?

— Тогда она собака на сѣнѣ.

— Видите, начала, подхода къ городу, Дора:—почему я вотъ и назвала такихъ женщинъ Маріами, а нась—многорѣчивыми Мареами. Какъ это все у нея просто, и все выходитъ изъ одного люблю.—Почему люблю?—Потому, что онъ такой недурненький и ласковый. А совсѣмъ нѣть! Она любить потому, что любитъ его, а не себя, и потомъ все ужъ это у нея такъ прямо идетъ—и преданность ему, и забота о немъ, и боязнь за него, а у нась пойдетъ мареунство: какъ? да чтѣ? да, можетъ быть, иначе нужно? И пойдутъ эти надутыя лица, супленье, скитанье по угламъ, доказыванье характера, и прощай счастье. Люби просто, такъ все и пойдетъ просто изъ любви, а начнуть вотъ этакъ пещися и молвить о многомъ—и все пойдетъ, какъ ключъ ко дну.

— Правда въ вашихъ словахъ чувствуется великая и, конечно, внутренняя правда, а не логическая и, стало-быть, самая вѣрная; но вѣдь вотъ какая тутъ исторія: думаешь о любви какъ-то такъ хорошо, что какъ ни новстрѣчаешься съ нею, все обыкновенно не узнаешь ее... все она бѣднѣе чѣмъ-то. И опять хочется настоящей любви, такой, какая мечтается, а настоящая любовь...

— Есть любовь Жервезъ, подсказала Дора.

— Любовь Жервезъ? Я не корю ее, но почемъ вы знаете, чего здѣсь болѣе—любви, или привязанности и страсти, или убѣженія, что все это такъ быть должно. Охъ, настоящая любовь—большое дѣло! Она скромна, она молчить... Нѣть, настоящая любовь... нѣть ея, кажется, нигдѣ даже.

Дорушка тихо повернулась лицомъ къ Долинскому.

— Настоящая любовь, сказала она:—вѣрно тамъ, гдѣ нѣть нась?

— Можетъ быть.  
— И гдѣ мы не были, пожалуй?  
— Да это будетъ одно и то же.  
— Ай, ай, ай, на какихъ вещахъ вы даете ловить себя, Долинскій! протянула Дора, и дернула за звонокъ у воротъ своего дома.

— Вы, кажется, вчера вывели изъ нашего разговора какое-то новое заключеніе? спрашивалъ ее на другой день Несторъ Игнатьичъ.

— Новое!... никакого, отвѣчала, улыбнувшись, Дора.

Дней черезъ пять Дора снова вздумала идти къ Жервезѣ. Проходя мимо одной лавки, они накупили для дѣтей фруктовъ, конфетъ, лентъ для старшей дѣвочки, кушакъ для самой молочной красавицы, и вышли съ большими бумажными конвертами за городъ.

Не нужно много трудиться надъ описаніемъ этихъ сине-розовыхъ вечеровъ береговыхъ мѣстъ Средиземаго моря: ни Айвазовскаго кисть, ни самое художественное перо все-таки не передаютъ ихъ вѣрно. Вечеръ былъ божественный, и Дора съ Долинскимъ не замѣтили, какъ дошли до домика молочной красавицы.

Когда Долинскій нагнулся, чтобы сбить угломъ платка пыль, насѣвшую на его лакированный ботинокъ, пзъ растворенного низенькаго и очень широкаго окна послышалось какое-то очень стройное пѣніе: женскій, довольно слабый контратъ и дѣтскіе, неровные дисканты.

Дорушка приподняла платье, тихоничко подошла къ окну и остановилась за густымъ кустомъ, по которому сплошно сѣтью ползли синіе усы винограда. Долинскій такъ же тихо послѣдовалъ за Дорою, и остановился у ея плеча.

— Тсс! произнесла чутъ слышно Дора и, не оборачиваясь къ Долинскому, погрозила ему пальцемъ.

Чистенькая бѣлая комната молочной красавицы была облита нѣжнымъ краснымъ свѣтомъ только что окунувшагося въ море горячаго солнца; старый орѣховый комодъ, закрытый бѣлой салфеткой; молящійся бронзовый купидонъ и грустный ликъ Мадоны, съ сердцемъ, пронзеннымъ семью мечами, все смотрѣло необыкновенно тихо, нѣжно и серьезно. Изъ комнаты не слышно было ни звука. Черезъ верхнія вѣтки куста Долинскій увидалъ Жервезу. Молочная красавица въ яркомъ спензерѣ и высокомъ бѣломъ чепцѣ стояла на колѣняхъ. На локтѣ лѣваго рукава ея бѣлой

рубашки лежалъ небольшой черненький шарикъ. Это была головка ея младшаго сына, который тихо сосалъ грудь, и на котораго она смотрѣла въ какой-то забывчивости. Рядомъ съ Жервезою, также на колѣняхъ, съ сложенными на груди ручонками, стояла десятилѣтняя сестра жервезинаго мужа, а слѣва опять на колѣняхъ же помѣщался ея старшій сынъ. Пятилѣтній Пьеро былъ босикомъ, въ синихъ нанковыхъ штанишкахъ и желтоватой нанковой же курточкѣ. Мальчикъ тоже держалъ руки скавши на груди, но смотрѣль въ бокъ на окно, на которомъ сидѣлъ бѣлыи котенокъ, преграціозно раскачивающій лапкою привѣщенное на ниткѣ красное райское яблочко.

Жервеза взяла мальчика за плечо и тихо повернула его лицо къ Мадонѣ, и тотчасъ же запѣла: «Ты, который все видишь, всѣхъ любишь и со всѣми живешь, приди и живи въ нашемъ сердцѣ».

Дѣти пѣли за Жервезой не совсѣмъ согласно, отставали отъ нея и повторяли слова нѣсколько позже, но тѣмъ не менѣе, въ этомъ несмѣломъ тріо была гармонія удивительная.

«И тѣхъ, которыхъ нѣть съ нами, Ты также помилуй, и съ ними живи, пѣла Жервеза послѣ первой молитвы.—Злыхъ и недобрыхъ прости, и всѣхъ научи насъ другъ друга любить, какъ правду любилъ Ты, за насъ на крестѣ умирая».

При концѣ этой молитвы двое старшихъ дѣтей начинали немного тревожиться. Они розняли свои ручонки, робко дотрогивались до бѣлыхъ рукавовъ Жервезы и заглядывали въ ея глаза. Видно было, что они ожидали чего-то, и знали чего ожидаютъ.

«А тѣхъ, которые любятъ другъ друга, запѣла молочная красавица голосомъ, въ которомъ съ первого звука зазвенѣли слезы: — тѣхъ Ты соедини и не разлучай никогда въ жизни. Избавь ихъ отъ несносной тоски другъ о другѣ; верни ихъ другу въ другу все съ той же любовью. О, пошли имъ, пошли имъ любовь Ты до вѣка! О, сохрани ихъ отъ страстей и соблазновъ, и не попусти одному сердцу разбить навѣки другое!»

Слезы, плывшія въ голосѣ Жервезы и затруднявшія ея пѣніе, разомъ хлынули цѣльнымъ потокомъ, съ стонами и рыданіями тоски и боязни за свою любовь и счастье. И чего только, какихъ только словъ могучихъ, какихъ душевныхъ движений не было въ этихъ разрывающихъ грудь звукахъ!

— Молись, молись, Пьеро, за своего отца! Молись за мать

твою! Молись за насъ, Алиночка! говорила Жервеза, плача и прижимая къ себѣ обхватившихъ ее дѣтей.

Минуты три въ комнатѣ были слышны только вздохи и тихій, неровный шопотъ; даже бѣлый котенокъ пересталъ колыхать лапкой свое яблочко.

Долинскій оглянулся на Дашу: она стояла на колѣняхъ и смотрѣла въ окно на блѣдное лицо Мадоны; въ длинныхъ, темныхъ рѣсницахъ Доры дрожали слезы.

Долинскій снялъ шляпу и смотрѣлъ на золотую голову Доры.

— Полно намъ плакать, произнесла въ это время успокоившаяся Жервеза:— будемъ молиться за бѣдныхъ дѣтей.

«Бѣднымъ дѣтямъ, запѣла она спокойнѣе:— дѣтамъ-сироткамъ будь Ты отцомъ; и обрадуй ихъ лаской твою, и добрыхъ людей имъ пошли Ты на встрѣчу, и доброй рукою подай имъ и хлѣба, и плаща, и дай имъ веселое дѣтство...»

Дѣти начали кланяться въ землю, и молитва повидимому приходила къ концу. Дорушка замѣтила это; она тихо встала съ колѣнъ, подняла съ травы лежавшій возлѣ нея бумажный мѣшокъ съ плодами, подошла къ окну, положила его на подоконникъ, и незамѣченная никѣмъ изъ семьи молочной красавицы, скоро пошла изъ садика.

— Чѣмъ молится такъ, Долинскій? спросила она, остановившись за угломъ, и прежде чѣмъ Долинскій усаѣлъ ей чтонибудь отвѣтить, она сильно взяла его за руку и съ особымъ ударениемъ сказала:— такъ молится любовь! Любовь такъ молится, а не страсть, и не привязанность.

— Да, это молилась любовь.

— Это сама любовь молилась, Несторъ Игнатьичъ, истинная любовь, простая, чистая любовь до слезъ и до молитвы къ Богу.

Дорушка тронулась впередъ по сѣрой, пыльной дорожкѣ.

— Чѣмъ жь, вы не зайдете, развѣ? спросилъ ее Долинскій.

— Куда?

— Да къ нимъ?

— Къ нимъ?... Знаете, Несторъ Игнатьичъ, чѣмъ представляется мнѣ теперь этотъ домъ? проговорила она, оборачиваясь и протягивая въ воздухъ руку къ домику Жервезы. — Это горящая купина, къ которой не должны подходить наши хитрыя ноги.

— Стопы лукавыхъ.

— Да, стопы лукавыхъ! Сдѣлайте милость, не пробуйте опять нигилистничать: совсѣмъ вѣдь не къ лицу вамъ эти лица.

— Они только будут удивляться, откуда взялся мешокъ, который вы имъ положили.

— Не будутъ удивляться: это Богъ прислалъ дѣтамъ за ихъ хорошія молитвы.

— И прислалъ черезъ лучшаго изъ своихъ земныхъ ангеловъ.

— Вы такъ думаете?

— Удивительная вы дѣвушка, Дора! Кажется, нѣжнѣе и лучше васъ, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ женскаго существа на свѣтѣ.

— Тутъ одна, сказала Дора, снова остановясь и указывая на исчезающій за холмомъ домикъ Жервезы: — а вонъ тамъ другая, добавила она, бросивъ рукою по направленію на сѣверъ. — Вы, пожалуйста, никогда не называйте меня доброю. Это значить, что вы меня совсѣмъ не знаете. Какая у меня доброта? — ну, какая? Что меня любятъ, а я не кусаюсь, такъ въ этомъ доброты нѣтъ; послѣ этого вы, пожалуй, и о себѣ способны возмечтать, что и вы даже добрый человѣкъ.

— А развѣ же я, Дарья Михайловна, въ самомъ дѣлѣ, по вашему, злой человѣкъ?

— Эхъ, да что, Несторъ Игнатьичъ, въ такой нашей добротѣ проку-то! Вонъ анина, или жервезина доброта — такъ это доброта: всѣмъ около нихъ хорошо, а наша съ вами доброта, это... вотъ именно художественная-то доброта: впечатлительность, порывы. Вы вѣдь не знаете, какое у меня порочное сердце и до чего я бываю иногда зла въ душѣ. Вотъ не далѣе, какъ... когда это мы были первый разъ у Жервезы?... ухъ, какъ я тогда была зла на васъ! И что это, въ самомъ дѣлѣ, вамъ тогда пришло въ голову увѣрять меня, что это не любовь, а привязанность одна, и какія-то тамъ глупыя страсти?

— Мнѣ такъ показалось.

— Врете! все врете, и опять начинаете сердить меня. Охъ, да какъ я васъ знаю, Несторъ Игнатьичъ! Еслибы я замѣтила, что меня кто-нибудь такъ знаетъ и насквозь видитъ, какъ я васъ, я бы... просто ушла отъ такого человѣка на край свѣта. Вы мнѣ это тогда говорили вотъ почему: потому что безхарактерность у васъ, должно быть, простирается иногда такъ далеко, что даже, будучи хорошимъ человѣкомъ, вы вдругъ надумаете: а, ну-ка, я понигилистничая! — можетъ быть, это правильнѣй? И я только не хотѣла вамъ говорить этого, а ужасно вы мнѣ были противны въ тотъ вечеръ.

— Даже противенъ?

— Даже гадки, если хотите. Чѣдъ это такое? первое дѣло—оскорбляетъ ни за что, ни про что любовь женщины, а потомъ чѣмъ же вы сами-то были?—Шпандорчукъ какой-то, не то Вырвичъ—обезьянка петербургская.

— Вотъ то-то оно и есть, Дарья Михайловна, что судъ-то людской не божій: всегда въ немъ много ошибокъ, отвѣчаль спокойно Долинскій.—Совсѣмъ я не обезьянка петербургская, а худъ ли, хорошъ ли, да ужъ такой, какимъ меня Богъ зародилъ. Вамъ угодно, чтобы я оправдывался — извольте! Знаете ли вы, Дарья Михайловна, все, о чёмъ я думаю?

— Конечно, не знаю.

— Совершенная правда, и потому, стало-быть, не знаете, до чего и какъ я иногда додумываюсь. Я не нигилистничалъ, Дарья Михайловна, когда выразилъ ошибочное мнѣніе о любви Жервезы, а вотъ какъ это было: очень давно мнѣ начинаетъ казаться, что все, что я считалъ когда-нибудь любовью, есть совсѣмъ не любовь; что любовь... это совсѣмъ не то будетъ, пя на этомъ пункѣ, если вамъ угодно, сбился съ толку. Я все припоминаю, какъ это случалось, хоть и со мною даже... пдеть, идетъ будто вотъ совсѣмъ и любовь, а потомъ вдругъ кракъ, смотришь — все какое-то такое вялое, сухое, и чувствуешь, что нѣтъ, что это совсѣмъ не любовь, и я думаю, что нѣтъ, ну вотъ нѣтъ любви. Тутъ совсѣмъ не за что на меня сердиться. Развѣ въ томъ только моя вина, что не отучусь именно изъ себя-то сто разъ все мотать, да перематывать, а ужъ въ обезьянничествѣ я невиноватъ. Помилуйте, мнѣ вотъ очень даже часто приходитъ въ голову, какъ люди умираютъ? Какъ это послѣдняя минута?... вотъ вдругъ есть, и нѣту... Бываютъ минуты, когда я никакъ этого вообразить себѣ не могу, и отчего, откуда приходятъ эти страшныя минуты? — этого никакъ не подстережешь. Вы помните, какъ я одинъ разъ въ Петербургѣ уронилъ стѣнныя часы въ мастерской и поймалъ ихъ за два какихъ-нибудь вершка отъ полу?

Дорушка кивнула утвердительно головою.

— Ловокъ! подумалъ я себѣ тогда, а вотъ какъ-то ты увернешься отъ смерти? пошло ходить у меня въ головѣ; вотъ-вотъ-вотъ схватиться бы за чтонибудь, и не схватишься. И что жъ вы скажете? — я до такой степени все это выматывалъ, что серьёзно, ясно и сознательно сталъ ощущать, что я ужъ когда-то что-то такое ловилъ и не поймалъ, и умеръ, и опять живу. Ум.

реть кто нибудь — мнѣ сейчасъ опять какой-то этакій блѣдный шаръ представляется; ловиши его, и вдругъ бацъ, не поймалъ, умеръ, и сейчасъ что-то мнѣ въ этомъ знакомое есть, что я ужъ это пережилъ... Я *увѣренъ* въ этомъ, наконецъ, бываю! Такъ не осуждайте же меня, пожалуйста, за Жервезу: я, право, больной человѣкъ; мнѣ въ тотъ день такъ казалось, что нѣтъ, нѣтъ, и нѣтъ никакой любви, а, право, это не обезьянничество.

— Ну, хорошо, ну, пусть вамъ эта вина прощается за ваши недуги; но нынче-съ!... позвольте васъ искренно, по душѣ, по совѣсти просить отвѣтить: чего вы стояли этакимъ рыцаремъ и таращили на меня глаза, когда мнѣ захотѣлось помолиться съ Жерvezой?

— Я таращился! — нисколько. Я просто смотрѣлъ на васъ, потому что мнѣ пріятно было смотрѣть на васъ, потому что вы необыкновенно какъ хороши были, у этого куста на колѣняхъ.

— Пожалуйста, пожалуйста, Несторъ Игнатьичъ! Знаю я васъ. Я знаю, что я хороша и вы мнѣ этимъ не польстите, и вы тоже вѣдь очень... этакій интересный Наль, тоскующій о Дамаянти, а однако я чувствовала, что тамъ было нужно молиться, и я молилась, а вы... Сняль шляпу и сейчасъ же сконфузился и стала соглядатаемъ, мммъ! ненавистный, перѣштительный человѣкъ! Отчего вы не молились?

— Ахъ, Дарья Михайловна, какой вы ребёнокъ! Ну, развѣ можно задавать такие вопросы? Вѣдь на это вамъ только Шпандорчуку съ Вырвичемъ и отвѣтили бы, потому что у тѣхъ ужъ все это впередъ рѣшено.

— А у васъ, мой милый, ничего не рѣшено?

— По крайней-мѣрѣ, очень многое.— Да вы, пожалуйста, не думайте, что рѣшимость это ужъ такая высокая добродѣтель, что все остальное передъ нею прахъ и суета. Рѣшимостью самою твердою часто обладаютъ и злодѣи, и глупцы, и всякие, весьма непостоянные люди.

— И герои.

— Да, и герои, но героеvъ вѣдь немного на свѣтѣ, а одностороннихъ людей, способныхъ рѣшать себѣ все наabolашь, гораздо больше. Вы вотъ теперь даете мнѣ вопросъ, касающійся такого предмета, котораго обнять-то, уразумѣть-то нѣть силы, и хотите, чтобы я такъ вотъ все и рѣшилъ въ немъ. Вы знаете моего дядю? Его не одна Москва, а вся Русь знаетъ. Это не

былъ профессоръ-хлыщъ, профессоръ-чиновникъ, или профессоръ-фанфаронъ, а это былъ настоящій, комплектный ученый и человѣкъ, а я вамъ обѣ немъ разскажу вотъ какой анекдотъ: былъ у него въ Москвѣ при домѣ садъ—старый, густой, прекрасный садъ. Дядя работалъ тамъ лѣтомъ почти по цѣлымъ днамъ: подсаживалъ тамъ деревца, колеровалъ, и разныя, знаете, такія штуки дѣлалъ. Я спалъ въ этомъ саду въ бесѣдкѣ. Только одинъ разъ какъ-то очень рано я проснулся. Дѣло было передъ послѣднимъ моимъ экзаменомъ. Я сѣлъ на порожкѣ и читалъ; вдругъ, вижу я за куртиною, дядя стоитъ въ своемъ, бѣломъ парусинномъ халатѣ на колѣнѣахъ и жарко молится: подниметь къ небу руки, плачетъ, упадетъ въ траву лицомъ, и опять молится, молится безъ конца. Я очень любилъ дядю и очень ему вѣриль и вѣрю. Когда онъ пересталъ молиться и началъ что-то вертѣть около какого-то прививка, я всталъ съ порожка и подошелъ къ нему. На дворѣ было самое раннее утро, и кромѣ насть да птицъ въ саду никого не было. Не помню, какъ мы тамъ съ нимъ о чёмъ начали разговаривать, только знаю, что я тогда и спросилъ его, что какъ онъ, занимаясь до старости науками историческими, естественными и богословскими, до чего дошелъ, до какой степени уяснилъ себѣ изъ этихъ наукъ вопросъ о божествѣ, о душѣ, о твореніи? Напоминаю вамъ, что утро было самое раннее, изъ-за каменныхъ стѣнъ въ большомъ саду насть никто не могъ ни видѣть, ни слышать, развѣ кромѣ птичекъ, которыхъ порхали по деревьямъ. Такъ старикъ-то мой—съ нѣсколько разъ оглянулся во всѣ стороны, сложилъ вотъ такъ трубочкою свои руки, да вотъ такъ поднесъ ихъ къ моему уху, и чуть слышно шепнулъ мнѣ: «ни до чего не дошелъ». Говорю ему: а какъ же вы относитесь... называю, знаете, ему двѣ крайнія-то партіи. «Какъ отнoshусь?» говорить, и опять нагнулся къ моему уху и шепнулъ: «не вѣрю ни тѣмъ, ни другимъ». Такъ вотъ вамъ, Дарья Михайловна, какъ высокія и честныя-то души относятся къ подобнымъ вопросамъ: боятся, чтобы птицу небесную не ввести въ напрасное сомнѣніе, а вы меня спрашиваете о такихъ вещахъ, да еще самого рѣшительного отвѣта у меня о нихъ требуете. Можно сомнѣваться, можно надѣяться, но утверждать... О, Боже мой, сколько у людей бываетъ странной смѣлости! Я дѣйствительно человѣкъ очень нерѣшительный, но не думайте, что это у меня отъ трусости. Чего же мнѣ бояться? У меня только всегда какъ-то вдругъ всѣ стороны вопроса становятся передъ глазами,

и я въ нихъ путаюсь, сбиваюсь и дѣлаю богъ-знаетъ что, богъ-знаетъ что! Ахъ, это самое худшее состояніе, которое я знаю; это хуже дня передъ казнью, потому что это все дни передъ казнью. Перестанемте обѣ этомъ говорить, Дарья Михайловна, а то вонъ опять насть птица слушаетъ.

Долинскій сдѣлалъ шагъ впередъ и поднялъ съ пыльной дороги небольшую сѣрую птичку, за ножку которой волокся пукъ завялой полевой травы и не даваль ей ни хода, ни полета. Дорушка взяла изъ рукъ Долинскаго птичку, сѣла на дернистый край дорожки и стала распутывать сбившуюся траву. Птичка съ сомлѣвшей ножкой тихо лежала на бѣлой рукѣ Доры и смотрѣла на нее своими круглыми, черными глазками.

— Какъ бьется ея бѣдное сердечко! проговорила Дора, шевеля мелкія перышки пташкі и глядя въ розовый пушекъ подъ ея крыльшкамп.

— Милая! сказала она, поцаловавъ птичку въ головку, приложила ее къ своей шейкѣ и пошла къ городу. Минутъ десять они шли въ совершенномъ молчаніи; на дворѣ совсѣмъ сырѣло; Дорушка принималась нѣсколько разъ все страстнѣе и страстнѣе цаловать свою птичку. Дойдя до стараго, большого каштана, она поцаловала ее еще разъ, бережно посадила на вѣтку и подала руку Долинскому.

— Несторъ Игнатьичъ, сказала она ему, идучи по пустой улицѣ:—знаете, чтобы вамъ разстаться съ вашими днями передъ казнью, вамъ остается одно—найдти себѣ любовь до слезъ.

— Полноте щутить, Дарья Михайловна, я ничего не желаю находить и не умѣю находить.

— А вотъ птицъ же на дорогахъ находите. Это тоже вѣдь не всякому случается.

### VIII.

#### ПОВТОРЕНИЕ ЗАДОВЪ.

У Жервезы Дора и Долинскій болѣе не были, прогулки ихъ снова ограничивались холмомъ надъ заливомъ.

Всякій вечеръ они сидѣли на этомъ холмикѣ, и всякий вечеръ имъ было такъ хорошо и пріятно.

Какъ ни коротки были между собой Дора и Долинскій, но эти вызываемые Дорою разсказы о прошломъ, раскрывая передъ нею

еще подробнѣе внутренній міръ разскажчика, давали ея отношеніямъ къ нему новый, нѣсколько еще болѣе интимный характеръ.

— Послушайте, Несторъ Игнатьичъ! сказала разъ Даша, положивъ ему на плечо свою руку.—разскажите мнѣ, мой милый, какъ вы любили, и какъ васъ любили?

— Богъ знаетъ, что это вы выдумываете, Дора?

— Такъ разскажите. Мнѣ очень хочется найти ключъ къ вашей душевной болѣзни.

— Забылъ ужъ я, какъ я любилъ.

— Э! врете!

— Право, забылъ.

— Забвенья нѣтъ.

— Кто жь это вамъ сказалъ, что забвенья нѣтъ?

— Я вамъ это говорю.

Несторъ Игнатьичъ молчалъ и Даша молчала, и дулась.

— Ну, перестаньте дуть свои губки, Дора! Чѣмъ вамъ разсказать?

— Какъ вы любили первый разъ въ жизни.

Долинскій разскажалъ свою, почти дѣтскую любовь въ какой-то кievской кузинѣ. Дора слушала его, не сводя глазъ, и когда онъ окончилъ, вздохнула и спросила:

— Ну, а какъ вы любили на законномъ основаніи?

Долинскій разскажалъ ей въ главныхъ чертахъ и всю свою женатую жизнь.

— Какая гадость! прошептала Даша, и вздохнувъ еще разъ, спросила:

— Ну, а дальше чѣмъ было?

— А дальше вы все знаете.

— Вы грустили?

— Да.

— Встрѣтились съ нами?

— Да.

— И счастливы?

— И счастливъ.

Даша задумчиво покачала головкой.

— Чѣмъ? спросилъ ее Долинскій.

— Такъ—ключъ найденъ! чуть слышно уронила Дора.

— А какъ вы думаете, начала она, помолчавши съ минуту: — вѣрно это такъ вообще, что хорошаго нельзѧ не полюбить?

— Чѣдь хорошее? Есть польская пословица, что не то хорошо, чѣдь—хорошо, а то хорошо, чѣдь кому нравится.

— Я вамъ говорю, *хорошаго* нельзя не любить; ну, пожалуй, того, чѣдь нравится.

— Къ чemu же вы это говорите?

— Ни къ чemu! — къ тому, что если встрѣчается чо-нибудь очень хорошее, такъ его возмешь да и полюбишь — ну, понимаете, что ли?

— Да...

— Да я думаю, что да.

Произошла пауза, въ теченіе которой Даша все думала, глядя въ небо, и потомъ сказала:

— Знаете чо, Несторъ Игнатычъ? Мнѣ кажется, что наши сравненія сердца съ монетой — никуда не годятся.

— Я это ужъ вамъ говорилъ.

— Съ чѣмъ же его сравнить?

— Много есть этихъ сравненій, и всѣ они никуда не годятся.

— Ну, а напримѣръ, съ чѣмъ можно еще сравнить сердце?

— Съ постояннымъ дворомъ, смѣясь, отвѣчалъ Долинскій.

— Гадко, а похоже, пожалуй.

— А пожалуй, и не похоже, отвѣчалъ Долинскій.

— Одинъ постоялецъ выѣдетъ, другому есть място.

— А другой разъ и пустой дворъ простоитъ.

— Нѣтъ, и это не годится. Не вѣрю я, не вѣрю, чтобы можно было жить безъ привязанности.

— Бываетъ, однако.

— Вы помните эти нѣмецкіе, кажется, стихи...

— Какіе?

— Ну, знаете, какъ это тамъ: Юпитеръ посыпалъ Меркурія, отыскать никогда нелюбившихъ женщинъ?

— Я даже этого никогда не читалъ.

— То-то вотъ и есть; а я это читала.

— Чѣдь жъ, Меркурій отыскаль?

— *Трехъ!*

— Только-то?

— Да-съ; и эти три, знаете, кто были? — *Три фуріи!* протяжно произнесла Даша, поднявъ вверхъ пальчикъ.

— Вѣдь это только написано.

— Да, но я этому вѣрю, и очень боюсь этакого фуріознаго сообщества.

- Вы съ какой же это стати?
- А если Юпитеру послѣ моей смерти вздумается еще разъ послать Меркурия, и онъ найдетъ ужь четырехъ.
- Еще полюбите, и какъ полюбите.
- Нѣтъ, ужь кажется поздно.
- Любить никогда не поздно.
- Вотъ за это вы умникъ! Люди жадны ужь очень. Счастье не во времени. Можно быть немножко счастливымъ, и на всю жизнь довольно. Правда моя?
- Конечно, правда.
- Какое у насъ образцовое согласie!
- Не о чёмъ спорить, когда говорить правду.
- А вѣдь, я бы могла очень сильно любить.
- Кто жъ вамъ мѣшаетъ? Разборчивы очень.
- Нѣтъ, совсѣмъ не то. По моему любить, значитъ... любить однимъ словомъ. Не героя, не рыцаря, а просто любить, кто по душѣ, кто по сердцу — кто не по хорошу миль, а по мѣлу хороши.
- Ну-съ, я опять спрошу: за чѣмъ же дѣло стало?
- А если «законы осуждаютъ предметъ моей любви?», улыбаясь, продекламировала Даша.
- «Но, кто — о сердце! — можетъ противиться тебѣ?» отвѣчалъ Несторъ Игнатиичъ, продолжая речитативомъ начатую Дашею пѣсню.
- Помните, какъ это сказано у Лермонтова:

Но сердцу, какъ ума не соблазнить?  
И какъ любви стыда не побѣдить?  
Любовь, для неба и земли — святыня,  
И только для людей порокъ она!

То скотство, то трусость... бѣдное ты человѣчество! Вѣдный ты царь земли въ своихъ вѣчныхъ оковахъ!

- Вы сегодня, Дорушка, все возвышаетесь до паѳоса, до иоэзіи.
- Несторъ Игнатиичъ! прошу не забываться! Я никогда не унижалась до прозы.

— Виновать.

— То-то.

Даша замолчала, и немного подождавши, сказала:

— Ну, смотрите, какія штучки наплетеи на бѣломъ свѣтѣ! Вотъ я сейчасъ браница людей за трусость, которая имъ мѣшаетъ взять свою, такъ-сказать, долю радостей и счастья; а теперь сама вижу,

что и я совсѣмъ неправа. Есть вѣдь такія положенія, Несторъ Игнатьичъ, передъ которыми и храбрецъ струсить.

— Напримѣръ, чѣмъ это такое?

— А вотъ, напримѣръ, состраданіе, укоръ совѣсти за чужое несчастье, за чужія слезы.

— Скажите-ка немножко пояснѣе.

— Да чѣмъ жъ тутъ яснѣе? Мало ли что случается! Ну, вдругъ, положимъ, полюбишь человѣка, котораго любить другая женщина, для которой потерять этого человѣка, будетъ смерть... да что смерть! Не смерть, а мѣка, понимаете — мѣка съ платкомъ ворту. Чѣмъ тогда дѣлать?

— На это мудрено отвѣтить.

— Я думаю, одинъ отвѣтъ: —страдать.

— Да, если тотъ, кого вы полюбите, въ свою очередь не любить васъ больше той женщины, которую онъ любилъ прежде.

— А если онъ меня любить больше?

— Такъ тогда какой же резонъ дѣлать общее несчастье! Вѣдь если, положимъ, вы любите какое нибудь *A* и это *A* взаимно любить васъ, хотя оно тамъ прежде любило какое-то *B*. Ну-съ, теперь, если вы знаете, что это *A* своего *B* больше не любить, то зачѣмъ же вамъ отказываться отъ его любви и не любить его самой. Ужъ вѣдь все равно, не отошлете его обратно, куда его не тянетъ. Простой разсчетъ: пусть лучше двое любить другъ друга, чѣмъ трое разойдутся.

Даша долго думала.

— Въ самомъ дѣлѣ, отвѣчала она: —въ самомъ дѣлѣ, это такъ. Какъ это странно! Люди называютъ безумствомъ то, чѣмъ даже можно по пальцамъ высчитать и доказать, что это разумно.

— Люди умныхъ людей въ сумасшедшіе дома сажали и на кострахъ жгли, а послѣ черезъ сто лѣтъ памятники имъ ставили. У людей, чѣмъ сегодня ложь, тѣ завтра можетъ быть истиной.

— Какой вы у меня бываете умникъ, Несторъ Игнатьичъ! Какъ я люблю вашу способность просто разъяснять вещи! Еслибы вы давно были со мной, какъ бы много я знала!

— Я, Дарья Михайловна, не принимаю это на свой счетъ. Я знаю одно то, что я ничего не знаю, а суда людскаго такъ просто-таки терпѣть не могу. Не вѣрю ему.

— Да, говорите-ка не знаете! Нѣтъ, большое спасибо вамъ, то вы со мной поѣхали. Здѣсь васъ у меня никто не отнимаетъ:

ни Анна, ни газета, ни Илья Макарычъ. Тутъ вы мой крѣпостной. Правда?

— Да, ужь если вы сказали такъ, то разумѣется—правда. Иначе жъ вѣдь быть не можетъ! отвѣчалъ шутя Долинскій.

— Ну, да, еще бы! Конечно, такъ, отвѣчала живо и торопясь Дора и сейчасъ же добавила.—А вотъ, хотите, я вамъ задамъ одинъ такой вопросъ, на который вы мнѣ, пожалуй, и не отвѣтите?

— Это еще, Дарья Михайловна, будетъ видно.

— Только смотрите мнѣ прямо въ глаза. Я хочу видѣть, что вы подумаете, прежде чѣмъ скажете.

— Извольте.

— А что...

— Что?

— Эхъ, нетерпѣніе! Ну, отгадывайте, что?

— Не магъ и не волшебникъ.

— Что, еслибъ я сказала вамъ вдругъ самую ужасную вещь?

— Не удивился бы ни крошки.

Даша серьѣзно сдвинула бровки и тихо проговорила:

— Нѣтъ, я прошу васъ не шутить, а говорить со мной серьѣзно. Смотрите на меня прямо!

Она пронзительно уставила свои глаза въ глаза Долинскаго и медленно съ разстановками произнесла: ч-т-о, е-с-л-и-б-ы я в-а-с-ъ п-о-л-ю-б-и-л-а?

Долинскій вздрогнулъ, пѣ быстро выпустивъ изъ своей руки ручку Даши, отвѣтилъ смущеннымъ голосомъ:

— Виноватъ, проспорилъ. Можно дѣйствительно поручиться, что такого вздора ни за что не выдумаешь, какой вы иногда скажете.

Даша тоже смутилась. Она просто испугалась движенія, сдѣланнаго Долинскимъ и, принявъ свою руку, сказала:

— Чего вы! Я вѣдь такъ говорю, что вздумается.

Она была очень встревожена и проговорила эти слова, какъ обыкновенно говорятъ люди, вдругъ спохватясь, что они сдѣлали самый опрометчивый вопросъ.

— Пойдемте домой. Мы сегодня засидѣлись; сырь теперь, сказала нѣсколько сухимъ, гувернерскимъ тономъ, вмѣсто отвѣта, Долинскій.

Даша встала и пошла молча. Дорогою они не сказали другъ другу ни слова.

IX.

Съ другой стороны.

— Покажите мнѣ ваши башмаки, началь Несторъ Игнатьичъ, когда, возвратясь, они присѣли на минутку въ своеемъ залѣцѣ.

— Это зачѣмъ? спросила серьёзно Даша.

— Покажите.

Даша нетерпѣливо сняла ногою башмакъ съ другой ноги, и не сказавъ ни слова, выбросила его изъ-подъ платя. Тонкій лѣтній башмакъ былъ сырехонекъ. Долинскій взглянулъ на подошву, взялъ шляпу и вышелъ прежде, чѣмъ Дора успѣла его о чѣмъ-нибудь спросить.

Съ выходомъ Долинскаго она не перемѣнила ни мѣста, ни положенія, и опустивъ глаза, тихо смотрѣла на свои покоившіяся на колѣняхъ ручки.

Прошло около четверти часа прежде чѣмъ Долинскій вернулся съ склянкой спирта и ласково сказалъ:

— Ложитесь спать, Даша.

— Чѣдъ это вы принесли?

— Спиртъ. Я его сейчасъ согрѣю, а вы имъ вытрите себѣ ноги.

— Для чего это?

— Такъ. Потому вытрите, что это такъ нужно.

— Да чего вы боитесь?

— Самой простой штуки, вашего милаго здоровья.

— Господи! «Въ какомъ все строгомъ чинѣ!» сказала, презрительно подернувъ плечами, Дора, слегка всхихнула и, сдѣлавъ недовольную гримаску, попла въ свою комнату.

Долинскій присѣлъ къ столику съ какимъ-то особеннымъ тщаниемъ и серьёзностью, согрѣль на кофейной канфорѣ спиртъ, смѣшалъ его съ уксусомъ, попробовалъ эту смѣесь на языкъ, и постучался въ дашины двери. Отвѣта не было. Онъ постучался въ другой разъ — отвѣта тоже неѣтъ. «Даша? кликнулъ онъ:— Дора! Дорушка!» За дверями послышался звонкій хохотъ. Долинскій подумалъ, что съ Дашей истерика и отворилъ ея двери. Дорушка была въ постели. Укутавшись по самую шею одѣяломъ, она весело смѣялась надъ тревоговою Долинскаго.

Долинскій надулся.

— Разотрите себѣ ноги, сказаъ онъ, подавая ей согрѣтый имъ спиртъ.

— Не стану.

— Дорушка!

— Не стану, не стану и не стану! Не хочу! ну, вотъ не хочу! И она опять разсмѣялась.

Долинскій поставилъ чашку со спиртомъ на столикъ у кровати и пошелъ къ двери; но тотчасъ же вернулся снова.

— Дорушка! ну, прошу васъ ради-бога, ради вашей сестры, не дурачтесь.

— А вы не смѣйте дуться.

— Да я вовсе не дулся.

— Дулись.

— Ну, простите Дора, только растирайте скрѣе свои ноги — не остынь бы спиртъ.

— Попросите хорошенъко!

— Я васъ прошу.

— На колѣни станьте.

— Дорушка, не мучьте меня.

— А-га! «не мучьте меня», произнесла Даша, передразнивая Нестора Игнатьича, и протянула къ нему сложенную горстю руку.

Долинскій наливалъ Дашѣ на руку спиртъ, а она растирала себѣ подъ одѣломъ ноги и морщилась, говоря: «какую вы это скверность купили.»

— Гдѣ у васъ шерстяные чулки? спросилъ Долинскій.

— Нѣтъ у меня шерстяныхъ чулокъ.

— Господи! да что вы, въ самомъ дѣлѣ, дитя пятилѣтнее, что ли? воскликнулъ съ досадою Долинскій.

— Въ комодѣ вонъ тамъ, сухо отвѣчала на прежній вопросъ Дора.

Долинскій взялъ ключи и рылся, отыскивая чулки.

— Точно нянька! и то самая гадкая — надоѣдливая, говорила смѣясь и глядя на него Даша.

Долинскій досталъ также изъ комода пушистый плѣдъ и одѣлъ имъ ноги Доры.

— Еще чего не найдете ли! спросила она, продолжая надѣть имъ подтрунивать.

— Вы не храбритесь, отвѣчалъ Долинскій: — а лучше спите хорошенъко, и пошелъ къ двери.

— Несторъ Игнатьичъ! крикнула Даша.

- Что вамъ угодно?
- Что жь это за невѣжество!
- Чѣдъ такое?
- Ужь вы нынче и не прощаетесь со мной?
- Виноватъ. Вы, право, такъ безпощадно тревожите меня вашими сумасбродствами, Дора.
- А вы все это ото всѣхъ пощады вымаливаете?
- Ну, пожалуйте же вашу ручку.
- Не надо, отвѣчала Даша и обернулась къ стѣнѣ.
- И тутъ капризъ!
- Вездѣ, да, вездѣ капризъ! на каждомъ шагу будетъ капризъ— потому, что вы мнѣ совсѣмъ надоѣли съ своимъ гувернерствомъ.

Ночь Даша провела очень спокойно, сны только ей странные все снились; а Долинскій не ложился вовсе. Онъ нѣсколько разъ подходилъ ночью къ дашиной комнатѣ и все слушалъ, какъ она дышеть. Утромъ Даша чувствовала себя хорошо; написала сестрѣ письмо, въ которомъ подтрунивала она надъ беспокойствомъ Долинскаго и нарисовала съ краю письма карикатурку, изображающую его въ повязкѣ, какія носятъ русскія нянѣкі. Но къ вечеру она почувствовала необыкновенную усталость и легла въ постель ранѣе обычновенного. Ночью спала неспокойно, а къ утру начала кашлять. Долинскій страшно перепугался этого кашля и побѣжалъ за докторомъ. Докторъ нашелъ вообще, что у Даши очень незначительная простуда, но что кашель очень неблагопріятная вещь при ея здоровье; прописалъ ей лекарство и уѣхалъ. Днемъ Даша была покойна, но все супилась и упорно молчала, а къ вечеру у нея появился жаръ. Даша сдѣлалась говорлива и тревожна. То она, какъ любознательный ребёнокъ, приставала къ Долинскому съ самыми обычновенными и незначущими вопросами; требовала у него разъясненія самыхъ простыхъ, конечно ей самой хорошо извѣстныхъ вещей; то вдругъ рѣзко перемѣнила тонъ и начинала придираться и говорить съ нимъ свысока.

- Вы на меня не сердитесь, голубчикъ Несторъ Игнатиичъ, что я капризничаю? спрашивала она Долинскаго.
- Нисколько.
- Отчего жь вы нисколько на меня не сердитесь?
- Да такъ, не сержусь.
- Да вѣдь я несносно, должно быть, капризничаю?
- Ну, чѣдъ жь дѣлать?

— Я бы не вытерпѣла, еслибы кто такъ со мною вaprизничалъ.

— На то вы женщина.

Дорушка помолчала съ минуту и, кусая губки, проговорила глухимъ голосомъ:

— Очень вы всѣ много знаете о женщинахъ!

— Нѣкоторые знаютъ довольно.

— Никто ничего не знаетъ, отвѣчала Дора, рѣзко и съ сердцемъ.

— Ну, прекрасно, ну, никто ничего не знаетъ, только не сердитесь, пожалуйста.

— Вотъ! Стану я еще сердиться! продолжала вспыльчиво Дора.— Мнѣ нечего сердиться. Я знаю, что всѣ врутъ, и только Тотъ такъ, тотъ этакъ, а умнаго слова ни одинъ не скажетъ.

— Это правда, отвѣчалъ примирительно Долинскій.

— Правда! А если я скажу, что я сестра луны и дочь солнца. Это тоже будетъ правда?

Даша повернулась къ стѣнѣ и замолчала.

Долинскій пригласилъ-было ночевать къ ней т-те Бюжаръ, но Даша въ десять часовъ отпустила старуху, сказавъ, что ей надоѣла французская пустая болтовня. Долинскій не противорѣчилъ. Онъ сѣлъ въ кресло у двери дашиной комнаты и читалъ, безпрестанно подиная голову отъ книги и прислушиваясь къ каждому движенію больной.

— Несторъ Игнатьичъ! тихо покликала его Даша, часу во второмъ ночи.

Онъ всталъ и подошелъ къ ней.

— Вы еще не спали? спросила она.

— Нѣтъ, я еще читалъ.

— Который часъ?

— Около двухъ часовъ, кажется.

Даша покачала головой и съ ласковымъ упрекомъ сказала:

— Зачѣмъ вы себя попусту морите?

— Я зачитался немножко.

— Чѣмъ же вы читали?

— Такъ, пустяки.

— Охота жъ читать пустяки! Садитесь лучше здѣсь на кресло возлѣ меня; по крайней-мѣрѣ будемъ скучать вмѣстѣ.

Долинскій молча сѣлъ на кресло.

— Я все сны какіе-то видѣла, начала зѣвнувъ Даша.—Петербургъ, Анну, васъ, и вдругъ скучно что-то сдѣлалось.

— Скоро вернемся, Дорушка; не скучайте.

Даша промолчала.

— Дайте мнѣ вашу руку, сказала она, когда Долинскій сѣлъ на кресло у ея изголовья.—Вотъ такъ веселѣе все-таки; а то страшно какъ-то, какъ будто въ могилѣ я, никого близкаго нѣть со мной.

— Вы хандrite, Дорушка.

— А хандра развѣ не страданье?

— Ну, разумѣется, страданье.

— То-то. Это вѣдь люди все повыдумывали: вымыщенное горе, ложный страхъ, ложный стыдъ; а кому горько, или кому стыдно, такъ все равно что отъ ложнаго, что отъ настоящаго горя—все равно. Кто знаетъ, что у кого ложное? философствовала Даша и уснула, держа Долинскаго за руку. Такъ она проспала до утра, а онъ не спалъ опять и много передумалъ. Передъ нимъ прошла снова вся его разбитая жизнь, предъ нимъ стояла тихая, кроткая Анна, передъ которой онъ благоговѣлъ, возлѣ которой онъ успокоился, ожиль, какъ-бы вновь на свѣтъ народился. А теперь Даша. Ея странные намеки, ея порывы, которыхъ она не можетъ сдержать, или... не хочетъ даже сдерживать! Потомъ ему казалось, что Даша всегда была такая, что она просто по обыкновенію своему шалитъ, играетъ своими странными вопросами, и ничего болѣе. Думалъ онъ уѣхать и нашелъ, что это было-бы очень странно и даже просто невозможно, пока Даша еще не совсѣмъ укрѣпилась.

Утромъ у Даши былъ легонѣкій кашель. День цѣлый она провела прекрасно и докторъ нашелъ, что здоровье ея пришло опять въ состояніе самое удовлетворительное. Съ вечера ей не спалось.

— Безсонница меня мучаетъ, говорила она, метаясь по подушкѣ.

— Какая безсонница! Вы просто выспались днемъ, отвѣчала Долинскій. — Хотите, я вамъ почитаю такую книгу, что сейчасъ уснете?

— Хочу, отвѣчала Даша.

Долинскій принесъ утомительно скучный французскій формулярный списокъ Жюля Жерара.

— Покажите, сказала Даша. Она взглянула на заглавіе и улыбнувшись проговорила: — львы—хорошія животныя—читайте.

Книга сдѣлала свое дѣло. Даша заснула. Долинскій положилъ книгу. Свѣча горѣла подъ зеленымъ абажуромъ и слабо освѣщала оригиналную головку Доры... «Боже! какъ она хороша»

подумалъ Долинскій, а что-то подсказывало ему: «а какъ умна, какъ добра! Какъ честна и тебя любить!»

Сонъ одолѣвалъ Нестора Игнатьевича. Три ночи, проведенные имъ въ тревогѣ, утомили его. Долинскій не пошелъ въ свою комнату, боясь, что Дашѣ что нибудь понадобится и она его не докличется. Онъ сѣлъ на коврикъ въ ногахъ ея кровати, и прилоняясь головою къ матрацу, заснулъ въ такомъ положеніи какъ убитый.

Къ утру Долинского начали тревожить странныя сновидѣнія: степь Сахара жгучая, верблюды съ своими овечьими мордочками на журавлиныхъ шеяхъ, звѣриное рыканіе и щупленкій Жюль Жераръ съ сержантдевильской бородкой. Все это какъ-то такъ переставлялось, перетасовывалось, что ничего не выходитъ яснаго и опредѣленного. Вдругъ рѣка бѣжитъ, широкая, сердитая, на ея берегахъ лежать огромные крокодилы: «это должно быть Ниль», думаетъ Долинскій. Издали показалась крошечная лодочка и кто-то поетъ:

Охъ ты Днѣпръ ли мой широкій!  
Ты кормилецъ нашъ родной!

На лодочки двѣ человѣческія фигуры, покрытыя длинными бѣлы-  
ми вуалями.

«Плыветъ лодка, а въ ней два пассажира: котораго спасти,  
котораго утопить?» спрашиваетъ Долинского самый большой кро-  
кодиль.

— Какая чепуха! думаетъ Долинскій.

— Нѣть, любезный, это не чепуха, говорить крокодиль: — а  
ты выбирай, потому что мы съ тобой въ фанты играемъ.

— Ну, смотри-же, продолжаетъ крокодиль: — разъ, два! Онъ  
взмахнулъ хвостомъ, лодочка исчезла въ бѣлыхъ брызгахъ и на  
волнахъ показалась тонущая Анна Михайловна.

«Это мой фантъ, твой въ лодкѣ», говоритъ чудовище. Разсы-  
лись брызги, лодочка снова чуть качается на одномъ мѣстѣ, и въ  
ней сидитъ Дора. Покрывало спало съ ея золотистой головки,  
лицо ея блѣдно, очи замкнуты: она мертвая.

«Это твой фантъ», внятно говоритъ изъ берегового тростника  
крокодиль, и всѣ крокодилы стонутъ, такъ жалобно стонуть.

Долинскій проснулся. Было уже восемь часовъ. Прежде чѣмъ  
успѣлъ онъ поднять голову, онъ увидѣлъ предъ своимъ лицомъ  
лежавшую ручку Даши. «Непріятный сонъ», подумалъ Долинскій,  
и съ особымъ удовольствиемъ посмотрѣлъ на ручку Доры, обли-

тую слабымъ свѣтомъ, проходавшимъ сквозь шелковую зеленую занавѣску окна. Привставъ, онъ тихонько наклонился и поцаловалъ эту руку, какъ цаловаль ее часто по праву дружбы, и вдругъ ему показалось, что этотъ поцалуй былъ чѣмъ-то совсѣмъ инымъ. Нестору Игнатьевичу почудилось, что дашина рука, привыкшая къ его поцалуямъ, на этотъ разъ какъ будто вздрогнула и отдернулась отъ его усть. Онъ посмотрѣлъ на Дашу: она лежала съ закрытыми глазами, и роскошные волосы, выбившись изъ-подъ упавшаго на подушку чепца, красною сѣтью раскинулись по бѣло наволочкѣ. Долинскій тихонько приложилъ руку ко лбу Доры. Въ головѣ не было жара. Потомъ онъ хотѣлъ послушать, какъ она дышеть, нагнулся къ ея лицу и почувствовалъ, что у него кружится голова и уста предательски клонятся къ устамъ.

Долинскій быстро отбросилъ свою голову отъ изголовья Доры, и послѣшно вышелъ за двери.

Еслибъ оконная занавѣска не была опущена, то Долинскому нетрудно было бы замѣтить, что Даша покраснѣла до ушей, и на лицѣ ея мелькнула счастливая улыбка. Чуть только онъ вышелъ за двери, Дора быстро поднялась съ изголовья, взглянула на дверь, и еще разъ улыбнувшись, опять положила голову на подушку. Вместо выступившаго на минуту по всему ея лицу яркаго румянца, оно вдругъ покрылось мертвою блѣдностью.

## X.

### УМЪ СВОЕ, А ЧОРТЬ СВОЕ.

Даша къ обѣду встала. Она была смущена, и избѣгала взглядовъ Долинскаго; онъ тоже мало глядѣлъ на нее, и говорилъ немнogo.

— Мнѣ теперь совсѣмъ хорошо. Неѣхать ли намъ въ Россію? сказала она послѣ обѣда.

— Какъ хотите. Спросимте доктора.

Даша рѣшила въ своей головѣ єхать, каковъ бы ни былъ докторскій отвѣтъ, и чтобы приготовить сестру къ своему скорому возвращенію, написала ей въ тотъ же день, что она совсѣмъ здорова. Гулять они вовсе эти дни не ходили, и объявили ш-ти Бюжаръ, что черезъ недѣлю уѣзжаютъ изъ Ниццы. Даша то суетливо укладывалась, то вдругъ садилась надъ чемоданомъ и, положивъ одну вещь, смотрѣла на нее безмолвно по цѣлымъ часамъ. Долинскій былъ гораздо покойнѣе, и видно было, что онъ

искренно радовался отъѣзду въ Петербургъ. Онъ страдалъ за себя, за Дашу и за Анну Михайловну.

— Тихо, спокойно все это надо выдержать, и все это пройдетъ, разсуждалъ онъ, медленно расхаживая по своей комнаткѣ, въ ожиданіи дашинаго вставанья. — А когда пройдетъ, то... Боже! гдѣ же это спокойное, хорошее чувство? Теперь спи моя душа снова, ничего теперь у тебя нѣтъ опять; а лгать я... не могу; не стану.

— Два дня всего намъ остается быть въ Ниццѣ, сказала одинъ разъ Даша: — пойдемте сегодня, простимся съ нашимъ холмомъ и съ моремъ.

Долинскій согласился.

— Только надо раньше идти, чтобы опять сырость не захватила, сказалъ онъ.

— Пойдемте сейчасъ.

Быль восьмой часъ вечера. Угасаль дейнъ очень жаркій. Дорушка не надѣла шляпы, а только взяла зонтикъ, покрылась вуалью, и они пошли.

— Ну-съ, сядемте здѣсь, сказала она, когда они пришли на мѣсто своихъ обыкновенныхъ налбerezныхъ бесѣдъ.

Сѣли. Даша молчала и Долинскій тоже. Въ послѣдніе дни, они какъ будто разучились говорить другъ съ другомъ.

— Жарко, сказала Даша. — Солнце садится, а все жарко.

— Да, жарко.

И опять замолчали.

— Неба этого не забудешь.

— Хорошее небо.

— Положите мнѣ, пожалуйста, ваше пальто, я на немъ прилягу.

Долинскій бросилъ на траву свое пальто; Даша легла на немъ, и стала глядѣть въ сапфирное небо.

Опять началось молчаніе. Даша, кажется, устала глядѣть вверхъ, и небрежно играла своими волосами, съ которыхъ сняла сѣтку вмѣстѣ съ вуалью. Перекинувъ густую прядь волосъ черезъ свою ладонь, она смотрѣла сквозь нихъ на опускавшееся солнце. Красные лучи, пронизывая золотистые волосы Доры, дѣлали ихъ еще краснѣе.

— Смотрите, сказала она, заслонивъ волосами лицо Долинскаго: — я точно, какъ говорятъ наши дѣвушки: «халдей опаляющій». Надо жъ, чтобы у меня были такие волосы, какихъ нѣтъ у добрыхъ

людей. Воть еслибы у васъ были такие волосы, прибавила она, приложивъ къ его виску прядь своихъ волосъ:—преуморительный былъ бы.

— Рыжій чортъ, сказалъ смѣясь Долинскій.

Даша отбросила свои волосы отъ его лица, и проговорила:

— Да вы таки и чортъ какой-то.

Долинскій спѣль смирнехонько, и ничего не отвѣтилъ; Дора молча смотрѣла въ сторону, и рѣзко повернувшись лицомъ къ Долинскому, спросила:

— Несторъ Игнатьич! а чѣмъ говорятъ теперь ваши предчувствія? успокоились они, или нѣтъ?

— Это всегда остается однимъ и тѣмъ же.

— Ай, какъ это дурно!

— Чѣмъ это васъ такъ обходитъ?

— Да такъ, я тоже начинаю вѣрить въ предчувствія; боюсь за васъ, что вы, пожалуй, чѣго доброго, не доѣдете до Петербурга.

— Ну, этого-то, полагаю, не случится.

— Почемъ знать! Олегова змѣя дождалась его въ лошадиномъ черепѣ: такъ, можетъ быть, и ваша откуда-нибудь вдругъ выполнетъ.

— Буду уходить.

— Хорошо, какъ успѣете! Вы помните, какъ змѣи смотрятъ на зайцевъ? Тѣ, можетъ быть, и хотѣли бы уйтти, да не могутъ.— А скажите, пожалуйста, кстати: правда это, что зайца можно выучить барабанить?

— Правда; я самъ видѣлъ, какъ заяцъ барабанилъ.

— Будто! будто вы это сами видѣли! сиротила Дорушка съ явной насмѣшкой.

— Да, самъ видѣлъ, и это гораздо менѣе удивительно, чѣмъ то, что вы теперь безъ всякой причины злитесь и придираетесь.

— Нѣтъ, мнѣ только смѣшно, что вы меня такъ серѣзно увѣряете, что зайцы могутъ бить на барабанѣ, тогда какъ я знаю зайца, который умѣлъ алгебру дѣлать. Ну-съ; чей же замѣчательнѣе? окончила она, пристально взглянувъ на Долинскаго.

— Вашъ, безъ всякаго сомнѣнія, отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Вы такъ думаете, или вы это навѣрно знаете?

— Дарья Михайловна, ну, чѣмъ за смѣшной разговоръ такой между нами!

Даша страшно поблѣднѣла: глаза ея загорѣлись своимъ грознымъ блескомъ; она еще пристальнѣе вперила свой взглядъ въ глаза Долинскаго, и медленно, съ разстановкою за каждымъ словомъ, проговорила:

— Когда *A* любить *B*, а *B* любить *C*, и *C* любить *B*, чтѣ этому *C* дѣлать?

У Долинскаго вѣругъ похолонуло въ сердцѣ.

— Отвѣчайте же? Вѣдь это вы мнѣ эту алгебру-то натолковали, сказала еще болѣе сердито Дора.

Несторъ Игнатьевичъ совсѣмъ не зналъ, что сказать...

«Вотъ оно! вотъ оно мое воспитаніе-то! Вотъ онъ мой характеръ-то! — Ничего не умѣю сдѣлать вѣ время; ни въ чемъ не могу найдтись!» размышлялъ онъ, ломая пальцы, но на выручку его не являлось никакой случайности, никакой счастливой мысли.

— *A* любить *D*, и *D* любить *A*! *B* любить *A*, но *A* уже не любить этого *B*, потому-что онъ любить *D*. Чѣ же теперь дѣлать? Чѣ теперь дѣлать?

Дора нервно дернулась, и еще раздраженнѣе крикнула:

— Чѣ, вы глухи, или глупы стали?

— Глупъ, вѣрно, уронилъ Долинскій.

— Ну, такъ поймите же безъ обиняковъ: *я васъ люблю*.

— Дора! вскрикнулъ Долинскій, и закрылъ лицо руками.

— Слушай же далѣе, продолжала серѣзно Дора: — ты самъ меня любишь, и ее ты не будешь любить, ты не можешь ее любить, пока я живу на свѣтѣ!... Чего жь ты молчишь? Развѣ это сегодня только сдѣлалось! Мы страдаемъ всѣ трое — хочешь, будемъ счастливы двое? Ну...

Долинскій, не отрывая рука отъ глазъ, уныло качалъ головою.

— Я вѣдь видѣла, какъ ты хотѣлъ целовать мое лицо, проговорила Дора, поворачивая къ себѣ за плечо Долинскаго: — ну, вотъ оно — целуй его: *я люблю тебя*.

— Дора, Дора, чѣ вы со мной дѣлаете? шепталъ Долинскій, еще крѣпче прижимая къ лицу свои ладони.

Дорушка не проронила ни слова, но Долинскій почувствовалъ на своихъ плечахъ обѣ ея руки и ея теплое дыханіе у своего лба.

— Дора, пощадите меня, пощадите! это выше силъ человѣческихъ, выговорилъ задыхаясь Долинскій.

— Незачѣмъ! страшно произнесла Дора, и сильно оторвавъ руки Долинскаго, жарко поцаловала его въ губы.

— Любишь? спросила она, откинувъ немножко свою голову.

— Ну, будто вы не видите! робко отвѣчалъ Долинскій, трепетно наклоняя свое лицо къ рукѣ Доры.

Даша тихонько отодвинула его отъ себя, и глядя ему прямо въ глаза, проговорила:

— А Аня!

Долинскій молчалъ.

— Долинскій, а что же Аня?

— Вы надо мнай издѣваетесь, проронилъ блѣднѣя Долинскій.

— Она тебя такъ любитъ.

— О, Боже мой, какія злыя шутки!

— А я люблю тебя еще больше, досказала Дора. — Я люблю тебя, какъ никто не любить на свѣтѣ; я люблю тебя, какъ сумасшедшая, какъ бѣшеная!

Дора неистово обхватила его голову и впилась въ него безконечнымъ поцелуемъ.

— Небо... небеса спускаются на землю! шептала она, сгарая подъ поцелуями.

Лепеть прерывалъ поцелуи, поцелуи прерывали лепеть. Головы горѣли и туманились; сердца замирали въ сладкомъ томленьѣ, а песочные часы Сатурна пересыпались обыкновеннымъ порядкомъ, и ночь раскинула надъ усталой землей свое прохладное одѣяло. Давно пора было идти домой.

— Боже, какъ уже поздно! сказалъ Долинскій.

— Пойдемъ, тихо отвѣчала Даша.

Они встали и пошли: Даша шла облокачиваясь на руку Долинскаго, онъ шагалъ уныло и нерѣшительно.

— Постой! сказала Даша.

— Чѣмъ вы хотите?

— Устала я. Ноги у меня гнутся.

Они постояли молча и еще тише пошли далѣе.

На землѣ была тихая ночь; въ бальзамическомъ воздухѣ носились какое-то животворное вѣяніе и круглыя звѣзды миріадами смотрѣли съ темно-синяго неба. Съ надбережнаго дерева неслышно снялись двѣ какія-то большія птицы, исчезли на мгновеніе въ чёрной тѣни скалы и рядомъ потянули надъ тихо-ко-леблющимся заливомъ, а въ открытое окно изъ ярко-освѣщен-ной виллы бояръ Онучиныхъ, песясія стройные звуки согласнаго дуэта.

М-те Бюжаръ на другой день долго ожидала, пока ее позовутъ постояльцы. Она нѣсколько разъ выглядывала изъ своего

окна на окно Доры, но окно это попрежнему все оставалось задернутымъ густою зеленою занавѣскою.

Даша встала въ одинадцать часовъ и одѣлась сама, не покликавъ т-те Бюжаръ вовсе. На Дорѣ было вчерашнее ея бѣлое кисейное платье, подпоясанное широкою коричневою лентою. Къ ней очень шель этотъ простой и легкій нарядъ.

Долинскій проснулся очень давно и упорно держался своей комнаты. Въ то время, когда Даша, одѣвшись, вышла въ зальце, онъ неподвижно сидѣлъ за столомъ, тяжело опустивъ голову на сложенные руки. Красивое и блѣдное лицо его выражало совершенную душевную немощь и страшную тревогу.

— Гнусный я, гнусный и ничтожный человѣкъ! повторялъ себѣ Долинскій, тоскливо и робко оглядываясь по комнатѣ.

«Боже! Кажется, я заболѣю», подумалъ онъ нѣсколько раздѣнѣе, взглянувъ на свои трясущіяся отъ внутренней дрожи руки. «Боже! еслибъ смерть! Еслибъ не видѣть и не понимать ничего, что такое дѣлается».

Въ залѣ послышались легкіе шаги и тихій шорохъ дашинаго платья.

Долинскій вздрогнулъ, какъ взрагиваетъ человѣкъ, получающій въ грудь острый уколъ тонкой щипаги; поблѣднѣлъ какъ полотно и быстро вскочилъ на ноги. Глаза его остановились на двери съ выраженіемъ неописуемой муки, ужаса и мольбы.

Въ дверяхъ, тихо, какъ появляются фигуры въ зеркалѣ, появилась воздушная фигура Доры.

Даша спокойно остановилась на порогѣ и пристально посмотрѣла на Долинскаго. Лицо Доры было еще живѣе и прекраснѣе, чѣмъ обыкновенно.

Пропшло нѣсколько секундъ молчанія.

— Поди же ко мнѣ! позвала съ покойной улыбкой Дора.

— Я сейчасъ, отвѣчалъ Долинскій, оправляясь и отодвигая ногу свое кресло.

Вечеромъ въ этотъ день Даша въ первый разъ была одна. Въ первый разъ за все время Долинскій оставилъ ее одну надолго. Онъ куда-то совершенно незамѣтно вышелъ изъ дома тотчасъ послѣ обѣда и запропастился. Спустился вечеръ и угасъ вечеръ, и темная, теплая и благоуханная ночь настала, и въ воздухѣ запахло спящими розами, а Долинскій все не возвращался. Дору

это, впрочемъ, повидимому, совсѣмъ не беспокоило; она проходила часовъ до двѣнадцати по цвѣтнику, въ которомъ стоялъ домикъ, и потомъ пришла къ себѣ и легла въ постель.

Темная ночь эта застала Долинскаго далеко отъ дома, но въ совершенной физической безопасности. Онъ очень далеко забрелъ скалистымъ берегомъ моря, и стоя надъ обрывомъ, какъ береговой воронъ, остро смотрѣлъ въ черную даль и добивался у рокочущаго моря отвѣта: неужто же я самъ хотѣлъ этого? неужто ужъ ни клятвъ, ни обѣщаній ненарушимыхъ больше нѣть?

---

## **ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.**



— 2 —

## I.

**Живая душа выгараёт и куется.**

Ничего не было ни хорошаго, ни радостнаго, ни утѣшительнаго въ одинокой жизни Анны Михайловны. Срублена она была теперь подъ самый корень и въ утѣшеніе ей не оставалось даже того гадкаго утѣшенія, которое люди умѣютъ находить въ ненависти и злости. Анна Михайловна была не такой человѣкъ и Дора не безъ основанія часто называла ее «невозможную».

Въ тотъ самый день, ницкими событиями котораго заключена вторая часть нашего романа, именно наканунѣ св. Сусанны, что въ Петербургѣ приходилось, если не ошибаюсь, около конца пыльного и непріятнаго мѣсяца іюля, Анне Михайловнѣ было ужъ какъ-то особенно, какъ передъ пропастью, тяжело и скучно. Цѣлый день у нея валилась изъ рукъ работа и едва-едва она дождалась вечера и ушла посидѣть въ свою полутемную комнату. На дворѣ было около десяти часовъ.

Въ это время къ квартирѣ Анны Михайловнышибко подкатилъ на лихачѣ молодой блокурый баринъ, съ туго завитыми кудрями и самой испитой, ничего невыражающей физіономіей. Онъ быстро снялся съ линейки, велѣлъ извощику ждать себя, обдернулъ полы шикарнаго пальто-пальмерстона и, вставивъ въ правый глазъ стеклышико, скрылся за рѣзными дверами параднаго подъѣзда.

Черезъ минуту этотъ господинъ позвонилъ у магазина и спросилъ Долинскаго. Дѣвушка отвѣчала, что Долинскаго нѣтъ, ни дома, ни въ Петербургѣ. Гость сталъ добиваться его адреса, «а лучше всего, просиль онъ:—попросите мнѣ повидаться съ хо-зяйкой».

— Чѣму нужно такое? раздумывала Анна Михайловна, вставая и оправляясь.

Гость между тѣмъ топоталъ по магазину, въ которомъ отъ него разносился запахъ гостинодворскаго эс-букаета.

— Мое почтеніе! развязно хватилъ онъ при появлениі въ дверяхъ хозяйки и тряхнула себя цимермановской шляпой по ляжкѣ.

Анна Михайловна не просила его садиться и сама не сѣла, а остановилась у шкафа.

Анна Михайловна знала почти всѣхъ знакомыхъ Долинскаго, а этого господина припомнить никакъ не могла.

— Вамъ угодно адресъ Нестора Игнатьича? спросила она неизвестного гостя.

— Да-съ, мнѣ нужно ему бы отослать письмоцо.

— Адресъ его просто въ Ниццу, poste restante.

— Позвольте просить васъ записать.

— Да я говорю, просто: Nicce, poste restante.

— Вы къ нему пишете?

Анна Михайловна взглянула на бездрамоннаго гостя и спокойно отвѣчала:

— Да, пишу.

— Нельзя ли вамъ переслать ему письмоцо?

— Да вы отошлите просто въ Ниццу.

— Нѣтъ, что жъ тамъ еще разсыпаться! Сдѣлайте ужъ милость, передайте.

— Извольте.

— А то мнѣ некогда возжаться. — Гость подальше конвертъ, надписанный на имя Долинскаго, очень дурнымъ женскимъ почеркомъ и сказалъ:—это отъ сестры моей.

— Позвольте же узнать, кого я имѣю честь у себя видѣть?

— Митрофанъ Азовцевъ, отвѣчалъ гость.

— Азовцевъ, Азовцевъ, повторила въ раздумъю Анна Михайловна:—я какъ будто слыхала вашу фамилію.

— Несторъ Игнатьичъ женатъ на моей сестрѣ, отвѣчалъ гость, радостно осклабляясь и показывая рядъ нестерпимо глупыхъ бѣлыхъ зубовъ.

Теперь и почеркъ, которымъ былъ надписанъ конвертъ, показался знакомымъ Анне Михайловнѣ, и что-то кольнуло ее въ сердце. А гость продолжалъ ухмыляться и съ радостью рассказа-

зыvalъ, что онъ давно живеть здѣсь въ Петербургѣ, служитъ на конторѣ, и очень давно слыхалъ про Анну Михайловну очень много хорошаго.

— Моя сестра, разумѣется, какъ баба, сама виновата, произнесъ онъ, зареготавъ жеребчикомъ:—ядовита она у насъ очень. Но я Нестора Игнатьича всегда уважалъ и буду уважать, потому что онъ добрый, очень добрый былъ для всѣхъ насъ. Маменька съ сестрою тамъ какъ имъ угодно: это ихъ дѣло. Онъ у насъ два башмака — пара. На обухѣ рожь молотять и зерна не уронять. Азовцевъ зареготалъ снова.

Анна Михайловна созерцала этотъ экземпляръ молча, какъ воды въ ротъ набравши.

Экземпляръ поговорилъ-поговорилъ, и почувствовалъ, что пора и честь знать.

— До свиданья-съ, сказалъ онъ, наконецъ видя, что ему ничего не отвѣчаютъ.

— Прощайте, отвѣчала Анна Михайловна и позвонила дѣвушкѣ.

— Очень радъ, что съ вами познакомился.

Анна Михайловна поклонилась молча.

— Къ намъ на контору, когда мимо случится, милости просимъ.

Хозяйка еще разъ поклонилась.

— Нѣтъ, что жь такое! разговаривалъ гость, поправляя палецъ перчатки. — Къ намъ часто даже довольно дамы заходить, чаю выкушать, или такъ отдохнуть. — Пожалуйста, будьте столько добры!

— Хорошо-съ, отвѣчала Анна Михайловна.— Когда-нибудь.

— Сдѣлайте ваше такое одолженіе!

— Зайду-съ, зайду, отвѣчала, чтобы отвязаться, Анна Михайловна.

Проводя гостя, она нѣсколько разъ прошлась по комнатѣ, взяла письмо, еще прочла его адресъ и опять положила конвертъ на столъ. «Письмо отъ его жены!» думала Анна Михайловна. «Распечатать его, или нѣть?—Лучше отослать ему. А если тутъ что-нибудь непріятное? Если опять какой-нибудь глупый фарсъ? Зачѣмъ же его огорчать? зачѣмъ попусту тревожить?» — Анна Михайловна взялась за конвертъ и положила палецъ на сургучъ,

но опять задумалась. «Становиться между мужемъ и женой! — Нѣтъ, это негодится», сказала она себѣ и положила опять письмо на столъ. Вечеръ прошелъ, подали закуску. Анна Михайловна щла очень мало и въ раздумье глядѣла на ш-ле *Alexandrine*, глотавшую все съ аппетитомъ, въ которомъ голодный волкъ, хотя немножко, но все-таки однако уступаетъ французской двадцати-пятилѣтней гризеткѣ. Послѣ ужина опять письмо завертывалось въ рукахъ Анны Михайловны. Ей, какъ Шпекику, въ одно ухо что-то шептало: «не распечатывай», а въ другое — «распечатай, распечатай!» Она вспомнила, какъ Даша говорила: «нѣтъ, мои ангельчики! Еслибъ я когда полюбила женатаго человѣка, такъ ужь — слуга покорная — чьи бы то ни были, хоть бы самыя законныя старыя права на него, всѣ бы у меня покончились». — «Въ самомъ дѣлѣ!» подумала Анна Михайловна: «что жь такое, если въ письмѣ нѣть для него ничего непріятнаго, я его отошлю ему; а если тамъ однѣ мерзости, то... подумаю, какъ ихъ сгладить и тоже отошлю». Она зажгла свѣчу въ комнатѣ Долинскаго и распечатала конвертъ.

На скверной, измятой почтовой бумажкѣ, рыхими чернилами было написано слѣдующее:

«Вы честнымъ словомъ обязались высыпать мнѣ ежегодно пятьсотъ рублей и пожертвовали мнѣ какой-то глупый вексель на вашу сестру, которой уступили свою часть вашего кievскаго дворца. Я по неопытности приняла этотъ вексель, а теперь, когда мнѣ понадобились деньги, я вмѣсто денегъ имѣю только одни хлопоты. Вы, конечно, очень хорошо знали, что это такъ будетъ, вы знали, что мнѣ придется выдирать каждый грошъ, когда уступили мнѣ право на вашу часть. Я понимаю всѣ ваши подлости».

Анна Михайловна пожала плечами и продолжала читать далѣе.

«Возьмите себѣ назадъ эту уступку; а я хочу имѣть чистыя деньги. Потрудитесь мнѣ тотчасъ ихъ выслать по почтѣ. Вы заработываете болѣе двухсотъ рублей въ мѣсяцъ и половину можете отдать женѣ, которая всегда могла бы быть счастлива съ лучшимъ человѣкомъ, который бы цѣнилъ ее, ежелибы вы не завязали ея вѣкъ. Если вы не захотите этого сдѣлать — я вамъ покажу, что васъ заставлять сдѣлать. Вы можете тамъ жить хоть не съ одною модисткой, а съ двадцатью разомъ — вы развратники были всегда и мнѣ до васъ дѣла нѣтъ. Но вы должны

помнить, что вы воспользовались моей неопытностью и довели меня до гибельного шага; что вы теперь обязаны меня обезпечить, и что я имѣю право этого требовать. У меня есть люди, которые за меня заступятся, и если вы не хотите поступать честно, такъ вѣсъ хорошенько проучатъ, какъ негодая. Я не прежняя беззащитная дѣвочка, которую вы могли вертѣть, какъ хотѣли».

Анна Михайловна разсмѣялась.

«Я выведу на чистую воду, продолжала въ своемъ письмѣ т-те Долинская:—и покажу вамъ, какая разница между мною и обирающей вѣсъ метреской».

На щекахъ у Анны Михайловны выступили пятна негодованія. Она вздохнула и продолжала читать далѣе.

«Я осрамлю и вѣсъ, и ее на цѣлый свѣтъ. Вы жалуетесь, что я вѣсъ выгнала изъ дома, такъ ужъ все равно — жалуйтесь, а я вѣсъ выгоню еще и изъ Петербурга вмѣстѣ съ вашей шлюхой».

Письмо этимъ оканчивалось. Анна Михайловна сложила его и внутренне радовалась, что она его прочитала.

— Какая гадкая женщина! сказала она сама съ собою, кладя письмо въ столикъ и доставая оттуда почтовую бумагу. Лицо Анны Михайловны приняло свое спокойное выраженіе и она, выбравъ себѣ перо по руки, писала слѣдующее:

«Милостивая государыня!

«Прилагаемые при этомъ письмѣ триста рублей прошу вѣсъ получить въ число пятисотъ, требуемыхъ вами отъ вашего мужа. Остальные двѣсти вы аккуратно получите ровно черезъ мѣсяцъ. Бумагу, открывающую вамъ счетъ съ сестрою господина Долинского, потрудитесь удержать у себя. Неполученіе вашихъ денегъ отъ его сестры вѣроятно не выражаетъ ничего, кромѣ временнаго разстройства ея дѣлъ, которое, конечно, минется и вы снова будете получать, чтѣ вѣсъ слѣдуетъ. Мужа вашего здѣсь нѣть, и его совсѣмъ нѣть въ Россіи. Письма вашего онъ не получитъ. Вамъ отвѣчаетъ вмѣсто вашего мужа женщина, которую вы называете его метреской. Она считаетъ себя въ правѣ и въ средствахъ успокоить вѣсъ на счетъ денегъ, о которыхъ вы заботитесь, и позволяетъ себѣ просить вѣсъ не прибѣгать ни къ какимъ угрожающимъ мѣрамъ, потому что онъ вовсе не нужны и совершенно бесполезны».

Написавши это письмо, Анна Михайловна вложила его въ конвертъ, вмѣстѣ съ тремя радужными бумажками и спокойно легла въ постель, сказавъ себѣ: «слава-богу, что только всего горя». Черезъ день у ней былъ Журавка съ своей итальянкой и, если читатель помнить ихъ разговоръ у шкапика, гдѣ художникъ пилъ водченку, то онъ припомнить себѣ также и то, что Анна Михайловна была тогда довольно спокойна и даже шутила, а потомъ только плакала; но не это письмо было причиной ея горя.

Послѣ новаго года, предъ наступленіемъ котораго Анна Михайловна уже никако не сомнѣвалась, что въ Ниццѣ дѣло пошло анекдотомъ, до чего даже домыслился и Илья Макаровичъ; сидя за своимъ мольбертомъ въ своей одиннадцатой лиціи, пришло опять письмо изъ губерніи. На этотъ разъ письмо было адресовано прямо на имя Анны Михайловны.

Юлечка настрочила въ этомъ письмѣ Аннѣ Михайловнѣ кучу дерзкихъ намековъ и въ заключеніе сказала, что теперь ей известно, какъ люди могутъ быть безстыдно наглы и мерзки, но что она никогда не позволитъ человѣку, загубившему всю ея жизнь, ставить ее на одну доску со всякой встрѣчной; сама пріѣдетъ въ Петербургъ, сама пойдетъ всюду безъ всякихъ протекцій и докажетъ всѣмъ милымъ друзьямъ, что она можетъ сдѣлать.—Анна Михайловна, прочитавъ письмо, произнесла про себя «дуря!», потомъ положила его въ корзинку и ничего на него не отвѣчала. Ей очень жаль было Долинскаго; но она знала, что здѣсь нечего дѣлать и давно рѣшила, что въ этомъ случаѣ все-го нужно выжидать отъ времени. Анна Михайловна хорошо знала жизнь и не кидалась ни въ какія бесполезныя схватки съ нею. Она ей не уступала безъ боя того, что считала своимъ достояніемъ по человѣческому праву, и не боялась боевыхъ мукъ и страданій; но дорожа своими силами, разумно терпѣла тамъ, гдѣ оставалось одно изъ двухъ: терпѣть и надѣяться, или быть отброшенной и злобствовать, или жить только по великодушной милости побѣдителей.

Она не видала ничего опаснаго въ своей системѣ и была уверена, что она ничего не потеряла изъ всего того, что могла взять, а что ужъ потеряно, того, значитъ, взять было невозможно по самимъ естественнымъ и, слѣдовательно, самимъ сильнымъ причинамъ. Она сама ничего легкомысленно не бросала, но и

ничего не вырывала насилино; жила по душѣ и всѣмъ пред-  
оставляла жить по совѣсти. Этой простой логики она держалась  
во всѣхъ болѣе или менѣе важныхъ обстоятельствахъ своей жиз-  
ни и не измѣнила ей въ отношеніи къ Долинскому и Дорушкиѣ,  
разорвавшимъ ея скромное счастье.

«Пусть будетъ, что будетъ», говорила сама себѣ Анна Ми-  
хайловна: «тутъ ужъ ничего не сдѣлаешь», и продолжала писать  
имъ письма, полныя участья, но свободныя отъ всякихъ нѣжно-  
стей, которыхъ могли бы ихъ беспокоить, шевеля въ ихъ памяти  
прошедшее, готовое всегда встать тяжелымъ укоромъ настоящему.

А чѣмъ дѣлали, между тѣмъ, въ Ницѣ?

## II.

### Ницца.

Крылатый божокъ, кажется, совсѣмъ поселился въ трехъ ком-  
наткахъ тѣхъ Бюжаръ, и другимъ темнымъ и свѣтлымъ боже-  
ствамъ не было входа къ обитателямъ скромной квартирки съ  
итальянскимъ окномъ и густыми зелеными занавѣсками. О поѣзд-  
кѣ въ Россію, разумѣется, здѣсь ужъ и рѣчи не было, да и о  
многомъ, о чѣмъ слѣдовало бы вспомнить, здѣсь не вспоминали  
и рѣчей не заводили. Страстная любовь Доры совершенно овла-  
дѣла Долинскими и не давала ему еще пока ни призадуматься,  
ни посмотреть въ будущее.

— Боже мой, какъ мы любимъ другъ друга! восхищалась Да-  
ша, скимая голову Долинского въ своихъ розовыхъ, свѣженыхъ  
ручкахъ.

Несторъ Игнатьичъ обыкновенно застѣнчиво молчалъ при  
этихъ страстныхъ порывахъ Доры, но она и въ этомъ молчаніи  
ясно читала всю необъятность чувства, зажженного ею въ душѣ  
своего любовника.

— Ты меня ужасно любишь? Ты никого такъ не любилъ, какъ  
меня? спрашивала она снова, стараясь добиться отъ него желае-  
мого слова.

— Я всею душою люблю тебя, Дора.

Даша весело вскрикивала и еще безумнѣе, еще жарче ласкала  
Долинского.

Разговоровъ ихъ никто бы не записалъ, да они всѣмъ бы и  
наскучили. Всѣ ихъ разговоры были въ этомъ родѣ, а разгово-

ры въ этомъ родѣ могутъ быть вполнѣ понятны только для того существа, которое, прочитавъ эти строчки, можетъ наклонить къ себѣ любимую головку и почувствовать то, что чувствовала Да-ша и Долинскій. Анна Михайловна говорила правду, что они ни о чёмъ не думали и только «любились». А время шло. Со днія святой Сусанны, минуло болѣе пяти мѣсяцевъ. Въ Ниццу опять пріѣхало изъ Россіи давно жившее тамъ семейство Онучиныхъ. Семейство это состояло изъ матери, происходящей отъ древняго русскаго княжескаго рода, сына—молодого человѣка, очень умнаго и непомѣрно строгаго, да дочери, которая подъ новый годъ была въ магазинѣ *«M-me Annette»* и вызвалась передать ея поклонъ Да-шу и Долинскому. Мать звали Серафимой Григорьев-ной, сына — Кириломъ Сергѣевичемъ, а дочь — Вѣрой Сергѣев-ной. Семейство это было немного знакомо съ Долинскимъ.

Возвратясь въ Ниццу, Вѣра Сергѣевна со скучи вспомнила объ этомъ знакомствѣ и какъ-то послала просить Долинскаго побыватъ у нихъ когда-нибудь за просто. Несторъ Игнатьевичъ на другой же день пошелъ къ Онучинымъ. Въ пять мѣсяцевъ это былъ его первый выхѣдъ въ чужой домъ. Въ эти пять мѣсяцевъ онъ одинъ никуда не выходилъ, кромѣ кофейни, въ которой изрѣдка читалъ газеты, и то Дорушка обыкновенно ждала его гдѣ нибудь, или на бульварѣ, или тутъ же въ кафе.

Вѣра Сергѣевна встрѣтила Долинскаго на террасѣ, окружав-шей домикъ, въ которомъ они жили. Она сидѣла и разрѣзывала только полученную французскую иллюстрированную книжку.

— Здравствуйте, т-г Долинскій! сказала она, радушно протягивая ему свою длинную, бѣлую руку.—Берите стулъ и садитесь. Маман еще не вышла, а брата нѣтъ дома — поскучайте со мною.

Долинскій принесъ стулъ къ столу и сѣлъ.

— Какъ поживаете? спросила его Вѣра Сергѣевна.

— Благодарю васъ: день за день, все по старому.

— Рвѣшься изъ Россіи въ эти чужіе края, резонировала дѣ-вшка:—а пріѣдешь сюда—и здѣсь опять такая же скуча.

— Да тутъ въ Ниццѣ, кажется, не очень веселятся.

— А вы никуда не выѣзжали?

— Нѣтъ, я не выѣзжалъ.

— Что жъ, вы... много работаете?

— Такъ... какъ нѣмцы говорятъ «etwas».

— Sehr wenig, значитъ.

— Очень мало.

— Но, конечно, будете такъ любезны, что прочтете намъ то, чѣд написали.

— Полноте, Вѣра Сергѣвна! Чѣд вамъ за охота слушать мое крапанье, когда есть столько хорошихъ вещей, которыя вы можете прочесть и съ удовольствіемъ и съ пользою.

— Униженіе паче гордости, шутливо замѣтила Вѣра Сергѣевна, и оставивъ этотъ разговоръ, тотчасъ же спросила:—а чѣд дѣлается съ вашей очаровательной больной?

— Ей лучше, отвѣчалъ Долинскій.

— Я видѣла ея сестру.

— А-а! гдѣ же это?

Вѣра Сергѣевна разсказала свое свиданіе съ Анной Михайловной, какъ будто совсѣмъ не смотря на Долинскаго, но впрочемъ на лицѣ его и не видно было никакой особенно замѣчательной перемѣны.

— И больше ничего она не говорила?

— Нѣтъ. Она сказала, что вы часто переписываетесь.

Тутъ Несторъ Игнатьевичъ слегка покраснѣлъ и отвѣчалъ:

— Да, это правда.

— Что вы не курите, monsieur Долинскій, хотите папироску?

— Нѣтъ, благодарю васъ, я не курю.

— Вы, кажется, курили.

— Да, курилъ, но теперь не курю.

— Что же это за воздержаніе?

— Такъ, что-то надоѣло. Хочу воспитывать въ себѣ волю, Вѣра Сергѣвна, шутилъ Долинскій.

— А! это очень полезно.

— Только боюсь, не поздненько ли это нѣсколько?

— Ну, mieux tard...

— Que jamais —замѣчаніе во всѣхъ другихъ случаяхъ совершенно справедливое, подсказалъ Долинскій.

— Не собираетесь въ Россію? спросила Вѣра Сергѣевна послѣ короткой паузы.

— Нѣтъ еще.

— А тамъ новостей, новостей!

— Будьте милостивы, расскажите.

Mlle Онучина рассказала нѣсколько русскихъ новостей, кото-

рыя только для нея и были новостями, и которых Долинский давно знал изъ иностранныхъ газетъ. Старая Онучина все не выходила. Долинский посидѣлъ около часу, простился, обѣщалъ заходить и ушелъ съ полной рѣшимостью не исполнять своего обѣщанія.

— Что ты тамъ сидѣлъ такъ долго? спросила его Даша, встрѣчая на крыльцѣ, съ лицомъ въ одно и то же время и веселымъ, и нѣсколько тревожнымъ.

— Всего часъ одинъ только, Дора, отвѣчалъ покорно Долинский.

— Часъ! какъ это странно... нетерпѣливо сорвала Дора и остановилась, чувствуя, что говорить не дѣло.

— Нельзя же было, Дора.

— Ну, да.... очень можетъ быть. Ну, чѣмъ тебѣ разсказали?

— Ничего. Просто поклонъ привезли.

— Отъ Аῆны?

— Да.

Оба долго молчали. Даша сидѣла сложа руки, Долинский съ особеннымъ тщаніемъ выбивалъ щелчками пыль, насывшую на его бѣлой фуражкѣ.

— Чѣмъ жь еще разсказывали тебѣ? спросила поправляясь на диванѣ Даша.

— Ничего, Дора.

— Какъ это глупо!

— Что не разсказывали-то?

— Нѣтъ, что ты скрытничашь.

— О новостяхъ говорила m-ele Vera.

— О какихъ?

— Ну, все старое. Я тебѣ все давно говорилъ.

— Чего жь ты такимъ сентябремъ смотришь?

— Что тебѣ кажется! Тебѣ просто посердиться хочется.

— Первый туманъ, сказала Даша, спокойно давая ему свою руку.

— Какой туманъ?

— На лбу у тебя.

— Ну, что ты сочиняешь вздоры, Даша!

— Не будь, сдѣлай милость, ничтожнымъ человѣкомъ. Нашъ мостъ разоренъ! Наши корабли сожжены! Назадъ пдти нель-

зя. Будь же человѣкомъ, ужь если не съ волею, таѣъ хоть съ разумомъ.

— Да чего ты хочешь, Даша?

Даша вмѣсто отвѣта посмотрѣла на него искоса очень пристально, п съ легкой презрительной гримаской.

— Я жь люблю тебя! успокоивъ ее Долинскій.

— И боишься.

— Чего?

— Прошлаго.

— Богъ-знаетъ, что тебѣ сегодня кажется.

— То, что есть на самомъ дѣлѣ, мой милый.

— Напрасно; я только думаю, что честнѣ было бы съ нашей стороны обо всемъ написать...

Даша задумалась, и потомъ, вздохнувъ, сказала:

— Я сама знаю, что нужно дѣлать.

Вечеромъ, по обыкновенію, они сидѣли на холмикѣ, и въ первый разъ порознь думали.

— Ты ничего не работаешь? спросила Даша.

— Ничего, Дора.

— Я тоже ничего.

— Что жь тебѣ работать!

— А деньги у насъ есть еще?

— Не беспокойся, есть.

— Работай что-нибудь, а то мнѣ стыдно, что я мѣшаю тебѣ работать.

— Чѣмъ же ты-то мѣшаешь?

— Да вотъ тѣмъ, что все ты возлѣ меня вертишься.

— Гдѣ же мнѣ еще быть, Дора?

— И это, конечно, правда, сказала съ задумчивой улыбкой Даша, и не спѣша пригнувъ къ себѣ голову Долинскаго, поцаловала его и вздохнула.

Тихо они встали и пошли домой.

— Какой ты покорный! говорила Даша, усѣвшись отдохнуть на диванѣ и пристально глядя на Долинскаго. — Смѣшино даже смотрѣть на тебя.

— Даже и смѣшино?

— Да какъ же! — Не курить, не ходить никуда, въ глаза мнѣ смотрѣть, какъ падишаху какому-нибудь.

— Это все тебѣ такъ кажется.

— Зачѣмъ ты пересталъ курить?

— Наскучило.

— Врешь!

— Право, наскучило.

— Право, врешь. — Ну, говори правду. Чтобы дыму не было — да?

Долинский улыбнулся и кашнул въ знакъ согласія головой.

— Чѣмъ ты меня любишь?

— Какъ, чѣмъ?

— Вѣдь у тебя сердце все размѣненное, а любить можно разъ въ жизни, сказала смѣясь Даша.

— Ну, почему жь я это знаю.

— А чтѣ, еслибъ я умерла?

Долинский даже поблѣднѣлъ.

— Полно, полно, не пугайся, отвѣчала Даша, протягивая ему свою ручку.—Не сердись — я вѣдь пошутила.

— Какія же шутки у тебя!

— Вотъ странный человѣкъ! Я думаю, я и сама не имѣю особынаго влеченія умирать. Я боюсь тебя оставить. — Ты съ ума сойдешь, еслибъ я умерла?

— Боже спаси.

— Буду жить, буду жить, не бойся.

Утромъ Несторъ Игнатьевичъ покойно спалъ въ ногахъ на донрушкиной постели, а она рано проснулась, сѣла, долго внимательно смотрѣла на него, потомъ подняла волосы съ его лица, тихо подаловала его въ лобъ, и снова опустившись на подушки, проговорила:

— Боже мой! Боже мой! чтѣ съ нимъ будеть? Чтѣ мнѣ съ нимъ сдѣлать?

Опять все за грудь стала Даша частенько потрогиваться, какъ только оставалась одна. Но при Долинскому она попрежнему была веселою и покойною, только, кажется, становилась еще нѣжнѣе и добре.

— Напишу я, Даша, Аннѣ, говорилъ ей Долинский.

— Чтѣ жь ты ей напишешь?

— Что я тебя больше всего на свѣтѣ люблю.

— Она это и такъ знаетъ! улыбаясь отвѣтила Даша.

— Почему ты думаешьъ?

— Я это знаю.

— Все же надо написать что-нибудь.

— Нечего писать что-нибудь.

— Нѣтъ, по моему, все-таки лучше писать *ничего*, чѣмъ ничего не писать.

— Подожди. Я напишу сама, отвѣчала послѣ минутной паузы Дора.

А все не писала.

### III.

Цвѣтутъ въ поле цвѣтки да помиркнутъ.

Мартъ прошелъ. Дашь ужь не въ моготу стало скрывать своего нездоровья, и съ лица она стала измѣняться.

— Весна вѣрно у насъ начинается, сказала она одинъ разъ Долинскому.

Долинскій понялъ дашино вступленіе и мгновенно поблѣднѣлъ.

— Слабость у меня какал-то во всемъ тѣлѣ, пояснила Дора.

— Чѣмъ съ тобою?

— Ничего, а такъ слабость.

— Господи! Дорушка! счастье мое, да чѣмъ жь это съ тобою?

— Ничего, ничего. Слабость маленькую все чувствую, и больше ничего.

А доктора звать ни за что не хотѣла.

Кашель сталъ появляться и жаръ по почамъ обнаруживался.

— Какой ты забавный! говорила Даша, откашливаясь и смотря на Долинскаго. — Я кашляю, а его точно давить что-нибудь! откашливается по обязанности. Ну, чего ты морщишься? весело спросила она, и засмѣялась.

— Не смѣйся такъ, Дора.

— Чего жь плакать, мой другъ?

— Боюсь я за тебя.

— Чего?—Что я умру?

Долинскій смотрѣлъ на нее молча и мѣнялся въ лицѣ.

— Ты умри со мной.

— Полно пугать.

— Ага! любишь, любишь, а умирать вмѣстѣ не хочешь, говорила Дора, играя его волосами.

У Долинскаго навернулись слезы, и онъ отвѣчалъ:

— Нѣтъ, хочу.

— А лжешь!

— Да полно жь тебѣ меня мучить, Дора.

— Не мучить! Ну, хорошо, ну, слушай.

Дорушка повернулась къ нему лицомъ и сказала:

— Вотъ, мой другъ, что сей сонъ обозначаетъ...

Дорушка снова остановилась.

— Да чтò же ты хочешь сказать? нетерпѣливо спросилъ Долинскій, отирая выступавшій у него на лбу холодный потъ.

— А то, мой милый, что... не обращай ты вниманія, если тебѣ когда-нибудь кажется, что я будто стала холодна, что я скучаю... мнѣ все стало очень тяжело; не могу я быть и для тебя всегда такою, какою была. И для любви тоже силы нужны.

— Да чтò же съ тобой такое?

— Дурно.

— Господи! что же такое? чтò?

— Давно дурно.

— Чего жь ты молчала?

— Это все равно.

— Какъ, все равно?

— Ничто мнѣ не поможетъ.

— Ты себѣ сочиняешь, сказалъ вскочивъ Долинскій.

Даша молчала.

— Иди, ложись спать и дай мнѣ уснуть, сказала она черезъ минуту.

Долинскій въ раздумъѣ сѣлъ у ея ногъ.

— Ложись тутъ и спи, сказала опять Даша, указывая на мѣсто у своихъ ногъ.

По дрожащимъ и жаркимъ губамъ Долинскаго, которыми онъ прикоснулся къ рукѣ Даши, она догадалась, что онъ разстроенъ до слезъ и сказала:

— Пожалуйста, пустъ будетъ очень тихо, мнѣ хочется крѣпко уснуть.

#### IV.

#### ПРИГОВОРЪ.

Утромъ Долинскій осторожно вышелъ изъ комнаты и отправился къ доктору.

Въ двѣнадцать часовъ явился докторъ, и долго посидѣвъ у Даши, вошелъ въ комнату Нестора Игнатьевича, написалъ рецептъ и уѣхалъ, а Даша повеселѣла, какъ будто.

— Ну, чего ты такъ раскинься! говорила она Долинскому.— Все хорошо, я сама напрасно перепугалась. Поживемъ еще, попарствуемъ.

Долинский только руки ея целовалъ. Онъ хотѣлъ надѣяться и не смѣлъ вѣрить.

— Ну, ну, полно же.—А ты вотъ что сдѣтай для меня. Принеси мнѣ нашу казну.

— Денегъ еще много.

— Посмотримъ.

Денегъ точно было около двухъ тысячъ франковъ.

— Мало. Ты долженъ для меня заработать много. У меня есть къ тебѣ просьба.

— Приказывай, Даша.

— Заработай мнѣ денегъ. Мнѣ деньги нужны.

— Выдумываешь что-нибудь.

— Право, нужны; наряжаться хочу.

— Ну, хорошо, я буду работать, а ты скажи, на что тебѣ деньги нужны?

— Видишь, пора намъ и за дѣло браться. Ты работай свою работу, а я на первыя же деньги открываю русскій, этакой знаешь, пока маленький ресторанчикъ.

Долинскій разсмѣялся.

— Ничего нѣтъ смѣшнаго! Я не меньше тебя заработаю. Англичане же всѣ ходятъ ѿстѣ ростбифъ въ своемъ трактире.

— Ну?

— А у меня будетъ солонина, окрошка, пироги, квасъ, палотки; не бойся, пожалуйста, я вѣрно разсчитала. Ты не бойся, я на твоей шеѣ жить не стану.—Я бы очень хотѣла... дѣтей учить, дѣвочекъ; да, вѣдь не дадутъ. Скажутъ, сама безнравственная. А трактирицей ничего себѣ, могу быть — даже прилично.

Долинскій еще искреннѣе разсмѣялся.

— Нечего, нечего, говорила съ гримаской Дора.—Вѣдь я всегда трудилась и, разумѣется, опять буду трудиться.—Ничего новаго! Это вы только разсуждаете, какъ бы женщина потрудиться, а когда же наша простая женщина не трудилась? Я же вѣдь не барышня; неужто же ты думаешь, что я шла ко всему не думая, какъ жить, или думая побарски сѣсть на твою шею?

— Да я ничего.

— Ну, такъ нечего, значитъ, и смѣяться. Работай же. Помни, что вотъ я выздоровѣю, фондъ нуженъ, напоминала она, вскорѣ послѣ этого разговора Долинскому.

— Чѣмъ же работать?

— Господи! Вотъ Фигаро нетлѣнныи: все ткни его носомъ, да покажи. Ну, разумѣется, пишите повѣсть.

— Дорушка! Вы же понимаете, что повѣсти по заказу не пишутся. У меня въ головѣ нѣть никакой повѣсти.

— Ну, я тебѣ задамъ.

— Задай, задай, весело отвѣчалъ Долинскій.

— Ну вотъ ты, да я—вотъ тебѣ и повѣсть.

— Нѣть, это ужь пусть другіе пишутъ.

— Отчего жь?

— Къ сердцу очень близко.

— Напрасная сентиментальность.—Ну, Онучина, которой любить хочется, да маменька не велитъ.

— Я ее совсѣмъ не знаю, Дора.

— Побесѣдуй.

— Да откуда ты-то знаешь, что ей любить хочется?

— Такъ; приснилось мнѣ, что-ли — не помню.

— Да ты жь съ ней не говорила.

— Тутъ нечего и говорить.

— А впрочемъ, нѣть... постой, постой! вскрикнула подумавъ Даша.—Вотъ что бери: бери этакую, знаешь, барыню, которая все испытываетъ: любятъ-ли ее вѣрно, да на цѣлый ли вѣкъ? Ну, и тутъ словъ! словъ! словъ! — Съ словами цѣлая свора разныхъ, разныхъ прихвостней. Все она собирается любить «жарче дня и огня», а годы все идутъ, и сберется она полюбить, когда ее любить никто не станетъ, или полюбить того, кто менѣе всего стоитъ любви. Выйдетъ ничего-себѣ повѣсть, если хорошенько розыграть.

— Начнемъ-ка, подбавила Дора: — я буду вязать себѣ платокъ, а ты пиши.

Шута началась работа. Повѣсть писалась и платокъ вязался.

---

— Чѣдѣ, ваша кузина... не замужемъ? спросилъ одинъ разъ докторъ, садясь за столикъ въ комнатѣ Долинскаго, чтобы записать рецептъ Даши.

— Нѣть, не замужемъ, нѣсколько смутясь отвѣтилъ Долинскій. Докторъ нагнулся къ столу, и написавъ не спѣша двѣ строчки, снова сказалъ: «Я хотѣлъ васъ спросить: дѣвушка она, или нѣть? — очень странные симптомы! — Онъ быстро поднялъ глаза отъ

бумаги на лицо Долинского. Тотъ былъ красенъ до ушей. Докторъ снова нагнулся, отбросилъ начатый рецептъ въ сторону, и написавъ новый, уѣхалъ.

— Чѣдѣ же, развѣ ей очень дурно? спросилъ Долинскій, провожая доктора за дверь.

— Теперь ничего особеннаго, хотя и хорошаго пѣтъ, по послѣ болѣзни можетъ идти crescendo, отвѣчалъ врачъ сухо и даже нѣсколько строго.

— Чѣдѣ тебѣ говорилъ докторъ?

— Ничего особеннаго, отвѣчалъ смущаясь Долинскій.

— Онъ все съ намеками какими-то.

— Да.

— И все вретъ.

— А если правда!

— Лжетъ, лжетъ, я знаю. Я просто простудилась. Послушай-ка меня! Устрой-ка ты мнѣ на ночь ножную ванну — это мнѣ всегда помогало.

— Это прежде было, Дора.

— Ахъ, не спорь о томъ, чего не понимаешь!

— А если хуже будетъ?

— Ахъ, Боже мой, чѣдѣ же это за наказаніе съ этими безтолковыми людьми! Ну, не будетъ хуже, русскимъ вамъ языкомъ говорю, не будетъ, не будетъ, настаивала Дора.

Вечеромъ, Даша при содѣйствії т-те Бюжаръ брала ножную ванну, и встала на другое утро довольно бодрою, но къ полудню у ней все кружилась голова, а передъ обѣдомъ она легла въ постель.

Пять дней она уже лежала, и все ей худо было. Докторъ началь покачивать головой, и разъ сказалъ Долинскому:

— Просто не пойму, чѣдѣ это такое?

— Ванну она брала.

— Зачѣмъ?

— Хотѣла.

Докторъ поклонился плечами и уѣхалъ.

Больная все разнемогалась. Кашель сильный начался, и по ночамъ изнурительный потъ.

— Чѣдѣ съ нею, докторъ? спрашивалъ встревоженный Долинскій.

— Ничего не могу вамъ сказать хорошаго.

— Неужто это все вапна надѣлала?

— Не думаю, но болѣзнь идетъ ужасно быстро.

— Боже мой! чѣдѣ жъ дѣлать?

Ч. III. — Обойд-

— Будемъ дѣлать, чѣмъ можно.

— Собрать консиліумъ?

— Соберите.

Пять докторовъ были, и деньги взяли, а Дашѣ день ото дня становилось хуже. Не мучилась она, а все слабѣла, и тяжело дышать стала. Долинскій не отходилъ отъ нея ни на шагъ, и самъ разнемогся.

— Сходи къ Онучинымъ, говорила Долинскому Даша, стараясь услать его утромъ изъ дома.

— Зачѣмъ?

— Принеси мнѣ русскую Иллюстрацію.

Несторъ Игнатьевичъ взялъ фуражку.

— А ко мнѣ пошли т-те Бюжаръ, сказала ему вслѣдъ Даша. Онъ мимоходомъ позвалъ къ ней старуху.

Когда онъ возвратился, въ комнатѣ Даши стоялъ диванъ, перенесенный изъ его кабинетика.

— Зачѣмъ ты это велѣла перенести, Даша?

— Такъ; ты прилечь здѣсь можешьъ, когда устанешь.

Часто, и все чаще и чаще она стала посыпать его къ Онучинымъ, то за газетами, которыхъ потомъ заставляла себѣ читать, и слушала, какъ будто со вниманіемъ; то за узоромъ, то за русскимъ чаемъ, котораго у нихъ не хватило. А между тѣмъ, въ его отсутствіи она вынимала изъ-подъ подушки бумагу и скоро и очень скоро что-то писала. Схватится за грудь руками, подержитъ себя сколько можетъ крѣпче, вздохнетъ болѣзнико и опять пишетъ, пока на дворѣ подъ окнами раздаются знакомые шаги.

— Прибѣжалъ! невытерпѣль! скажетъ улыбаясь Дора. — Бѣдный ты мой! Зачѣмъ ты меня такъ любишь?

У Долинскаго стало все замѣтнѣе и замѣтнѣе недоставать словъ. Въ такія особенно минуты, онъ обыкновенно или потерянно молчалъ, или столь же потерянно бралъ больную за руку и не сводилъ съ нея глазъ. Очень тяжело, невыносимо тяжело видѣть, какъ близкое и дорогое намъ существо таетъ, какъ тонкая восковая свѣчка, и спокойно переступаетъ послѣднія ступени къ могилѣ.

Даша проболѣла мѣсяцъ, и извелась совсѣмъ: сдѣлалась сухая, какъ перезимовавшая въ полѣ былинка, и прозрачная, какъ вытаившая восковая фигура, освѣщенная съ боку. Въ послѣднее время, она почти ничего не кушала, и перестала посыпать изъ дома Долинскаго.

— Будь теперь возлѣ меня, говорила она ему. — Теперь ужъ недолго.

— Да что ты, Дора, въ самомъ дѣлѣ, умирать, чтѣ-ли, собираешься?

— А ты какъ думаешь? тихо спросила Дора.

Долинскій стоялъ передъ нею сущимъ истуваномъ.

— Охъ, какой ты смѣшной! говорила черезъ силу улыбаясь Дорушка. — Ну, чего ты моргаешь? Чего тебѣ жаль? Жаль меня? Ну, люби меня, послѣ смерти! .. да что обѣ этомъ. Плачь, если плачется, а я счастлива. Дорушка кашлянула, задумалась, и произнесла еще спокойнѣе: — смерть! Чтѣ жъ такое смерть? Непрѣжное! .. Ну, и пусть живы оборвется на живомъ звукъ, сразу, безъ стоновъ, безъ жалобъ нищенскихъ. Дорушка опять кашлянула, и показавъ Долинскому бѣлый платокъ, съ свѣжими алыми пятнышкомъ, улыбнулась.

Больной становилось все хуже. Докторъ сказалъ, что ужъ нѣтъ никакой надежды.

Даша допытывалась сама о состояніи своего здоровья, и сказала: «теперь напиши Аннѣ, что я безнадежна.»

Долинскій написалъ письмо; Даша прочла его, написала внизу: «прощай, сестра», и отдала имѣте Бюжаръ, чтобы отправить на почту. На другой день, когда старуха перемѣнила на ней бѣлье, она отдала ей другой толстый пакетъ, и велѣла его бросить завтра въ ящикъ. Два дня потомъ, она была совсѣмъ едва жива, а на третій ей вдругъ полегчало. Цѣлый день Долинскій никакъ не могъ ее упросить, чтобы она молчала. Все, какъ птичка, она щебетала, и все возлѣ себя держала его. Ночью спала она очень покойно, и слѣдующій день начала хорошо, но раза три все порывалась вскрикнуть, какъ будто разрывалось что-то у нея въ груди. Слѣдующая ночь была ей гораздо труднѣе: она бродила, вскрикивала, и безпрестанно звала Долинскаго.

— Я здѣсь, Дора, отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Гдѣ? Гдѣ ты?

Плачетъ, и сама руками ищетъ въ воздухѣ.

— Да вотъ я, вотъ, возлѣ тебя, отвѣчалъ Долинскій, сжимая руку.

— Господи! а я ужъ думала, мнѣ показалось, что я... что тебя ужъ нѣтъ со мною.

— Полно, успокойся, Дора.

— Да гдѣ же ты опять?

— Да я же вотъ держу тебя за руки.

— То-то... Голосъ твой вдругъ какъ-то странно... далеко мнѣ послышался. Ты не отходиъ отъ меня? спрашиваетъ она въ жару, тревожно водя блуждающими глазами.

— Нѣтъ, Дора.

— То-то, ты не отходи.

— Куда же я пойду?

— Ну, Богъ тебя знаетъ.

Даша на минутку забывалась, и опять вскорѣ звала.

— Чѣмъ же? чѣмъ, моя Дора? перепуганнымъ голосомъ спрашивалъ забывавшійся минутнымъ сномъ Долинскій.

— Все мнѣ кажется, какъ будто мы другъ отъ друга уходимъ.

— Ты бредишь, Даша.

— Да, вѣрно брежу. — Ты меня держишь за руку?

— Ну, да, Дора. Богъ съ тобой, развѣ ты не видишь?

— Нѣтъ, вижу. Только ты все далеко какъ-то. Ты лучше обними меня. Сядь такъ, ближе, возьми меня къ себѣ.

И она уснула почти на рукахъ Долинскаго. Когда солнышко взглянуло сквозь занавѣски, Даша спала спокойна и прекрасна, и предательскія алые пятна весело играли на ея нѣжныхъ щечкахъ.

## V.

### FINITA LA COMEDIA.

Съ утра Даша было и такъ и сякъ, только землистый цвѣтъ, пропустившій по тонкой кожѣ около устья п носа, придавалъ лицу Даши какое-то особенное непріятное, и даже страшное выраженіе. Это была та непостижимая печать, которою смерть за живо отмѣчаетъ обреченныя ей жертвы. Даша была очень серьѣзна, смотрѣла въ одну точку, и блѣдными пальцами все обпраля что-то съ своего, перстью земною покрывавшагося лица. Къ ночи ей стало хуже, только она однако уснула.

Долинскій приподнялся, дошелъ на ципочкахъ до дивана и прилегъ. Онъ былъ очень пзнуренъ многими безсонными ночами, и уснулъ какъ умеръ. Однако, несмотря на крѣпкій сонъ, часу во второмъ ночи, его какъ будто кто-то самимъ безцеремоннымъ образомъ толкнулъ подъ бокъ. Онъ вскочилъ, оглянулся и вздрогнулъ. Даша, опершись на свою подушку локоткомъ, манила До-

линского къ себѣ пальчикомъ, и тихонько, шепотомъ называла его имя.

— Чѣдѣ ты? спросилъ онъ, подойдя къ ея постели.

— Тссс! произнесла Даша, и сердито погрозила пальцемъ.

Долинскій остановился и оглянулся.

— Тссс! повторила Даша, и спросила шепотомъ: — когда она пріѣхала?

— Кто пріѣхала!

— Анна.

— Какая Анна?

— Ну, Анна, Анна сестра.

— Богъ съ тобой, это тебѣ приснилось.

Даша разсердила.

— Не приснилось, а она приходила сюда, вотъ тутъ, вотъ возлѣ меня стояла въ бѣломъ калотѣ.

— Что ты говоришь, Дора, вздоръ какой! Зачѣмъ здѣсь будѣть Анна?

— Я тебѣ говорю, она сейчасъ была тутъ, вотъ тутъ. Она смотрѣла на меня и на тебя. Вотъ въ лобъ меня поцарапала, я еще и теперь чувствую, и сама слышала, какъ дверь за ней скрипнула. Ну, выйди, посмотри лучше, чѣмъ спорить.

Долинскій зажегъ у ночной лампочки свѣчу, и вышелъ въ другую комнату. Никого не было; все оставалось такъ, какъ было. Проходя мимо зеркала, онъ только испугался своего собственного лица.

— Ничего нѣтъ, сказалъ онъ, входя къ Дашѣ, возможно спокойнымъ и твердымъ голосомъ.

— Чего жь ты такъ обрадовался? чего ты кричишь-то! Ну, нѣтъ и нѣтъ.

— Я обыкновеннымъ голосомъ говорю.

— Не надо обыкновеннымъ голосомъ говорить — говори другимъ.

Лицо Доры было необыкновенно сурово, даже страшно своею грозною серьёзностью.

При свѣчѣ, на немъ теперь очень ясно обозначились серьёзныя черты Иппократа.

— Зачѣмъ же это другимъ голосомъ? Чѣдѣ ты все пугаешь меня, Даша? сказалъ ей, действительно дрожа отъ непонятнаго страха Долинскій.

— Это смерть моя приходила, отвѣчала съ досадой больная.

Долинскій понималъ, что больная бредитъ на яву, а мурашки все-таки по немъ пробѣжали.

— Какой вздоръ, Даша!

— Нѣть, не вздоръ, нѣть не вздоръ — и Даша заплакала.

— Чего жь ты плачешь?

— Того, что ты со мной споришь. Я больна, а онъ спорить.

— Ну, успокойся же, я точно виноватъ.

— Виноватъ!

Даша отерла платкомъ слезы, и сказала:

— И опять глупо: совсѣмъ невиноватъ. Сядь возлѣ меня; я все пугалась чего-то.

Долинскій сѣлъ у изголовья.

— Капризная я стала? спросила едва слышно больная.

— Нѣть, Дора, какіе жь у тебя капризы.

— Ну, я тебѣ скажу какіе, только пожалуйста, со мной не спорь, и не возражай.

— Хорошо, Дора.

— Я хочу, чтобы ты меня на свои трудовыя деньги мертвую привезъ въ Россію. Хорошо?

Долинскій молчаль.

— Исполнишь? спрашивала ласково Дора.

— Исполню.

— До тѣхъ поръ не выѣзжай отсюда. Сдѣлаешь?

— Сдѣлаю.

Она приложила къ его губамъ свою ручку, а онъ поцаловалъ ее, и больная уснула.

Черезъ два дня послѣ этого, съ самаго утра, ей стало очень худо. День она провела безъ памяти, и глядя во всѣ глаза на Долинскаго, все спрашивала: «Гдѣ ты? Не отходи же ты отъ меня!» Передъ вечеромъ зашелъ докторъ, и выходя, только губами подернулъ, да махнулъ около носа пальцемъ. Дѣло шло къ развязкѣ. Долинскій совсѣмъ растерялся. Онъ стоялъ надъ постелью безъ словъ, безъ чувствъ, безъ движенія, и не слыхалъ, что возлѣ него дѣлала старуха Бюжаръ. Только милый голосъ, звавшій его время отъ времени, выводилъ его на мгновеніе изъ страшнаго оцепененія. Но и этотъ низко-упавшій голосъ очень мало напоминалъ прежній звонкій голосъ Доры. Въ комнатѣ была мертвая тишина. М-те Бюжаръ начинала позѣвывать и кланяться сѣдою головою. Пришла полночь, стало еще тише. Вдругъ, среди этой тишины, Даша стала тихо приподниматься на постели, п

протянула руки. Долинский поддержал ее. «Пусти, пусти», прошептала она, отводя его руки. Онъ уложилъ ее опять на подушку, и она легла безпрекословно.

Зорька стала заниматься и въ соседней комнатѣ, гдѣ сегодня не были опущены занавѣски, начало сѣрѣть. Даша вдругъ опять начала тихо и медленно приподниматься; взиралась въ одну точку въ ногахъ постели, и прошептала: «звонятъ! Гдѣ это звонятъ?» и съ этими словами внезапно вздрогнула, схватилась за грудь, упала навзничь, и закричала: «ой, чтѣ жъ это! больно мнѣ! больно! — Охъ, какъ больно! Помогите хоть чѣмъ нибудь. А-а! В-о-тъ о-н-а смерть! — Жить!... Ахъ!... ахъ! жить, еще! жить хочу!» крикнула громкимъ, рѣзкимъ голосомъ Дора, и какъ-то неестественно закинула назадъ голову.

Долинский нагнулся и взялъ ее подъ плечи; Дора вздрогнула, тихо потянулась, и ея не стало.

У изголовья кровати стояла м-те Бюжаръ и плакала въ платокъ, а Долинский такъ и остался, какъ его покинула отлетѣвшая жизнь Доры.

Прошло десять или пятьнадцать минутъ; м-те Бюжаръ рѣшилась позвать Долинского, но онъ не откликнулся.

Онъ ничего не слыхалъ.

Madame Бюжаръ пошла домой, плакала, пила со сливками свой кофе, опять просто плакала и опять пришла — все оставалось по-прежнему. Только свѣтло совсѣмъ въ комнатѣ стало.

Француженка еще разъ покликала Долинского, онъ тупо взглянула на нее и его лѣвая щека скривилась въ какую-то особенную кислую улыбку. Старуха испугалась и выбѣжала.

## VI.

### СИРОТА.

Madame Бюжаръ побѣжала къ Онучинымъ. Она знала, что кроме этого дома у ея жильцовъ не было никого знакомаго. Благородное семейство еще почивало. Француженка усѣлась на террасѣ и терпѣливо ожидала. Здѣсь ее засталъ Кирилъ Сергеевичъ и обѣщался тотчасъ идти къ Долинскому. Черезъ часъ онъ пришелъ въ квартиру покойницы вмѣстѣ съ своею сестрою. Долинский по прежнему сидѣлъ надъ постелью и неподвижно смотрѣлъ на мертвую голову Доры. Глаза ей никто не завелъ, и

Съ поблѣдшими глазами  
Ликъ прежде иѣжнай, бытъ страшнай  
Всего, чѣо страшно для людей.

Мухи ползали по глазамъ Дорушки.

Кирилль Сергѣевичъ съ сестрою вошли тихо. М-те Бюжаръ встрѣтила ихъ въ залѣ и показала въ отворенную дверь на сидѣвшаго попрежнему Долинскаго. Брать съ сестрой вошли въ комнату умершай. Долинскій не трогался.

— Несторъ Игнатьичъ! позвалъ его Онучинъ.

Отвѣта не было. Онучинъ повторилъ свой окликъ—то же самое, Долинскій не трогался.

Вѣра Сергѣевна постояла иѣсколько минутъ, и не снимая своей правой руки съ локтя брата, лѣвую сильно положила на плечо Долинскаго, и нагнувшись къ его головѣ, сказала ласково: «Несторъ Игнатьичъ!»

Долинскій какъ будто проснулся, провелъ рукою по лбу и взглянулъ на гостей.

— Здравствуйте! сказала ему опять м-ле Онучина.

— Здравствуйте, отвѣчалъ онъ, и его лѣвая щека опять кривилась въ ту же странную улыбку.

Вѣра Сергѣевна взяла его за руку и опять съ усилиемъ крѣпко ее пожала. Долинскій всталъ и его опять подернуло улыбнуться очень недоброй улыбкой. М-те Бюжаръ пугливо жалась въ углу, а ботаникъ видимо растерялся.

Вѣра Сергѣевна положила обѣ свои руки на плечи Долинскаго и сказала:

— Одни вы теперь остались!

— Одинъ, чуть слышно отвѣтилъ Долинскій и, оглянувшись на мертвую Дору, снова улыбнулся.

— Ваша потеря ужасна, продолжала не сводя съ него своихъ глазъ Вѣра Сергѣевна.

— Ужасна, равнодушно отвѣчалъ Долинскій.

Онучинъ дернулъ сестру за рукавъ и сдѣлалъ строгую гримасу. Вѣра Сергѣевна оглянулась на брата, и отвѣтивъ ему нетерпѣливымъ движенiemъ бровей, опять обратилась къ Долинскому, стоявшему передъ ней въ окаменѣломъ спокойствії.

— Она очень мучилась?

— Да, очень.

— Итакъ еще молода!

Долинскій молчалъ и тщательно обтиralъ правою рукою кисть своей лѣвой руки.

— Такъ прекрасна!

Долинскій оглянулся на Дору и уронилъ шопотомъ:

— Да, прекрасна.

— Какъ она вѣсъ любила!... Боже! какая это потеря.

Долинскій какъ будто пошатнулся на ногахъ.

— И за что такое несчастье!

— За чтѣ! за... за что! простоналъ Долинскій, и упавъ въ колѣна Вѣры Сергѣевны, зарыдалъ какъ ребёнокъ, котораго безъ вины наказали въ примѣръ прочимъ.

— Полноте, Несторъ Игнатьичъ, началь-было Кирилъ Сергѣевичъ, но сестра снова остановила его сердобольный порывъ и дала волю плакать Долинскому, обхватившему въ отчаяніи ея колѣни.

Мало-по-малу онъ выплакался, и облокотясь на стулъ, взглянуль еще разъ на покойницу и грустно сказалъ: «все кончено».

— Вы мнѣ позволите, т-р Долинскій, заняться ею?

— Занимайтесь. Что жъ, теперь все равно.

— А вы съ братомъ подите отправьте депешу въ Петербургъ сестрѣ.

— Хорошо, покорно отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

Онучинъ увелъ Долинскаго, а Вѣра Сергѣевна послала т-те Бюжаръ за своей горничной, и въ ожиданіи ихъ, сѣла передъ постелью, на которой лежала мертвая Дора.

Дѣтскій страхъ смерти при бѣломъ днѣ овладѣлъ Вѣрою Сергѣевной: все ей казалось, что мертвая Дора сунится и слегка шевелитъ насильно закрытыми вѣками.

Одѣли покойницу въ бѣлое платье, и голубою лентой подпоясали ее по стройной талиѣ, а пышную красную косу расчесали по плечамъ и такъ положили на столъ.

Комната дашину вычистили, но ничего въ ней не трогали; все осталось въ томъ же порядкѣ. Долинскій вернулся домой тихій, грустный, но спокойный. Онъ подошелъ къ Дашибѣ, поднялъ кисею, закрывавшую ей голову, поцаловалъ ее въ лобъ, потомъ поцаловалъ руку и закрылъ опять.

— Пойдемте же къ намъ, Несторъ Игнатьичъ! говорилъ Онучинъ.

— Нѣть, право, не могу. Я не пойду; мнѣ здѣсь хорошо.

— Въ самомъ дѣлѣ, ваше мѣсто здѣсь, подтвердила Вѣра Сергѣевна.

Онъ съ благодарностью пожалъ ей руку.

— Знасте, что я забыла спротить васъ, т-р Долинскій! сказала Вѣра Сергѣевна, зайдя къ нему послѣ обѣда.—Вы Дору здѣсь оставите?

— Какъ здѣсь?

— То-есть въ Италии?

— Ахъ, Боже мой! я и забылъ. Нѣтъ, ее перевезутъ домой, въ Россію. Нужно металлическій гробъ. Вы вѣдь это хотѣли сказать?

— Да.

— Да, металлический.

— Вы не хлопочите, маман все это уладить: она знаетъ, что нужно дѣлать. Она извиняется, что не можетъ къ вамъ прийти, она нездорова.

Старуха Онучина боялась мертвыхъ.

— Позвольте же, деньги нужно дать, беспокоился Долинскій.

— Послѣ, послѣ отадите, сколько издержать.

— Благодарю васъ, Вѣра Сергѣевна. Я бы самъ ничего не дѣлалъ.

M-lle Онучина промолчала.

— Какъ вы хорошо одѣли ее! заговорилъ Долинскій.

— Вамъ нравится?

— Да. Это всего лучше шло къ ней всегда.

— Очень рада. Я хочу посидѣть у васъ, пока братъ за мною придетъ.

— Что жь! Это большое одолженіе, Вѣра Сергѣевна.

— У васъ есть чай?

— Чай? Вѣрно есть.

— Дайте, если есть.

Долинскій нашелъ чай и позвалъ старуху. Принесли горячей воды и Вѣра Сергѣевна сѣла дѣлать чай. Пришла и горничная съ большимъ узломъ въ салфеткѣ. Вѣра Сергѣевна стала разбирать узель: тамъ была розовая подушечка въ ажурномъ чехлѣ, кисея, собранная буфами, для того, чтобы ею обтануть столъ; множество гирляндъ, великолѣпный букетъ и вѣнокъ изъ живыхъ бѣлыхъ розъ на голову.

Разложивъ все это въ порядкѣ, Вѣра Сергѣевна съ своею горничной начала убирать покойницу. Долинскій тихо и спокойно помогалъ имъ. Онъ вынулъ изъ своей дорожной шкатулки киевскій перламутровый крестъ своей матери и, по украинскому обычаю, вложилъ его въ исхудалыя ручки Доры.

Передъ тѣмъ, когда хотѣли закрывать гробъ покойницы, Вѣра Сергѣевна вынула изъ кармана ножницы, отрѣзала у Дорушки цѣлую горсть волосъ, потомъ отрѣзала длинный конецъ отъ ея голубого пояса, перевязала эти волоса обрѣзкомъ ленты и подала ихъ Долинскому. Онъ взялъ молча этотъ послѣдній остатокъ земной Доры и даже не поблагодарилъ за него m-lle Онучину.

## VII.

### Письмо изъ-за могилы.

Анна Михайловна получила письмо обѣ отчаянной болѣзни Доры за два часа до полученія телеграммы о ея смерти.

Анна Михайловна плакала и тосковала въ Петербургѣ, и ее никто не заботился утѣшать. Одинъ Илья Макаровичъ чаще забѣгалъ подъ различными предлогами, но мало отъ него было ей утѣшенія: художникъ самъ не могъ опомниться отъ печальной вѣсти и все сводилъ разговоръ на то, что «сгорѣло созданье милое! подсѣкла его судьбенка.» Анна Михайловна, впрочемъ, и не искала стороннихъ утѣшений.

— Не беспокойтесь обо мнѣ, Илья Макаричъ, ничего со мною не сдѣлается, отвѣчала она волновавшемуся художнику.—Отъ горя люди, къ несчастію, не умираютъ.

Только Аннѣ Анисимовнѣ она часто съ тревогою сообщала свои сновидѣнія, въ которыхъ являлась Дора. «Видѣла ее, мою крошку, будто она одна, босая, моя голубочка, сидѣть на полу въ пустой церкви...» рассказывала тоскую Анна Михайловна.

— Душенька ея... сочувственно начинала бѣдная дѣвушка.

— И эти ручки, эти свои маленькия ручонки ко мнѣ протягиваетъ... Ахъ ты Боже мой! Боже мой! перебивала въ отчаяніи Анна Михайловна, и обѣ начинали плакать вмѣстѣ.

Черезъ три дня послѣ полученія печальныхъ извѣстій изъ Ниццы, Аннѣ Михайловнѣ подали большое письмо Даши, отданное покойницей т-те Бюжаръ за два дня до своей смерти. Анну Михайловну нѣсколько изумило это письмо умершаго автора; она поспѣшно разорвала конвертъ и вынула изъ него пять мелко исписанныхъ листовъ почтовой бумаги.

«Сестра! Пишу къ тебѣ съ-того свѣта, начинала Даша.—Живя на землѣ, я давно не въ силахъ была говорить съ тобою по-прежнему, то-есть я не могла говорить съ тобой откровенно. Въ

первый разъ въ жизни я измѣнила себѣ, отмалчивалась, робѣла. Теперь исповѣдуясь тебѣ, моя душка, во всемъ. Пусть будетъ надо мной твоя воля и твой судъ милосердный. Мой міръ прошелъ предо мною полнымъ и я схожу въ готовую могилу безъ всякаго ропота. Совѣсть я уношу чистую. По моимъ нравственнымъ понятіямъ, то-есть понятіямъ, которыхъ у меня были, яничъ не оскорбила ни людей, ни человѣчество, и ни въ чемъ не прошу у нихъ прощенія. Но есть, голубчикъ сестра, условія, которыхъ плохо повинуются разсудку и заставляютъ настъ страдать крѣпко, долго страдать, наперекоръ своей увѣренности въ собственной правотѣ. Одно такое условіе давно стало между мною и тобою; оно поднималось, падало, опять поднималось, рослоросло, наконецъ выросло во всю свою естественную, или, если хочешь, во всю свою уродливую величину, и теперь съ моей смертью оно, слава-богу, исчезаетъ. Я говорю, Аня, о нашей любви къ Долинскому... Пора это выговорить... Зачѣмъ мы его полюбили обѣ? я не разрѣшу себѣ точно такъ же, какъ не могла себѣ разрѣшить никогда, чѣмъ такое мы въ немъ полюбили? чѣмъ такое въ немъ было?... Увлеклись своими опекунскими ролями, или это—спла добра и честности?

«Да Богъ съ ними, съ этими вопросами! поздно ужъ рѣшать ихъ.

«Я себѣ свою начальную любовь къ этому Долинскому, къ этой живой слабости, объясняю, впервыхъ, моей мизерикордіей, а во вторыхъ... тѣмъ, что-ли ужъ, что нынѣшніе сильные люди не вызываютъ любви, не могутъ ее вызвать. Я не знаю, чѣмъ со мной было, еслибы я рядомъ съ Долинскимъ встрѣтила человѣка сильного какъ-то иначе, сильного любовью, но люди сильные одною ненавистью, однимъ самолюбіемъ, сильные умѣньемъ не любить никого, кроме себя и своихъ фразъ, мнѣ были ненавистны; другихъ людей не было, и Долинскій, со всѣми его слабостями, сталъ мнѣ милъ, какъ говорятъ, понравился.

«Ты знаешь, что я его люблю едва-ли не раньше тебя, едва-ли не съ первой встрѣчи въ Луврѣ передъ моей любимой картиной. Но онъ тебя, а не меня полюбилъ. Вы это искусно скрывали, но недолго. Сердце сказало мнѣ все; я все понимала, и понимала, что онъ считаетъ меня ребёнкомъ. Это меня злило... Да не будь этого, можетъ быть, и ничего бы не было остального. Сначала я заставляла молчать мое странное, какъ будто съ за-

висти разгоравшееся чувство; я сама увѣряла себя, что я не могла бы успокопть упадшій духъ этого человѣка, что ты вѣрнѣе достигнешь этого, и таки-наконецъ одолѣла себя, отошла отъ васъ въ сторону. Вы не видали меня за своею любовью и я вамъ не мѣшала, но я наблюдала васъ, и тутъ-то мнѣ показалось, что я поняла Долинскаго гораздо вѣрнѣе, чѣмъ понимала его ты. Тебѣ было жаль его, тебѣ хотѣлось его успокоить, дать ему вздохнуть, оправиться, а потомъ... жить тихо и скромно. Такъ я это понимала.

«Я была очень молода, совсѣмъ неопытна, совсѣмъ дѣвочки, но я чувствовала, что въ немъ еще много жизни, много силы, много охоты жить смѣлѣе, тверже. Я видѣла, что силѣ этой такъ не должно замереть, но что у него воля давно пришибена, а ты только о его покоѣ думаешь. Я почувствовала, что еслиъ онъ любилъ меня, то я бы могла дать ему то, чего у него не было, или чтѣ онъ утратилъ: волю и смѣлость. Это льстило моей дѣтской гордости, этпмъ я хотѣла отмыть мою жизнь на свѣтѣ. Но вы любили другъ друга, и я опять отошла въ сторону и опять наблюдала васъ, любя васъ обоихъ. А тутъ я заболѣла, собиралась умирать. Занося ногу въ могилу, я еще сильнѣе почувствовала мою любовь — въ страсть она переходила во мнѣ. Это было для меня чувство совершенно новое и я, право, въ немъ невиновата. Это какъ-то сдѣлалось совсѣмъ мимо меня! Мнѣ не хотѣлось умирать не любя: мнѣ хотѣлось любить крѣпко, сильно. Это было ужасное чувство, мучительное, страшно мучительное! Тутъ поѣхали мы въ Италію; все вдвоемъ, да вдвоемъ. Силь мопхъ не было съ собою бороться — хоть день, хоть часть одинъ я хотѣла быть любимою во что бы то ни стало. Ахъ, сестра, ты простила бы мнѣ все, еслибы знала, какое это было мучительное желаніе любви... обожанія, чьего-то рабства передъ собою! Это — что-то дьявольское!... Это гадко, но это было *не-преодолимо*.

«Я хотѣла уѣхать и не могла. Сатана, духъ нечистый одинъ знаетъ, чтѣ это было за ненавистное состояніе! Порочная душа моя въ немъ сказалась что-ли, илл это было роковое наказаніе за мою самонадѣянность! Мало того, что я хотѣла быть любимою, я хотѣла чтобы меня любилъ, боготворилъ, уничтожался передо мною человѣкъ, который не долженъ меня любить, который долженъ любить другую, а не меня... И чтобы онъ ее бросилъ; и чтобы онъ ее разлюбилъ; чтобы онъ совсѣмъ забылъ ее

для меня — вотъ чего мнѣ хотѣлось! Дио!... Гнусно!... Твоя кроткая душа не можетъ понять этого злого желанія. Правда, я давно любила Долинскаго, я любила въ немъ мягкаго и честнаго человѣка, ну, пожалуй, даже любила его, такъ-таки по всѣмъ правиламъ, со всѣми онѣрами, но... все-таки изъ этого, можетъ быть, ничего бы не было; все-таки жаль же мнѣ было тебя! Любила же я тебя, Аничка! знала же я, сколько тебѣ обязана! Все противъ меня было! Но какая-то лукавая сила все шептала: «предь тобой и это все загремитъ и разсыпется прахомъ». Ты знаешь, Аня, что я никогда не была кокеткой; это совершенная правда, я не кокетка; но я однако кокетничала съ Долинскимъ, и безсовѣстно, зло кокетничала съ нимъ. Не совсѣмъ это безсовѣстно было только потому, что я не хотѣла его влюбить въ себя и бросить, заставить мучиться, я хотѣла... или лучше сказать тебѣ, въ то время, при самомъ началѣ этой исторіи, я ничего не объясняла себѣ, зачѣмъ я все это дѣлаю. Но все-таки я знала, я чувствовала, что это... нехорошо. Иногда я останавливалась, вела себя ровно, но это было на минуту, да, все это бывало на одну минуту... Я опять начинала вертѣть его, сбивать, влюблять въ себя до безумія, и, разумѣется, влюбила. Клянусь тебѣ всѣмъ, что это открытие не обрадовало меня; оно меня испугало! Я въ ту минуту не хотѣла, чтобы онъ разлюбилъ тебя. Голубчикъ мой! повѣрь мнѣ, что этого я не хотѣла... но... потомъ вдругъ я совсѣмъ обо всемъ этомъ забыла, совсѣмъ о тебѣ забыла, и моя злоба взяла верхъ надъ твою кроткою, не-злобивою любовью, моя дорогая Аня: человѣкъ, котораго ты любила, уже не любилъ тебя. Онъ не смѣлъ сказать мнѣ, что онъ любить меня, не смѣлъ даже самъ себѣ сознаться въ этомъ, но онъ былъ *мой рабъ*, а я хотѣла любить, и онъ мнѣ нравился. Тутъ ужъ не было мѣста прежней мизерикордіи, я только *любила*. Ахъ, Аня! не обвиняй его хоть ты ни въ чемъ: все это я одна, я все это надѣлала! Я ужъ не думала ни о комъ, ни о тебѣ, ни о немъ, ни о себѣ: быть любимой, *быть любимой* — вотъ все, о чемъ я думала. Я знаю, что еслибы я жила, онъ бы со мною не погибъ; но я знала, что я недолго буду жить и что это его можетъ совсѣмъ сбить съ толку и мнѣ его не было даже жалко. Пусть полюбитъ меня, а потомъ пусть гибнетъ. Развѣ я этого не стоила? Губятъ же люди себя спіумомъ, гаша-шемъ, неужто же любовь женщины хуже какого нибудь глупаго опьяненія? Ужасайся, Аня, до чего доходила твоя Дора!

«Я непремѣнно хочу разсказать тебѣ все, чѣдолжно служить къ его оправданію въ этой каторжной исторіи.»

Тутъ Даша довольно подробно изложила все, что было со дня ихъ прїѣзда въ Ниццу до послѣднихъ дней своей жизни, и заканчивая свое длинное письмо, писала: «Теперь я умираю, чѣмъ собственно не сдѣлавъ для него хорошаго. Но я, сестра, въ могилу все-таки уношу убѣжденіе, что этотъ человѣкъ еще многое можетъ сдѣлать, если благородно пользоваться его преданностью, привязчивою натурою; иначе кто нибудь станетъ ею пользоваться неблагородно. Онъ одинъ жить не можетъ. Это ужъ такой человѣкъ. Встрѣтитесь вы, что-ли... но я тутъ ровно ничего не понимаю. Я и хочу, и не хочу этого. Все это, понимаешь, такъ странно и такъ неловко, что... Господи, чѣдолжно я только напутала!» (Тутъ въ письмѣ было нѣсколько тщательно зачеркнутыхъ строчекъ и потомъ снова начиналось):

«Я бы доказала, что я могу сдѣлать этого человѣка счастливымъ и могу заставить его отряхнуться. Да, это дѣло возможное; повѣрь, возможное. Отъ того, что я умираю, оно не дѣлается невозможнымъ. Вдумайся хорошенько, и ты увидишь, что я не говорю ничего несообразнаго.»

«Не зови его изъ Италии. Пусть поскучаетъ обо мнѣ въ волю. Это для него необходимо. Я вижу, что я для него буду очень серьёзною потерей, и надо, чтобы онъ съумѣлъ съ собою справиться, а не растерялся, не бросился богъ-вѣсть куда. Я велѣла ему перевезти мое тѣло въ Россію. Для насъ, небогатыхъ людей — это, разумѣется, затѣя совершенна лишняя и непростительная (хотя, каюсь тебѣ, и мнѣ какъ-то пріятнѣе лежать въ родной землѣ, ближе къ людямъ, которыхъ я любила). Я сдѣлала это, однако, не для себя. Онъ будетъ очень тосковать обо мнѣ, а все-таки лучше ему оставаться здѣсь. Куда емуѣхать въ Россію?... Все такъ свѣжо будетъ... такъ болно... Зачѣмъ встрѣча безъ радости? Я ему сказала, чтобы онъ перевезъ меня на трудовыя деньги. Это его заставитъ работать и будетъ очень хорошо, если никто не станетъ въ него вступаться, звать его. Все должно быть оставлено времени и моей памяти. Я еще изъ-за гроба что нибудь сдѣлаю... А ты, Аня, не увлекайся своими фантазіями и поступай такъ, какъ тебѣ укажутъ твоє чувство и благоразуміе. Чѣдолжно мой другъ дѣлать, бываетъ всякое на свѣтѣ!»

Тутъ опять было нѣсколько тщательно зачеркнутыхъ строчекъ и потомъ стояло: «Только опять нѣть! Все мнѣ что-то кажется,

я какъ-то предчувствую, что все это будетъ какъ-то не такъ что будетъ какая-то иная развязка и вообрази... я буду рада, если она будетъ иная... Кажется, любила и сгубила... Что жь дѣлать? дамъ отвѣтъ, если спросится... А впрочемъ, не слушай лучше ты, Аня, меня — я, должно быть, совсѣмъ сошла съ ума передъ смертью. Стараися, чтобы было такъ, какъ мнѣ не хочется. Лучшаго я нѣчего не придумаю. Все это мнѣ представляется теперь, какъ объявляютъ на афишахъ, какимъ-то великолѣпнымъ, брильянтовымъ фейерверкомъ, и вотъ этотъ фейерверкъ весь сгорѣлъ до тла и около меня сгущается мракъ, сѣрий, непроягдный мракъ, могила... А нельзя было не сжечь его! Онъ такъ хорошо, такъ дивно хорошо горѣлъ!... Говорю тебѣ одно, что еслибы ты умерла прежде меня, я бы... нѣтъ, я ничего не знаю.

«Я ничего не знаю, и это выходить все, что я съумѣла сказать тебѣ въ этой послѣдней попыткѣ, моя мать, сестра и лучшій земной другъ мой! Я умираю однако въполномъ убѣждениіи, что ты поняла мою исповѣдь и простила меня. Прощай, мой добрый ангель! Прощай издалека. Какъ бы я хотѣла тебя видѣть въ мои послѣднія минуты!... Какъ я хочу вѣрить, что я увижу тебя! Да, я тебя увижу: я вызову тебя. Я вѣрю въ души, въ силу душъ и я тебя вызову! Разстояній нѣть. Ихъ нѣть, потому что ты теперь со мною! Я вижу, какъ ты меня прощаешь. Ты благословляешь твою безнравственную сестру... спасибо. С совсѣмъ мнѣ плохо; едва дописываю эти строчки. Пора въ походъ, безвѣстный... Вотъ она, когда близится роковая загадка-то! Иду смѣло, смѣло иду! Интересно знать, что тамъ такое? Можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ буду ждать васъ; но хочу, чтобы ждала какъ можно дольше и боюсь только, что «въ мірѣ иномъ другъ друга ужъ мы не узнаемъ.»

«Любите же и помните вашу мертвую Дору.»

«Иппца.»

«P. S. Еслибы слѣпою волею рока это письмо мое когда нибудь стало пзвѣстно высоконравственному міру, Боже, какъ бы перевернули высоконравственные люди въ могилѣ мои бѣдныя кости! Съ какими бы процентами заплатили мнѣ всѣ эти опять-таки высоконравственные дамы за все презрѣніе, которое я всегда чувствовала къ ихъ фарисейской нравственности! Развѣ одна ты, милосердная, вдохновительная, всесильная любовь вложишь въ чьи нибудь грѣшныя и многолюбящія или многолюбившія уста

слово въ мое оправданіе! Сорвалась съ петлей! Не умѣла любить въ половину сердца, а всѣмъ полюбила — на полдорогѣ не остановившись. Прощай и еще разъ прости меня мертвѣца, бѣднаго и болѣе никому уже невредящаго.

«Совсѣмъ забыла про Журавку! онъ обидится. Поцалуй его за меня: онъ любилъ меня, напѣ добрый, маленький человѣчекъ съ большимъ сердцемъ. Аннѣ Аникимовнѣ, всему нашему маленькому, тихому мірку, всѣмъ дѣвушкамъ, всѣмъ кланяюсь и у всѣхъ прошу себѣ всякаго прощенія.»

Анна Михайловна посплакала, еще разъ перечитала письмо и легла въ постель. Много горячихъ и добрыхъ слезъ ея упало этою безконечною для нея ночью.

— Чѣмъ теперь впереди? Кому на что нужна моя жизнь и заѣмъ она самой мнѣ, эта жизнь, въ которой все милое прошло, все вымерло? спрашивала себя она, обтирая заплаканное лицо.

Совершенно разбитая, Анна Михайловна рано утромъ встала и написала Долинскому: «Печальное извѣстіе о смерти Дорушки меня поразило, потому что ни одинъ изъ васъ даже не извѣщалъ меня, что ей сдѣлалось хуже. Однако, я давно была къ этому готова и желаю, чтобы ты какъ можешь спокойнѣе перенесъ нашу потерю. Я прошу тебя остаться въ Ниццѣ, пока я выхлопочу позволеніе перевезти въ Петербургъ тѣло Доры. Это не будетъ очень долго и ты вѣрно не откажешь въ новомъ одолженіи мнѣ и покойницѣ. Я очень скучаю теперь и вдвое буду рада каждой твоей строчкѣ. Извини, что пишу такъ мало: самъ вѣрно понимаешь, что мнѣ не до словъ.»

### VIII.

#### Сладкія начала злого недуга.

Долинскій все грустилъ о Дорѣ и никуда не выходилъ. Аристократъ-ботаникъ два раза заходилъ къ нему, но замѣтилъ, что его посѣщенія въ тѣгость одичавшему хозяину, перестали его павѣщать. Старуха нѣсколько разъ послала приглашать Долинскаго къ себѣ обѣдать — онъ всякий разъ упорно отказывался и даже сердился, что его трогаютъ. Дома онъ все ходилъ въ раздумъ по дашиной комнатѣ и ровно ничѣмъ не занимался. Ночами спалъ мало и тѣ все Дору безпрерывно видѣлъ во снѣ.

Это его радовало. Онъ очень полюбился свои сновидѣнія; онъ жилъ въ нихъ и незамѣтно сталъ отыскивать въ нихъ какой-то таинственный смыслъ и значеніе. Долинскій незамѣтно началъ строить такія положенія, что Даша не вся умерла для него; что она живеть гдѣ-то и вовсе не потеряла возможности съ нимъ видѣться. Ему начало синиться, что она откуда-то приходитъ ночами, спидѣть у его изголовья и говорить ему живыя ласковыя рѣчи, и онъ сердился когда разумъ говорилъ ему, что это только сонъ, только такъ кажется. Онъ всегда слово отъ слова помнилъ все, что ему говорила ночью Дора, и всегда находилъ въ ея рѣчахъ тотъ же умъ и тотъ же характеръ, которыми дышали ея прежніе разговоры. Странно и неестественно было теперь состояніе Долинскаго, и въ такомъ состояніи онъ получиль знакомое намъ письмо Анны Михайловны, а ночью ему опять снилась Дора. Она вошла въ комнату; тихо сѣла возлѣ Долинскаго на краю кровати и положила ему на лобъ свою пухдалую ручку. Лицо Доры было такъ же прекрасно, по сдѣлалось совсѣмъ прозрачнымъ. Она была въ томъ же бѣломъ платьице, въ которомъ ее склонили; у ея голубого кушага былъ высокий отрѣзанъ одинъ конецъ, а съ лѣвой стороны падъ вискомъ выбивалась пѣсть подъ бѣлыхъ розъ неровно остриженные рукою Вѣры Сергеевны волосы.

Долинскому казалось, что все существо Доры блеститъ какимъ-то фосфоричнымъ свѣтомъ, и онъ закрытыми глазами видѣлъ, какъ она ему улыбнулась, слышалъ, какъ она сказала: «здравствуй, мой милый!» и чувствовалъ, что она положила ему на голову свою ручку. «Я па тебя сердца теперъ!» говорила Дора. «Я тебя просила работать для меня; а ты все скучашь, все ничего не дѣлаешь. Нехорошо! Скучать печего, я всегда съ тобой. Мнѣ хорошо, я вѣсль вижу всѣхъ теперъ. Встань, мой другъ, ппши, я хочу, чтобы ты писалъ, чтобы ты отвезъ меня въ Россію. Здѣсь у насъ все чужие въ могилахъ. Встань же! встань! работай!», звала она, потряхивая его за плечо. Долинскій вскакивалъ, открывалъ глаза — въ комнатѣ пачего не было. Онъ вздыхалъ и засыпалъ снова, и Даша немедленно слетала къ нему снова и успокаивала его, говорила, что ей хорошо, что она всѣхъ любить. «А глазами, говорила она, па меня смотрѣть нельзя; никогда не смотри па меня глазами! Возьми же, возьми меня съ собой!» вскрикивалъ во снѣ Долинскій. «Нельзя, мой другъ, нельзя», тихо отвѣчала Даша. «И не пущу тебя», опять

вскрикивалъ Долинскій въ свое мѣсто тревожно-сладкому снѣ, простиравъ руки къ своему видѣнію и обнималъ воздухъ, а разгоряченному его воображенію представлялась уносившаяся вдалекъ по синему ночному небу Дора. Сновидѣнія эти не прекращались. Наконецъ, разъ какъ-то Даша явилась Долинскому съ сморщенными лбомъ, сказала: «работай, или я въ наказаніе тебѣ не буду павѣщать тебя и мнѣ будетъ скучно».

Прошло три ночи, и Даша сдержала свое слово: ни на одно мгновеніе не пропадала она Долинскому.

Несторъ Игнатьевичъ очень серьёзно встревожился. Онъ на четвертый день вскочилъ съ разсвѣтомъ и сѣлъ за работу. Повѣсть спачала не вязалась, но онъ сдѣлалъ надъ собой усилие и работа пошла удачно. Онъ писалъ не вставая весь день и далеко за полпочты, а передъ утромъ заснулъ въ кресль и Дора тотчасъ же выдѣлилась изъ сѣраго предразсвѣтного полуумрака, прошла своей неслышной поступью и, поцаловавъ Долинскаго въ лобъ, сказала «умникъ, умникъ—работай».

## IX.

### Птицы пѣвчія.

Дней десять къ ряду Долинскій работалъ. Повѣсть подвигалась впередъ, и по мѣрѣ того, какъ онъ втягивался въ работу, мысли его приходили въ порядокъ и къ нему возвращалось не спокойствіе, а тихая грусть, которая иначему не мѣшаетъ и въ которой душа только становится выше, чище, списодительнѣе. Проработавъ одну такую ночь до самаго разсвѣта, совершенно усталый онъ взглянуль въ открытое окно дашной спальни. Запавѣска не была опущена и робкій свѣтъ вмѣстѣ съ утренней прохладой свободно пропикалъ въ комнату. Несторъ Игнатьевичъ задулъ свѣчу и прислонясь къ греслу, сталъ смотрѣть въ окно. Свѣжий вѣтерокъ тихо скользилъ песячими порывами, слегка шевелилъ волосами Долинскаго и скоро усыпалъ его. Въ окнѣ, по обычаю, тотчасъ же показалась Дора. Она нынче была какъ-то смѣлѣе обычновеніаго; смотрѣла на него въ окно, улыбалась и шутила говорила: «Нѣудобъ, Бука!» Долинскій разсмѣялся.

Во время этого сна, по стекламъ, что-то слегка стукнуло разъ, другой, еще и еще. Долинскій проснулся, отвелъ рухою разметавшіеся волосы и взглянуль въ окно. Высокая женщина въ лег-

комъ бѣломъ платьѣ и коричневой соломенной шляпѣ стояла передъ окномъ, поднявъ кверху руку съ зонтикомъ, ручкой котораго она только стучала въ верхнее стекло окна. Это не была золотистая головка Доры — это было хорошенъкое, оживленное лицико съ черными, умными глазками и французскимъ носикомъ.—Однимъ словомъ, это была Вѣра Сергѣевна.

— Какъ вамъ не стыдно, Долинскій! Пропадаете, бѣгаете отъ людей и спите въ такое прекрасное утро.

— Ахъ! простите, Вѣра Сергѣевна! отвѣчалъ, скоро поднимаясь Долинскій.—Я знаю, что я невѣжа и много виноватъ передъ вашимъ семействомъ и особенно передъ вами, за все...

— Да все хандрите?

— Да, все хандрю, Вѣра Сергѣевна.

— Чего же вы прячетесь-то?

— Нѣтъ, я, кажется, не прячусь.

— Помилуйте! Посыпала за вами и брата, и людей — какъ кладъ зачарованный не дается.—Чего вы спите въ такое время, въ такое прелестное утро? Вы посмотрите, что за рай на дворѣ:

Я пришла сюда съ привѣтомъ  
Рассказать, что солнце встало,  
Что оно горячимъ свѣтомъ  
По листамъ затрепетало,

проговорила весело Вѣра Сергѣевна.

— Да, очень хорошо, отвѣчалъ Долинскій, застѣнчиво улыбаясь.

— Но вы все-таки не подумайте, что я пришла къ вамъ собственно съ докладомъ о солнцѣ! я — эгоистка и пришла надолжить на васъ обязательство.

— Приказывайте, Вѣра Сергѣевна.

— Вы непремѣнно должны сейчасъ проводить меня. Мнеъ хочется далеко пройтись берегомъ, а брата нѣть: онъ въ Виши уѣхалъ.

— Вѣра Сергѣевна! я вѣдь никуда не хожу.

— Ну, такъ пойдемте.

— Право...

— Право, невѣжливо держать у окна ладу и торговаться съ нею. Vous comprenez, c'est impoli! Un homme comme il faut ne fait pas cela.

— Да что же дѣлать, если ужъ я не un homme comme il faut.

— Ну, однако, я буду ждать васъ на бульварѣ, сказала Вѣра Сергѣевна, и поклонясь слегка Долинскому, отошла отъ его окна.

Несторъ Игнатьевичъ освѣжилъ лицо, взялъ шляпу и вышелъ изъ дома въ первый разъ послѣ похоронъ Даши. На бульварѣ онъ встрѣтилъ м-ле Онучину, поклонился ей, подалъ руку и они пошли за городъ. День былъ восхитительный. Горячее итальянское солнце золотыми лучами освѣщало землю и на землѣ все казалось счастливымъ и прекраснымъ подъ этимъ солнцемъ.

— Поблагодарите меня, что я васъ вывела на свѣтъ божій, говорила Вѣра Сергеевна.

— Покорно васъ благодарю, улыбаясь отвѣтилъ Долинскій.

— Скажите пожалуйста, чѣмъ это вы спите въ эту пору?

— Я работалъ ночью и только утромъ вздрогнулъ.

— А! это другое дѣло.—Выходитъ, я дурно сдѣлала, что васъ разбудила.

— Нѣтъ, я вамъ благодаренъ.

Долинскій проходилъ съ Вѣрой Сергеевной часа три, очень усталъ и разсѣялся. Онъ зашелъ къ Онучинамъ обѣдать и ѿль съ большимъ аппетитомъ.

— Вы простите меня, бога-ради, Серафима Григорьевна, началъ онъ, подойдя послѣ обѣда къ старухѣ Онучиной.—Я вамъ такъ много обязанъ и до сихъ поръ не собрался даже поблагодарить васъ.

— Полноте-ка, Несторъ Игнатьичъ! Это все дѣти хлопотали, а я ровно ничего не дѣлала, отвѣчала старая аристократка.

Долинскій хотѣлъ узнать, сколько онъ остался должнымъ, но старуха уклонилась и отъ этого разговора.

— Кириль, говорила она:—пріѣдетъ, тогдѣ съ нимъ поговорите, Несторъ Игнатьичъ:—я, право, ничего не знаю.

Вѣра Сергеевна послѣ обѣда открыла рояль, сыграла нѣсколько мѣсяцій изъ Нормы и прекрасно спѣла: *Ты для меня душа и сила.*

Долинскому припомнился канунъ св. Сусаны, когда онъ почти несъ на своихъ рукахъ ослабѣвшую, стройную Дору, а изъ этого самаго дома слышались эти же самые звуки, далѣко разносившіеся въ тихомъ воздухѣ теплой ночи.

«Всё живо, только ея нѣтъ», подумалъ онъ.

Вѣра Сергеевна словно подслушала думы Долинскаго, и съ необыкновеннымъ чувствомъ и задушевностью запѣла:

Ахъ, покиньте меня,  
Разлюбите меня  
Вы, надежды, мечты золоты!  
Миѣ ужъ съ вами не жить,  
Миѣ вѣстъ не съ кѣмъ дѣлить,—  
Я одинъ, а кругомъ все чужіе.

Много мукъ вызналь я,  
Былъ и другъ у меня,  
Но надолго нась съ нимъ разлучили.  
Тамъ подъ черной сосной,  
Надъ шумящей волной  
Друга спать навсегда положили.

— Нравится это вамъ? спросила, быстро повернувшись лицомъ къ Долинскому, Вѣра Сергеевна.

— Вы очень хорошо поете.

— Да, говорить. Хотите еще что нибудь въ этомъ родѣ?

— Я радъ васъ слушать.

— Такъ въ этомъ родѣ, или въ другомъ?

— Чѣмъ вы хотите, Вѣра Сергеевна?

— Въ этомъ, если вамъ угодно, добавилъ онъ черезъ секунду.

Вѣтется ласточка сизокрылая  
Подъ моимъ окномъ, одишешика;  
Подъ моимъ окномъ, подъ косящатымъ  
Есть у ласточки тепло гнѣздышко.

Вѣра Сергеевна остановилась и спросила:

— Нравится?

— Хорошо, отвѣчалъ чутъ слышно Долинскій.

Вѣра Сергеевна продолжала:

Слезы горькія утираючи,  
Я гляжу ей вслѣдъ вспоминаючи,  
У меня была тоже ласточка  
Сизокрылая, душа-пташечка,  
Да сила ужъ ей судьба гнѣздышко,  
Во сырой землѣ вѣковѣчное.

— Вѣра! крикнула изъ гостиной Серафима Григорьевна.

— Чѣмъ прикажете, татаан?

— Терпѣть я не могу этихъ твоихъ папихидъ.

— Это я для т-г Долинскаго, татаан, пѣла, отвѣчала Вѣра Сергеевна, и искоса взглянула на своего вдругъ омрачившагося гостя.

— Другого голоса недостаетъ, я привыкла пѣть это дуэтомъ, произнесла она, какъ-бы ничего не замѣчаая, взяла новый абордъ и запѣла: *По небу полуночи*.

— Вторите мнѣ, Долинскій, сказала Вѣра Сергеевна, окончивъ первыя четыре строфы.

— Не умѣю, Вѣра Сергеевна.

— Все равно, какъ нибудь.

— Да я дурно пою.

— Ну, и пойте дурно.

Онучина взяла аккордъ и остановилась.

— Тихонько будемъ пѣть, сказала она, обратясь къ Долинскому.— Я очень люблю это пѣть тихо, и это у меня очень хорошо идетъ съ мужскимъ голосомъ.

Вѣра Сергеевна опять взяла аккордъ и снова запѣла; Долинский удачно вгорилъ ей довольно пріятнымъ баритономъ.

— Отлично! одобрила Вѣра Сергеевна.

Она артистично выполнила какую-то трудную штальянскую арію, и взявъ непосредственно затѣмъ новый, сразу щиплющій за сердце аккордъ, запѣла:

Ты не пой, душа девица,  
Пѣснь Италии златой,  
Очаруй меня, пѣвица,  
Пѣсню родины святой.  
Все родное серду ближе,  
Сердце чувствуетъ сильней.  
Ну, запой же! Ну, паччи же!  
«Соловей, мой соловей.»

Долинскій не выдержалъ, и самъ безъ зова присталъ къ голосу пѣвицы, тронувшій его за ретивое.

— Charmant! Charmant! произнесъ чей-то незнакомый голосъ, и съ террасы въ залу вступила высокая старушка, съ строгимъ, немножко желчнымъ лицомъ, въ очкахъ и съ сѣдыми булавами. За нею шелъ молодой господинъ, совершиеннѣйший петербургскій comme il faut настоящаго времени.

Это была княгиня Стугнина, богатая помѣщица, вдова, нѣкогда звѣзда восточная, цыпъ бояръ-знаетъ что такое — особа, всѣмъ недовольная и все осуждающая. Обиженная недостаткомъ внимания отъ молодой петербургской знати, княгиня уѣхала въ Ниццу, и живеть здѣсь четвертый годъ, браня заурядъ все русское и все заграничное. Молодой человѣкъ, сопровождавшій эту особу, былъ единственнымъ сынъ ея, молодой князь Сергѣй Стугнинъ, получившій мѣсто при одномъ изъ русскихъ посольствъ въ западныхъ государствахъ Европы. Онъ уѣхалъ къ своему мѣсту, и завернуль на нѣсколько дней повидаться съ матерью.

Онучини очень обрадовались молодому князю: онъ былъ свѣжій гость изъ Россіи, и слѣдовательно могъ сообщить самыя свѣжія новости, что и какъ тамъ дѣла. Сергѣй Стугнинъ былъ человѣкъ весьма умный, и очевидно не числился среди мелкихъ и

однообразныхъ интересовъ своей узкой среды бомонда, а стояль  
au courant съ самыми разнообразными вопросами отечества.

— Крестьяне даже мои, напримѣръ, крестьяне не хотѣть маѣтъ  
платить оброка, жаловалась Серафима Григорьевна.—Скажите по-  
жалуйста, отчего это, князь?

— Вѣроятно, въ томъ выгода не находять, отвѣчала вмѣсто  
сына старуха Стугина.

— Bon, но чѣдѣлать, однако, должны мы, помѣщики? Вѣдь  
намъ же нужно жить?

— А они, я слышала, совсѣмъ не находять и въ этомъ ни-  
какой надобности, опять спокойно отвѣчала княгиня.

Молодой Стугинъ, Вѣра Сергеевна и Долинскій разсмѣялись.

Серафима Григорьевна посмотрѣла на Стугину и понюхала  
табаку изъ своей золотой табакерки.

— Ваша маман иногда говоритъ ужасныя вещи, отнеслась  
она шутливо къ князю.—Просто, самой яростной демократкой  
является.

— Это неудивительно, Серафима Григорьевна. Во первыхъ,  
маман, такимъ образомъ, не отстаетъ отъ отечественной моды,  
а во вторыхъ, и въ самомъ дѣлѣ, какой же ужь теперь аристо-  
кратизмъ? Все смѣшалось, всѣ ровны становимся.

— Кнутьями болѣе никого, слава-богу, не порѣть, подсказала  
старая княгиня.

— Мужики и купцы покупаютъ земли и становятся такими  
же помѣщиками, какъ и вы, и мы, и Рюриковичи, и Гедиминови-  
чи, досказалъ Стугинъ.

— Ну... вѣдь въ васъ, князь, въ самомъ есть частица рюриков-  
ской крови, добродушно замѣтила Онучина.

— У него она, кажется, въ дѣствѣ вся носомъ вытекла, ска-  
зала княгиня, не то съ неуважениемъ къ рюриковской крови, не  
то съ легкой иронией надъ сыномъ.

Старая Онучина опять понюхала табаку и тихо молвила:

— Говорять... не помню, отъ кого-то я слышала: разводы ужь  
будто у насъ скоро будутъ?

— Едва-ли скоро. По крайней-мѣрѣ, я ничего не слыхаль о  
разводахъ, отвѣчалъ князь.

— Это удивительно! Твой дядюшка только о нихъ и умѣеть  
говорить, опять вставила Стугина.

Князь улыбнулся и отвѣтилъ, что Онучина говорить совсѣмъ  
не о полковыхъ разводахъ.

— Ахъ, простите, пожалуйста! серьёзно извинялась княгиня.— Мнѣ, когда говорятъ о Россіи и тутъ же о разводахъ — всегда представляется плац-парадъ, трубы и мой братъ, Кесарь Степанычъ съ крашеными усами. Да и на что намъ другіе разводы? — Совсѣмъ не нужно.

— Совершенно лишнее, поддерживалъ князь.— У насъ есть новые люди, которые будутъ безъ всего обходиться.

— Это *нигилисты?* воскликнула м-ле Вѣра.— Ахъ, расскажите, князь, пожалуйста, чѣмъ вы знаете объ этихъ забавныхъ людяхъ?

Князь не имѣлъ о *нигилистиахъ* чудовищныхъ понятій, ходившихъ насчетъ этого странного народа въ нѣкоторыхъ общественныхъ кружкахъ Петербурга. Онъ рассказывалъ очень много курьёзного о ихъ нравахъ, обычаяхъ, стремленіяхъ и образѣ жизни. Всѣ слушали этотъ разсказъ съ большимъ вниманіемъ; особенно слѣдилъ за нимъ Долинскій, который узнавалъ въ разсказѣ развѣтіе идей, оставленныхъ имъ въ Россіи еще въ зародыши, и старая княгиня Стугина. Серафима Григорьевна тоже слушала, даже и очень неравнодушно. Она не одинъ разъ перебивала Стугина вопросомъ:

— Ну, а позвольте, князь... Какъ же они того... чѣмъ, я хотѣла это спросить?...

Стугинъ останавливался.

— Да, вспомнила. — Какъ они эта... .

— Живутъ?

— Нѣть, не живутъ, а, напримѣръ, если съ ними встрѣтишься, какъ они... въ какомъ родѣ?

Князь не совсѣмъ понялъ вопросъ; но его мать спокойно посмотрѣла черезъ свои очки и подсказала:

— Я думаю, должно быть что-нибудь въ родѣ Ягу, которые у Свифта.

— Чѣмъ это за Ягу, княгиня?

— Ну, будто не помните, чѣмъ Гуліверъ видѣлъ? На которыхъ лошади-тоѣздили? Ну, люди такие, или нѣлюди такие, лохматые, грязные?

— Ну, чѣмъ это? воскликнула Серафима Григорьевна.— Неужто, князь, они, въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ родѣ?

— Немножко, отвѣчалъ, смеясь, Стугинъ.

— Полагаю, трудно довольно отличить коня отъ всадника, поддержала сына княгиня.

— Ну, чѣмъ это! Это ужъ даже непріятно! опять воскликнула

Онучина, воображая, въроятно, какъ косматые петербургскіе Ягуазятъ по деревьямъ въ лѣтнемъ саду, или на елагинскомъ пушанѣ и швыряютъ сверху всякими нечистотами. — И женщины та-кія жь бывають? спросила она черезъ секунду.

— Два пола въ каждомъ родѣ должны быть необходимо — иначе родъ погибнетъ.

— Это ужасно! А, впрочемъ, вѣдь я какъ-то читала, что гориллы въ Африкѣ, или шимпанзѣ, тоже будто уносятъ къ себѣ женщинъ?

Серафима Григорьевна вся содрогнулась.

Князь Сергій очень распространился насчетъ отношеній нигилистокъ къ нигилистамъ и, владѣя хорошо языкомъ, рассказалъ нѣсколько очень забавныхъ анекдотовъ.

— Дуры! произнесла по окончаніи разсказа Серафима Григорьевна.

— И пожить-то какъ слѣдуетъ не умѣютъ! смотря透过 очки добавила княгиня.

— Но это все презабавно, замѣтила Вѣра Сергеевна, и вышла съ молодымъ княземъ на терасу.

— Довоспиталась сторонушка! дозрѣла! Скотный дворъ настоящій дѣлается! презрительно уронила Стугина.

Серафима Григорьевна понюхала съ особеннымъ удовольствіемъ табачку, и улыбнувшись спросила:

— Вы, Елена Степановна, помните Вастилу?

— Княжну Палагею Никитищну? спросила, немножко надвинувъ брови, Стугина.

— Да.

— Ну, кто жъ ее не помнить.

— Но, впрочемъ, та вѣдь... то все-таки совсѣмъ въ другомъ родѣ?

— Ну, еще бы!

Старушки обѣ задумались.

— Или княгиню Марею Викторовну въ ту пору, какъ она съ своимъ мужемъ разсталась? спросила Серафима Григорьевна опять черезъ минуту.

— Ужь именно! отвѣчала, покачавъ головой, Стугина.

— Бѣсь въ нее вселился. Очень ужь проказила!

— Проказила княгиня; но какъ хороша-то была!

Серафима Григорьевна съ умиленіемъ смотрѣла на стѣну, вообразивъ передъ собою воспоминаемую княгиню Марею Викторовну.

Теперь, въ свою очередь, Стугина понюхала табачку, и какъ бы не хотя спросила:

— Да, была хороша точно... да съ еѣмъ, бишь, она изъ Россіи-то пропала?

— Изъ Россіи? — Изъ Россіи она уѣхала съ этимъ... какъ его?... ну, да все равно — съ французскимъ актёромъ, а по-томъ была наездницей въ циркѣ въ Лондонѣ; а послѣ князя Петра, ужь за границей, ужь самой сорокъ лѣтъ было, съ моло-денькой, и съ прехорошенькой женой развела... Такая грѣховница!

— А потомъ-тѣ! потомъ-то! опять воскликнула, оживляясь, Серафима Григорьевна.

— Да, съ галерникомъ, я слышала, въ Алжирѣ бѣжала.

— Страшный былъ такой!

— Помню я его — арабъ, весь оливковый, носъ, глаза... весь страсть непостовая! Точно, что чудо какъ былъ интересенъ. Она и съ арабами, вѣдь, кажется, кочевала. Кажется, такъ? Ее тамъ встрѣтилъ одинъ мой знакомый путешественникъ — давно это, ужь лѣтъ двадцать. У какого-то шейха, говорятъ, была любовница, что ли.

— Да, да, да; и этимъ шейхомъ-то даже какъ ребёнкомъ управляла! подсказывала, все болѣе оживляясь и двигаясь на креслѣ, Серафима Григорьевна.

— Иди княжна Агрипина Лукиниши! произнесла она черезъ минуту, смотря пристально въ глаза Стугиной.

— Княжна Содомская, какъ называлъ ее дядя Леонъ, проронила въ видахъ поясненія Стугина. — Не люблю ея.

— За что, княгиня?

— Такъ, ужь черезчуръ какъ-то она... спеціалистка была великая.

— Ну, не говорите этого, душечка княгиня; въ Сибири она себя вела, можетъ быть, какъ никто.

— Чѣмъ же это именно? что за мужемъ въ ссылку-то пошла? Очень великое дѣло!

— Нѣть-съ мало, что пошла, а какъ жила? чѣмъ вынесла?

— Я думаю, ничуть не больше другихъ.

— Сама бѣлье ему стирала, сама щи варила, въ юртѣ какой-то жила...

— Ну, и чѣмъ жь тутъ такого? чѣмъ жь тутъ такого, удивительного?

— Да вонъ кузенъ Grégoire—вы знаете, вѣдь его послѣ амнистіи тоже возвратили.

— Слышала.

— Говорить, что всѣ они—эти несчастные декабристы, которые были вмѣстѣ, иначе ее и не звали, какъ матерью: идемъ, говоритъ, бывало, на работу изъ казармы—зимою, въ полѣ темно еще, а она сидѣть на снѣжку съ корзиной и лепешки намъ раздаетъ—всякому по лепешкѣ. А мы, бывало: мѣма, мѣма, мѣма наша родная! кричимъ и лѣземъ хоть налету ручку ея поцаловать.

Серафима Григорьевна сморгнула слезу, и кашлянула.

— Какъ, бывало, увидимъ ее, продолжала Серафима Григорьевна:—вакъ только еще издали завидимъ ее, всѣ бѣжимъ и кричимъ: «мама наша идетъ! родная идетъ!»—совсѣмъ, какъ галченята.

Серафима Григорьевна не совладѣла съ слезой, и должна была отвернуться.

— Это прекрасно все, начала тихо Ступина:—только героизмато все-таки тутъ никакого нѣть. Бабки наши умѣли терпѣть, какъ имъ ноздри рвали и руки вывертывали, а тутъ — что-жъ тутъ такого, скажите на милость?... Еще бы въ несчастій броситься!

— А, вѣдь бросаютъ же, княгиня, возвращаясь, Серафима Григорьевна.

— Приказничихи или поповны, очень можетъ быть—не стану спорить.

— Ну, нѣть, княгиня, я знаю... я вотъ теперь слышала про одну, совсѣмъ не приказничиху, а...

— Ахъ, помилуйте, ma chère Серафима Григорьевна! не знаю, кого вы такую знаете, или про кого слышали; но во всякомъ случаѣ, если это не приказничиха, такъ какаянибудь другая *personne méprisable*, о которой все-таки говорить не стоитъ.

Серафима Григорьевна помолчала, и потомъ смакуя каждое свое слово, произнесла:

— А я, какъ вы хотите, все опять къ княжнѣ Агриппинѣ. Какъ вы тамъ хотите говорите, ну, а все... изъ этакой роскоши... изъ свѣта... и въ какую-то дымную юрту... Ужасно!

— Вы это такъ говорите, какъ-будто бы вы сами не пошли бы ни за что?

— Ахъ, нѣть; Боже менѣ сохрани! Не дай Богъ такого несчастія; но, разумѣется, пошла бы.

— Ну, такъ что же вы такъ восхваляете княжну Агрипину Лукинишу! Конечно, все-таки и она была не бѣшка, какая-нибудь, а все-таки женщина; но, вѣдь повторю, если такія ничтожныя вещи ставить женщинѣ въ особую заслугу, такъ я думаю, очень много найдется имѣющихъ совершенно такія же права на дань точно такого же изумленія.

— Ахъ, Боже мой! представьте, я вѣдь совершенно забыла, что вѣдь и вы тоже...

— Да я что тамъ была—безъ году недѣлю... а впрочемъ, да: бѣлье мужу тоже стирала, и даже послѣ мужниной смерти пироги нашимъ арестантамъ верстъ за семь въ латкѣ носила.

— По снѣгу!

— Какой наивный вопросъ, ma chère Серафима Григорьевна! Княгиня весело засмѣялась.—Вы, пожалуйста, не сердитесь, что я смѣюсь; я вспомнила, какъ вы боитесь снѣгу.

— Ахъ, ужасъ! Зима это... это... оцѣпленіе; это... я просто не знаю, чтѣ это такое.

Стугина смотрѣла въ открытую дверь, и вспомнила что-то особенно для нея милое и почтѣчное

— Нѣтъ, вотъ, сказала она, вздохнувъ:—вотъ графиню Нину, да ея гувернантку... Какъ она называлась: Eugenie или Eudoxie, этихъ женщинъ стоитъ вспомнить и передъ именами ихъ поклониться.

Въ комнатѣ наступила минута безмолвной тишины, какъ-бы въ память этихъ двухъ женщинъ, передъ однѣми именами которыхъ хотѣла поклониться непреклонная, съдаа голова Стугиной.

— Въ этотъ разъ, когда вы были въ Россіи, вы не видали графини Нины? спросила она послѣ паузы Онучину.

— Нѣтъ, не удалось мнѣ побывать за Москвою.

— Сестра моя Анна была у нея въ монастырѣ. Пишетъ, что это живой мертвѣцъ; совершенная, говорить, адамова голова, обтянутая желтой кожей.

Серафима Григорьевна опять повернулась на креслѣ, и глядя въ растворенное окно, перво обривала на болѣнѣ зелено-срѣзный, бархатный листочекъ «Люби-да-помни».

— Да, произнесла она черезъ минуту:—да, умѣли кутить, но и любить умѣли.

— Люди были; «былъ вѣкъ богатырей», какъ написалъ Давыдовъ,

— А нынче все это... какая-то...

— Дребедень, рѣшила княгиня.

— Все это какъ-то... что-то такое хотать дѣлать, и все...

— Наши старыя платья напизанку по бѣдности своей донашаиваются, закончила княгиня, поправляя на вискахъ свои сѣдыя букли.

— И этотъ царь! проговорила она, складывая съ умиленіемъ свои аристократическія руки и снова улетая въ свое прошедшее.—Этотъ божественный, прекрасный Александръ Павловичъ! этотъ благороднѣйшій рыцарь! этотъ джентльменъ съ головы до ногъ!

— Какие люди и какое время было!

— То-то, добавляйте, пожалуста, всегда: было, заключила Стугина.

Старушки помолчали, поносились въ сферѣ давно упавшаго; потихоньку вздохнули и опять взошли въ свое сѣдое настоящее. Самъ Ларошфуко, такъ хорошо знавшій, о чёмъ сожалѣть подъ старость женщины, не совсѣмъ бы вѣрно разгадалъ эти два тихіе, сдержанные вздоха, со всею бѣшеною силою молодости вырвавшіеся изъ родившей ихъ отдавшіей, старушечьей груди.

Во время этой бесѣды, безмолвнымъ слушателемъ которой оставался одинъ Долинскій, на тепло прогрѣтую землю спустился сине-розовый итальянскій вечеръ; Вѣра Сергеевна съ молодымъ Стугинымъ вернулись съ террасы и всѣмъ вздумалось пройтись къ морю. Дорогой княгиня совсѣмъ потеряла свой желчный тонъ и даже очень ожила; она рассказала нѣсколько скабрѣзныхъ исторіекъ изъ маловѣдомаго памъ міра и вѣка, и каждая пзъ этихъ исторіекъ была гораздо интереснѣе свѣтскихъ рамашовъ одной русской писательницы, по мнѣнію которой влюбленный человѣкъ «хорошаго тона» въ самую горячечную минуту страсти ничего не можетъ сдѣлать умнѣе, какъ съ большими жаромъ поцѣловать ея руку *и процѣсть ей стѣдующее стихотвореніе Альфреда Мюссе...* Стихотвореніе это я не выписываю, опасаясь, чтобы опо не ко временіи не припомнилось, кому нибудь изъ мопхъ читателей, которому еще суждено въ жизни увидѣть

Рядъ волшебныхъ измѣнений  
Милагро лица.

Я не хочу, чтобъ эти прекрасные стихи заставили впечатлительного песячастливца возненавидѣть очень хорошаго поэта Альфреда Мюссе.

Долинскій слушалъ разсказы княгини, порою смыслился и вообще былъ занятъ, быть заинтересованъ ими, не меньше всѣхъ

прочихъ слушателей. Онъ возвратился домой въ такомъ веселомъ расположени духа, въ какомъ не чувствовалъ себя еще ни разу съ самой смерти Доры.

X.

Не куется, а плющится.

Долинскій зажегъ у себя огонь и прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ, потомъ раздѣлся и легъ въ постель, размыслия о добромъ старомъ времени. Онъ уснулъ подъ впечатлѣніями, павѣянными на него разсказомъ строгихъ старушекъ. «Вотъ взойдетъ въ свою пору Вѣра Сергѣевна», думалъ онъ, засыпая: «и она, пожалуй, будетъ дѣлать такія же чудеса. Отчего же ей ихъ и не дѣлать?... А теперь она еще, кажется, дѣвушка хорошая. Любить ей очень хочется, говорила Даша, да почему Даша это могла знать?... Вздоръ это!... А какая у нея, однако, фигура! Рука какая... У Доры была крошечная лапка, но не такая. И какая грація во всемъ! Раса, значитъ.—Конечно, онѣ не рождены для вдохновеній и молитвъ; но бедункой—на арабскомъ конѣ разѣзжать съ оливковымъ шейхомъ...» И вотъ видится Долинскому Вѣра Сергѣевна на огневомъ арабскомъ конѣ, а возлѣ нея статный шейхъ въ бѣломъ плащѣ, и этотъ шейхъ самъ онъ Долинскій. «Поскачешь», говоритъ ему Вѣра Сергѣевна, и они несутся, несутся; кругомъ палящій зной, въ солнномъ воздухѣ тихо дремлютъ одинокія пальмы; изъ мелкаго кустарника выскочили желтый левъ, прыгнуль, и притаившись легъ вровень съ травою.—«Не отставай!» говоритъ ему Вѣра Сергѣевна, оскорбляя своего скакуна ударомъ. «Не отставай!» повторяетъ она, уносясь отъ него далѣе. «Не отставай же, не отставай!» кричитъ она, чуть слышно, вовсе исчезая пзъ его глазъ за красною чертою огненнаго горизонта. Конь Долинскаго ни съ мѣста, онъ хранилъ и пятится. На небѣ темнѣеть, надвигаетъ ночь, лошадь Долинскаго все дрожитъ, все мнется и на немъ самомъ не плащъ, а бѣлый холщевой саванъ, и лошадь его ужъ совсѣмъ не лошадь, а сѣрый волкъ. «Утки крякнули, берега звякнули, море взболталось, тростники всколыхались, просыпается гамаюнь-птица, шевелится зеленый боръ», залѣскать, стукая челюстями, сѣрый волкъ. «Хочешь, я спою тебѣ веселую пѣсеньку?» спрашивается сѣрый волкъ, и не дожидаясь отвѣта, затягиваетъ: «Вѣчная память, вѣчная память».

«Ничто, мой другъ, не вѣчно подъ луною!» съ веселымъ хохотомъ прокричала бѣшено пронесша мимо его на своемъ скакунѣ Вѣра Сергеевна. «Ничто, мой другъ, не вѣчно подъ луною», виновительно разсказываетъ Долинскому долговязый шейхъ, раскачиваясь на высокомъ стѣлѣ. Долинскій только хотѣлъ взглянуть развѣваться въ темнотѣ возлѣ стройной фигуры Вѣры Сергеевны.

Долинскій хотѣлъ что-то сказать, но вдругъ около него зашевелилась трава, вдругъ она начала рости и рости, такъ-что слышно было, какъ она ростеть. Росла она шибко и высоко— выше роста человѣческаго; изъ нея отовсюду безпрестанно вылетали огненные свѣтляки и во всѣхъ направленіяхъ описывали правильныя, блестящія параболы; въ неподвижномъ воздухѣ спирался невыносимый зной, и удушающій запахъ зеленыхъ майскихъ мушекъ.

Долинскій задыхался, а свѣтляки передъ нимъ все мелькали, и зеленые майни качались на гнуткихъ стебляхъ травы, и наполняли своимъ удушильнымъ запахомъ неподвижный воздухъ, а трава все ростеть, ростеть и ужъ Долинскому и нечѣмъ дышать, и негдѣ повернуться. Отъ страшной, жгучей боли въ груди онъ болезненно вскрикнулъ, но голосъ его беззвучно замеръ въ солнечномъ воздухѣ пустыни; и только переросшая траву, задумчивая пальма тихо покачала ему своей печальной головкой.

Долинскій проснулся, тяжело вздохнулъ и оглянулся комнату. Стѣны чуть сѣрѣли слабымъ предвосходнымъ мерцаніемъ, и прямо передъ лицомъ Долинскаго, едва обрисовывалась на гвоздѣ соломенная шляпа Доры. «Дайте мнѣ пожалуйста эту шляпу», попросила его Вѣра Сергеевна, чуть только онъ заснулъ снова. «Я скакала, ахъ, какъ я скакала цѣлую ночь!» весело говорила она ему, вся пылая свѣжими румянцемъ: «и вообразите, я потеряла мою шляпу въ Африкѣ. — Тамъ теперь ростеть ужасная трава, въ которой ничего нельзя найти. Вы знаете эту траву?

— О, я ее очень хорошо знаю, подумалъ Долинскій.

— А если знаешь, заговорила Вѣра Сергеевна:—такъ подавай же мнѣ скорѣй, скорѣе подавай мнѣ эту шляпу своей мертвой Доры. Голосъ у Вѣры Сергеевны былъ рѣзкій, какъ трескъ дѣтскаго барабана, но такой голосъ, что нервы его трепетали и мышцы сами спѣшили исполнять ея приказы. — Тише,тише! закричала ему Вѣра Сергеевна, когда Долинскій коснулся руками

полей дорушкиной шляпы. Долинский оглянулся. — Развѣ не видишь, что тамъ паутина? Тамъ пауки сидятъ, мерзкіе, скверные пауки живутъ въ этой гадкой шляпѣ! И ты думалъ, что я ее надѣну! И ты это думалъ!... Ха, ха, ха! Вѣра Сергеевна захотала.— Пауки? Зачѣмъ же пауки? подумалъ обиженный Долинский, и пристально взглянуль на шляпу. Съ полей ея почти до земли падалъ длинный газовый вуаль, и подъ дымкой этого вуали что-то блѣло. Еще секунда, и тихо, какъ легкая туманная картина, подъ нимъ обрисовывается мертвая головка Доры. Глаза ея закрыты, на лицѣ могильная сѣрая пыль, и подъ ней суровая печать смерти, синяя уста шевелятся безъ звука. Откуда-то взялся сѣрий большой паукъ, торопливо закосилъ всѣми своими длинными ногами, проворно пробѣжалъ по мертвому лицу и скрылся на плечѣ въ золотыхъ кудряхъ. На лбу ворочала скользкими уси-ками сѣрая стѣнная мокрица. Вездѣ была сѣро-зеленоватая пыль, отовсюду несло холodomъ и могилой.

— «Мѣсяцъ свѣтить, мертвѣцъ єдетъ, не боишься ли ты меня, добрый молодецъ?» спрашиваетъ Дора.

Голосъ у нея не рѣзкій, какъ у Вѣры Сергеевны, а вакой-то гулкій, круглозвучный, словно запоздалая цапля тяжело машетъ крыльями, пролетая темной ночью надъ соннымъ болотомъ. И въ самомъ дѣлѣ, это совсѣмъ даже не голосъ. Уста мертвой не движутся, а могильная пыль не шевелится ни на одномъ мускуль ея лица, и только тяжелыя вѣки медленно распахиваются, открываются на мгновеніе злые, зеленые, лишенные всякаго блеска глаза, и опять такъ же медленно захлопываются, но зеленые зрачки все съ тою же злостью смотрѣть изъ-подъ верхняго вѣка.

— Чѣмъ же ты обижена? Скажи, чѣмъ оскорбиль я тебя? протягивая руки спрашивалъ Долинский, но вмѣсто отвѣта у него надѣ самыми ухомъ прогорланилъ пѣтухъ, и вдругъ все сникло. Долинскій проспился.

На дворѣ было утро, подъ окномъ расхаживалъ голосистый красный пѣтухъ, а изъ маленькаго чулана за палисадникомъ раздавалось веселое кудахтанье двухъ фаворитныхъ куръ домовитой француженки.

Свѣжее утро не произвело на Долинскаго хорошаго вліянія; онъ всталъ сумрачный и разстроенный; долго ходилъ въ большомъ беспокойствѣ изъ угла въ уголъ, и наконецъ сѣлъ за работу.

— Madame Бюжаръ! сказалъ онъ, когда француженка подала ему кофе:— я впередъ не буду поднимать шторы.

Ч. III. — Обойд.

— Bon, отвѣчала хозяйка.

— А вы, madame Бюжаръ, если кто меня будетъ спрашивать, говорите всѣмъ, что я боленъ.

— C'est bien, monsieur.

— Что я ушелъ куда-нибудь, или уѣхалъ — ну, какъ тамъ хотите.

— C'est ça, monsieur.

— Hélas! pauvre diable, comme il est triste! говорила француженка, выходя отъ постояльца, и съ состраданіемъ качая своей сѣдой головою.

Долинскій въ этотъ день работалъ по обыкновенію до самыхъ сумерекъ. Никто его не отвлекалъ и не беспокоилъ. Передъ вечеромъ т-те Бюжаръ принесла ему обѣдъ.

— Madame, сказалъ онъ ей: — не носите мнѣ болѣе обѣда.

— Mon Dieu! не хотите ли вы уморить себя голодомъ?

— Нѣтъ, я боленъ. Вы мнѣ покупайте немножко зелени и хлѣба. Я болѣе ничего не могу ъсть.

Француженка молча смотрѣла на него во всѣ глаза.

— Adieu, madame Бюжаръ, сказалъ онъ, взявъ и пожавъ ея руку.

Старуха только изумлялась.

— Это чортъ-знаеть чтѣ такое, говорилъ порывисто, вскочивъ и торопливо запирая на ключь свою дверь Долинскій. — Какое мнѣ дѣло до этихъ барынь, и до ихъ тамъ какихъ-то подвиговъ? чтѣ мнѣ тамъ такое! повторялъ онъ кипятясь, и съ негодованіемъ бѣгая изъ угла въ уголъ. — Чѣмъ мнѣ за дѣло до ихъ какихъ-то свѣтскихъ скандаловъ, или до какихъ-то Ягѣ! У меня пропало, пропало съ земли все, чѣмъ мнѣ миль былъ свѣтъ бѣлый, а я буду утѣшаться! Буду смигаться! слушать! разговаривать! О чѣмъ мнѣ разговаривать? О чѣмъ мнѣ разговаривать, когда все умерло, сгинуло, пропало, сгинуло!...

Онъ сердито повернулъ въ сторону, сѣлъ къ столу, и упорно, не разгибаясь, работалъ до вечера. Къ сумеркамъ Долинскій, значительно успокоенный, снова долго ходилъ въ угла въ уголъ по залѣ. Машинально онъ иногда останавливался передъ какою-нибудь одною вещью, осматривалъ ее, трогалъ рукою и опять шелъ далѣе, до новаго желанія тронуться до чего нибудь другаго. Остановясь у столика, на которомъ стояла лампа, онъ вытащилъ изъ подъ нея небольшую книжечку избранныхъ мыслей изъ ученія Спинозы, перелистовалъ небрежно страницы, и вдругъ останов-

вился. Между двумя печатными листками, спокойно и молчаливо притаясь, лежалъ листокъ почтовой бумаги, на которомъ было сдѣлано нѣсколько короткихъ замѣтокъ рукою Доры, и въ концѣ послѣдней замѣтки прибавлено: «сегодня до 87-ой стр.». Стояло чило, шедшее за три дня до ея смерти.

Долинскій просмотрѣлъ замѣтки, и подойдя къ окну, пробѣжалъ три страницы далѣе дорушкиной закладки, отнесъ книгу на столъ въ комнату Доры, и самъ снова вышелъ въ залу. Въ его маленькой, одинокой квартирѣ было совершенно тихо. Городской шумъ только игрѣдка доносился сюда съ легкимъ вѣтеркомъ черезъ открытую форточку, и ту же минуту замиралъ.

Настала ночь. Взошедшая луна, ударяя въ стекла окна, кидала на полъ три полосы блѣднаго свѣта. Въ воздухѣ было свѣжо; съ надворья пахло померанцами и розой. Въ форточку, весело гудя, влетѣлъ ночной жукъ, шибко треснулся съ разлета обѣстѣну, замужжалъ и отчаянно завертѣлся на своихъ роговыхъ надкрыліяхъ.

Долинскій остановился, бережно взялъ со стола барахтавшагося на спинѣ жука, и поднесъ его на ладони къ открытой форточкѣ. Жукъ дрыгнулъ своими пружинистыми ножками, широко разставилъ въ стороны крылья, загудѣлъ и понесся. Съ надворья въ лицо Долинскому пахнула ароматная струя чрезмѣрно теплого воздуха; ласково шевельнула она его сухими волосами, какъ будто что-то шепнула на ухо, и безслѣдно разлилась по комнатѣ.

— Собака... кошка... мышь—жива, а нѣтъ Корделія! Вотъ этаотъ жукъ летаетъ лунной ночью, а Дора мертвая лежитъ въ сырой! могилѣ! мелькнуло въ головѣ Долинскаго.

Онъ продолжалъ стоять у окна, и глядѣлъ въ открытую форточку на дремлющіе въ тѣни кусты и цвѣточные клумбы. Луна била ему прямо въ лицо, и ярко обливала своимъ желтымъ свѣтомъ всю верхнюю часть его тѣла.

Еслибы въ это время кто-нибудь увидѣлъ въ форточкѣ его красивое, до мертвеннности блѣдное лицо, эффектно освѣщенное лунною, тотъ непремѣнно отскочилъ бы отъ него въ сторону, и поневолѣ вспомнилъ бы одну изъ очаровательныхъ легендъ о душахъ, бродящихъ на землѣ въ ожиданіи прощенія своихъ земныхъ согрѣшеній. Уставшіе глаза Долинскаго смотрѣли съ тихою грустью и беспредѣльною добротою, и какъ-то совсѣмъ ничего земнаго не было въ этомъ взглядѣ; въ лицѣ его тоже ни одинъ мускулъ не двигался, и даже, кажется, самое сердце не би-

лось. Это былъ Наль, разлученный съ своей Дамаянти; это было воплощеніе идеи духа, для котораго нѣмы всѣ пѣсни земли, который знаетъ другія пѣсни, и полонъ томительного желанія снова услышать ихъ памятные звуки.

Долинскій, въ самомъ дѣлѣ, не былъ съ самимъ собою. Словно на волшебныхъ крыльяхъ воспоминаніе его облетало все ему нѣкогда милое, все живущее далеко, и спящее въ своихъ тихихъ гробахъ. Дѣтство, сердитый старикъ Днѣпръ, раздольная заднѣпровская пойма, облитая такимъ же серебристымъ свѣтомъ; сестра съ курчавой головкой, братъ, отецъ въ синихъ очкахъ съ огромной четью-минеей, мать, Анна Михайловна, Дора—все ему было гораздо ближе, чѣмъ онъ самъ себѣ п оконная рама, о которую онъ опирался головою. Онъ совсѣмъ видѣлъ эту широкую пойму, эти песчаные острова, заросшіе густой лозою, которой вольнолюбивый черторей каждую полночь начипаетъ рассказывать про ту чудную долю — минувшую, когда пойма цѣлымъ Днѣпромъ умывалась, а въ головы горы клала и степью укрывалась; видѣлъ онъ и темный, черный боръ, заканчивающей картину; онъ совсѣмъ видѣлъ Анну Михайловну, слышалъ, что она говоритъ, спаль, что она думаетъ; онъ видѣлъ мать и чувствовалъ ея присутствіе; съ нимъ неразлучно была Дора. Они были гдѣ-то. Гдѣ же? Гдѣ-то, гдѣ п онъ; да и что за дѣло, гдѣ?... Но она есть; она существуетъ .....—Умерла! говорилъ себѣ Долинскій, стоя въ своемъ прежнемъ положеніи.—И что жъ такое, что умерла?—Нѣть ея; совсѣмъ нѣть — скнила... Эта воля, эта душа, этотъ умъ—все, все это скнило... Столько жизни пропало безъ слѣда... что жъ я люблю теперь... въ чемъ тѣла нѣть, нѣть жизни; ни тѣни нѣть, ни звука слабаго...

Среди жуткаго ночнаго безмолвія, за спиною Долинскаго что-то тихо треснуло и зазвучало, какъ лопнувшая гитарная квинта. Долинскій вздрогнулъ и поклонился къ оконницѣ. Безпокойно и съ неувѣренностью оглянулся онъ назадъ: все было тихо; мѣсяцъ прихотливо ложился широкими свѣтлыми полосами на блестящій полъ, и на одной половицѣ едва означалась новая, тоненькая трещинка, которой, однако, нельзя было замѣтить при лунномъ полусвѣтѣ.

Долинскій вздохнулъ, обернулся, и снова спокойно сталъ къ оконку.

— Легко какъ поддаваться суевѣрному страху! разсуждалъ онъ, стоя попрежнему у открытой форточки. — Треснетъ что-нибудь

въ пустой комнатѣ — и вздрогнешь, и готовъ пугаться, а воображеніе, по дѣтской привычкѣ, сейчасъ и подрисовываетъ, въ головѣ вдругъ пролетитъ то одно, то другое, и готовъ вѣрить, что все, что кажется, тѣ будто непремѣнно и есть... Милые, чистые, теплые всякою вѣрою дѣтскіе годы! Куда вы минули, куда унеслись безвозвратно?... Все безвозвратно... Ушло, и нѣть его, а между тѣмъ, оно живетъ въ душѣ — былое... Въ душѣ!... Ну, въ чемъ-то, вѣдь вотъ живетъ же Дора во мнѣ самомъ, въ моей любви и мукахъ... Странная мысль! Луна одна все та же, вѣчно, а мнѣ сдается даже, что я ее видаль совсѣмъ когда-то не такою... Вонъ этотъ бѣлый мотылекъ, чтѣ съ сумерекъ уснуль на розовомъ листочкѣ, и дремлетъ, облитый дрожащимъ, луннымъ свѣтомъ, неужто чувствуетъ его точь въ точь, какъ и я?... А можетъ быть, что та же самая луна, ему совсѣмъ иной казалась, когда дней пять назадъ, подъ листочкомъ онъ спалъ безкрылою козявкой?... Навѣрно такъ; его глаза теперь, конечно, видятъ все иначе, и все теперь въ его сознаніи стоятъ совсѣмъ иначе... Два шага человѣческихъ съ трудомъ переползъ онъ въ сутки и немощный выматывалъ себѣ тяжелый саванъ, и вотъ теперь, какая прелестъ! два крылышка, на выкатъ глазки, жизнь въ свѣтломъ воздухѣ; воздушная любовь и сладкій сонъ на розовой постели... А онъ, вѣдь въ сущности, все тотъ же... Онъ измѣнился, да, но къ лучшему, конечно. А жукъ, который прилетѣлъ съ надворья, а я, а все мы? Мы сгнить должны. Законъ природы... странно! Природа дышетъ и обновляется въ своемъ торжественномъ бессмертии; луна ея сегодня свѣтлѣть, какъ свѣтила въ ту ночь, которую въ ея глазахъ убить былъ братомъ Авель; и червячки съ козявками по смерти также оживаютъ, а Авель, а человѣкъ — вѣнецъ земной природы, гнѣтъ безслѣдно... Гдѣ Соломонъ? Гдѣ эта савская царица, которая такъ рабски шла, чтобы положить свою дань благоговѣнія къ ногамъ царя и исполнена мысли?... Неужто исчезли оба — и этотъ царь, и эта савская царица исчезли!... Точно такъ исчезли, какъ дуракъ какой-нибудь, который разгрызалъ лѣсной орѣхъ съ гораздо болѣшимъ размышеніемъ, чѣмъ повторялъ по наслыху, что «ничто не ново подъ луною»? Не можетъ быть. И приходило ли этому дураку въ голову, какой страшный смыслъ, какая ужасная загадка положена въ этихъ пяти словахъ, которая болталъ его языкъ? А такъ-сказать, сболтнуть «ничто не ново подъ луной» вѣдь, кажется, и очень будто просто! И всего пять, только пять словъ... и мозгъ вер-

тится, изнемогаетъ мозгъ передъ ними и... нѣть яснаго отвѣта... Противорѣчій нить все путается больше, и вѣрить на слово приходится, что все живущее не ново...

Не ново!... Нѣть новаго, такъ старое жь пронастъ не можетъ... Все въ экономіи природы должно существовать, и самое гиеніе... одинъ пріемъ... одинъ процесъ и снова жизнь... Козявки нѣть — летаетъ мотылекъ; умершій Соломонъ не новъ былъ подъ луною, и каждый такъ... Быть можетъ, я ужъ жилъ когда-то? Порою вѣдь, что-то помнится-жь такое, чего никакъ себѣ растолковать не можешьъ, какой-то свѣтъ, такой совсѣмъ не солнечный, не огненный, не лунный; слова беззвучныя и звуки страннаго значенія... Быть можетъ, что Картушъ шмырялъ когда-нибудь лисицей прежде, иль волкомъ рыщетъ нынче Пугачевъ; Гуда въ кардинальской шапкѣ, а Каинъ въ обществѣ моравскихъ братій, и на одной ногѣ въ лѣсу стоитъ Ньютонъ дервишемъ. Самъ я, я думаю, что я, лѣтъ тридцать какъ всего возникшее творенье, а можетъ быть... я жилъ еще въ Картушѣ, въ Магометѣ, или въ томъ трусѣ, который прибѣжалъ одинъ изъ тернопильского ущелья!... Да наконецъ, въ моемъ отцѣ иль въ матери... Прямая вещь! Быть можетъ, Соломона мысль меня смущаетъ и волнуетъ совсѣмъ не случаемъ, не спроста!... Вѣдь Соломонъ живеть? Живеть, конечно! Не ново здѣсь иначе, такъ старому нельзя, погибнуть, ибо иначе, какъ ничто не ново? Матерія! матерія и спла!... Да вѣдь поэзія, лирпзмъ — вѣдь тоже силы... А иѣсня! Неужели-жь не сила? А музыка, которая вліяетъ на животныхъ; которую приходятъ слушать рыбы!... А эта странная гармонія рѣчей, которыхъ «значеніе пусто и ничтожно, а пимъ безъ волненія внимать невозможне»? Да мало ли чего еще!... Не всѣ-жь матеріи такъ тонки, что ихъ нашъ глазъ способенъ видѣть и отличать... Исторія видѣній, словъ, предчувствій, ясна совсѣмъ не столько, чтобы рѣшить, одно ли то живеть, чѣмъ мѣста требуетъ въ пространствѣ. А если Соломонъ теперь такъ тонокъ, такъ прозраченъ, что можетъ стать передъ моимъ окномъ и не заслонить отъ глазъ моихъ листка, гдѣ дремлетъ этотъ мотылекъ? Не новъ онъ будетъ, по иной. Кто докажетъ мнѣ, что его нѣть?... Вѣдь чѣмъ жь такое скептицизмъ? Ну, фараонова тощайшал корова, которая, сожравъ свою тучнѣйшую сестру, все такъ тоща, что сердце у нея стучитъ по голымъ ребрамъ?... Вѣдь позволительно же вѣрить въ то, по крайней-мѣрѣ, что по землѣ ходили лица, усть своихъ неосквер-

нявшія ни лестью и ни ложью... Неужто я живу только пока я ємъ, ношу сюртукъ и сплю? Жизнь вѣчная вѣчна, какъ эта вся природа, какъ мысль, живущая въ смѣняющихъ другъ друга поколѣніяхъ. Читала Дора Спинозу и умерла, не дочитавъ половины. Шутила, говорила, что выучится думать хорошенько, вотъ и выучилась. Вотъ печатный Спиноза цѣлъ и на столѣ развернутый лежалъ все время съ ея смерти, а ея нѣтъ... Я вотъ теперь три листка просмотрѣлъ подалѣе, подалѣе того, гдѣ остановилась Дора, и чтѣ-жь она теперь: на три страницы далѣе или ближе отъ Спинозы? Иль, можетъ быть, она оттуда видитъ и читаетъ? Иль, можетъ быть, не сны одни мнѣ снятся, а въ самомъ дѣлѣ, для нея не нужны двери и измѣненная она владѣеть средствомъ съ струею воздуха влетать сюда, здѣсь быть со мной и снова носиться и даже черные фигурки буквъ способна различать... Нелѣпый бредъ! Луна меня тревожить: лучи ея какъ будто падаютъ мнѣ прямо въ мозгъ и въ сердце. Чѣмъ умерло, тѣ спить и не придетъ перевернуть рукой забытую страницу.

Долинскій хотѣлъ отойти отъ окна, и вдругъ страшно вздрогнулъ и по тѣлу его побѣжали мурашки. Въ комнатѣ покойной Доры тихо и отчетливо перевернулась страница.

— Дѣтскій страхъ!... мечта, послышалось мнѣ, иль просто вѣтеръ дунулъ, говорилъ себѣ Долинскій, стараясь взять надъ собою силу; а паническій, суевѣрный страхъ самъ предупреждалъ его; онъ бралъ его за плечи, двигалъ на головѣ его волосы и чрезъ мгновеніе донесъ до его слуха столь же спокойный и столь же отчетливый звукъ отъ оборота второй страницы.

— Вторая, шепнула дрожащими отъ ужаса губами Долинскій: — ихъ три: такъ третья, что ли, будетъ тоже?

Третья страница зашелестила, не спѣша перевалилась и шурша легла на открытую половину.

— А тридцать-первый реформатскій полѣ правильно ретировался и отступалъ къ образцовой фермѣ, прошло вдругъ въ головѣ Долинскаго.

— Чѣмъ за нелѣпость, чѣмъ за вздоръ такой, какой полѣ маршировалъ? шепталъ онъ, стараясь удерживать себя и поворачивая свое лицо отъ окна въ комнату.

— Тамъ нѣтъ никого, сказалъ онъ, и только что хотѣлъ сдѣлать одинъ рѣшительный шагъ, какъ скрѣпчившій передъ зарею

вѣтерокъ разомъ надулъ тяжелыя дверныя занавѣсы изъ дашиной комнаты, полы драпировки далеко выдвинулись и зашарусили.

— Кто тамъ, кто ходить здѣсь? отчаянно крикнулъ нервнымъ, испуганнымъ голосомъ Долинскій.

— Уйдите отъ меня! добавилъ онъ черезъ секунду, не сводя остраго, встревоженного взгляда съ длинныхъ полъ, которыя все колыхались, таинственно двигались, какъ будто кто-то въ нихъ путался, и разомъ распахнувшись, защелкали своими взвившимися углами, какъ щелкаютъ дѣтскія, бумажные хлопушки, а по стекламъ противоположнаго окна мелькнуло нѣсколько блѣдныхъ, тонкихъ линій, брошенныхъ заходящей луною, и вдругъ все стемнѣло; передъ Долинскимъ выросла огромная мрачная стѣна, подъ стѣной могильные кресты, заросшіе глухой крапивой, по стѣнѣ медленно идетъ въ бѣломъ саванѣ Дора.

— Ахъ, уди ты! уди! подумаль больной, и стѣна, и Дора тотчасъ же исчезли отъ его думы, но за то въ темной аркѣ бѣлага камина загорѣлся пріятный голубоватый огонь, и передъ этимъ огнемъ на полу, граціозно закинувъ подъ голову руки, лежала какая-то совершенно незнакомая красавая женщина.

— Этого ничего нѣть, понималъ Долинскій. Онъ отвернулся къ окну и оторопѣлъ еще болѣе: тамъ, высоко-высоко на небѣ, стояла его собственная темная тѣнь колосальнѣйшихъ размѣровъ, а тутъ съ боку, возлѣ самой его щеки, смотрѣло на него чье-то блѣдное, смирующееся лицо.

Разстроенное воображеніе Долинскаго долѣе не выдержало. Ему представились какія-то блѣдныя, прозрачныя тѣни — тѣни, толпящіяся въ движущихся занавѣсахъ, тѣни подъ шторою окна; вся комната полна тѣнями: тѣни у него на плечахъ и въ немъ самомъ: все тѣни, тѣни... Онъ отчаянно пожался къ окну, и сильно подавленное стекло разлетѣлось въ дребезги.

— А тридцать-первый реформатскій полкъ правильно ретировался и отступалъ къ образцовой фермѣ, стояло у него въ головѣ, и затѣмъ онъ ничего не помнилъ.

Прохладный утренній воздухъ, врываясь въ разбитое окно и форточку, мало-по-малу освѣжилъ больную голову Долинскаго. Онъ приподнялъ лицо и медленно оглянулся. На дворѣ сѣрѣло, между крыши на востокѣ неба прорѣзалась блѣдно-розовая полоска, и на узенькой дощечкѣ подъ низенькимъ фронтономъ плоской крыши гулко ворковаль проснувшійся голубь. Сильная нервная возбужденность Долинскаго смѣнилась необычайной слад-

бостью, выражавшейся во всей его распускающейся фигурѣ и совершенно угасающемъ взорѣ.

— Жизнь!... иная жизнь!—жизнь вѣчна! шепталъ онъ, какъ бы что-то ловя и преслѣдуя глазами, какъ-бы стараясь что-то прозрѣть въ тонкомъ сѣро-розовомъ свѣтѣ подъ блѣдымъ потолкомъ пустой комнаты.

Только протяжно и съ безконечнымъ покоемъ пронесся по свѣтлому, утреннему небу одинъ тихій звонъ маленькаго колокола съ круглой башни ближайшой церкви. Долинскій вздрогнулъ.

— Зоветь! прошепталъ онъ, складывая на груди своей руки.

Колоколь черезъ минуту опять прозвучалъ еще тише и еще призывнѣй.

— Зоветь! зоветь! повторилъ больной, и блѣдное лицо его сразу приняло строгое, серьёзное выраженіе, какое бываетъ у нѣкоторыхъ мертвцевъ.

— Создатель! пощади мой разумъ, произнесъ онъ тверже чрезъ минуту, и какъ немощный больной, держась стѣны, побрелъ къ своей постели.

## XI.

### Иной путь.

Бѣжали дни за днами. Изъ нихъ составлялись недѣли и мѣсяцы—Долинскій никуда не показывался. Къ нему нѣсколько разъ заходилъ Кирилъ Онучинъ; раза три заходила даже Вѣра Сергеевна, но madame Бюжаръ, тщательно оберегая своего страннаго постояльца, никого къ нему не допускала. Вѣра Сергеевна въ первый мѣсяцъ исчезновенія Долинскаго послала ему нѣсколько записокъ, которыми приглашала его прийти, потому что ей «скучно»; въ другой она даже говорила ему, что «хочетъ его видѣть» и наконецъ въ третью писала: «я очень разстроена. У меня горе, въ которомъ мнѣ не къ кому прибѣгнуть, не съ кѣмъ посовѣтоваться, кромѣ васъ. Васъ это можетъ удивить, если вы думаете, что я только свѣтская кукла и ничего болѣе. Если вы такъ думаете, то вы очень ошибаетесь. Но во всякомъ случаѣ, чтѣ бы вы ни думали обо мнѣ, я говорю вамъ, что у меня горе, большое горе. Чѣмъ я ничтожиѣ, тѣмъ оно для меня тяжелѣе. Мнѣ приходится бороться съ тяжелыми для меня требованіями, и мнѣ не съ кѣмъ обдумать моего положенія, не съ кѣмъ сказать слова. Вы—человѣкъ съ сердцемъ и человѣкъ любившій; умоляю васъ, помогите мнѣ хоть однимъ теплымъ сло-

вомъ! Если вы не хотите быть у насъ, если не хотите у насъ съ кѣмъ-нибудь встрѣтиться, то завтра попозже въ сумерки, какъ стемнѣеть, будьте на томъ мѣстѣ, гдѣ мы съ вами гуляли вдвоемъ утромъ, и ждите меня — я найду случай уйтти изъ дома.

«Надѣюсь, что у васъ недостанетъ холодности отказать мнѣ въ такой небольшой, но важной для меня услугѣ, хоть наконецъ изъ списхожденія къ моему полу. Помните, что я буду ждать васъ, и что мнѣ страшно будетъ возвращаться одной ночью. Письмо сожгите».

Трудно поручиться, достало ли бы у Долинскаго холодности неисполнить просьбу Вѣры Сергеевны, еслибы онъ прочелъ это посланіе; но онъ не читалъ ни одного изъ ея писемъ. Какъ только т-те Бюжаръ подавала ему конвертъ, надписанный рукою Вѣры Сергеевны, онъ судорожно сминалъ его въ своей рукѣ, уходилъ въ уголъ, тщательно сжигалъ нераспечатанный конвертъ, растиралъ испепелившуюся бумагу и пускалъ пыль за свою оконную форточку. Онъ боялся всего, что можетъ хоть на одно мгновеніе отрывать его отъ его думъ, сътворованій и таинственного мѣра, создаваемаго его мистической фантазіей. Наконецъ всѣ его оставили. Онъ былъ очень этому радъ. Окончивъ работу, онъ съ восторженностью началъ изучать пророковъ и жилья совершеннымъ затворникомъ. А тѣмъ временемъ настала осень, получилось разрѣшеніе перевезти гробъ Даши въ Россію и пришли деньги за напечатанную повѣсть Долинскаго, которая въ свое время многихъ поражала своею оригинальностью и носила сильный отпечатокъ душевнаго настроенія автора.

Долинскому приходилось выйтти изъ своего заточенія и дѣйствовать.

На другой же день по полученіи послѣдней возможности отправить тѣло Даши, онъ впервые вышелъ очень рано изъ дома. Выхлопотавъ позволеніе вынуть гробъ, и перевезя его на желѣзную дорогу, Долинскій просидѣлъ самъ цѣлую ночь на пустомъ, отдаленномъ концѣ длинной платформы, гдѣ поставили черный сундукъ, зловѣщая фигура котораго будила въ проходившихъ тяжелое чувство смерти, и заставляло ихъ бѣжать отъ этого страннаго багажа.

Долинскій не замѣчалъ ничего этого. Онъ сидѣлъ у сундука, облокотясь на него рукою и, казалось, очень спокойно отдохнулъ отъ дневныхъ хлопотъ и бѣготни по поводу перевозки. На дво-рѣ совсѣмъ меркло; мимо платформы торопливо проходили къ

домамъ разные рабочіе люди; прошло нѣсколько дѣвушекъ, кото-  
рыя съ ужасомъ и съ любопытствомъ взглядывали на мрачный  
сундукъ и на одинокую фигуру Долинскаго, и вдругъ сначала  
шли удвоеннымъ шагомъ, а потомъ бѣжали, кутая свои головы  
широкими коричневыми платками и путаясь въ длинныхъ юбкахъ  
платьевъ. Еще позже забѣжало нѣсколько рѣзвившихся послѣ  
ужина мальчиковъ, и эти глянули, и забывъ свои крики, какъ-бы  
по сигналу, молча ударились во всю мочь въ сторону. Ночь спу-  
стилась; заря совсѣмъ погасла и кругомъ все окутало темная  
мгла; на темно-синемъ небѣ не было ни звѣздочки, въ тихомъ воз-  
духѣ ни звука.

Откуда-то прошла большая лохматая собака съ недоглоданною  
костью, и улегшись, взяла ее между передними лапами. Слыши-  
тельно, какъ зубы стукнули о кость и какъ треснулъ оторванный  
лоскутъ мяса, но вдругъ собака потянула чутьемъ, глянула на  
черный сундукъ, быстро вскочила, взвизгнула, зарычала тихонько  
и со всѣхъ ногъ бросилась въ темное поле, оставивъ свою недо-  
глоданную кость на платформѣ.

Когда рано утромъ тронулся поѣздъ, взявший съ собою тѣло  
Доры, Долинскій спокойно поклонился ему вслѣдъ до самой до-  
земли и еще спокойнѣе побрелъ домой.

Распорядясь такимъ образомъ, Долинскій часу въ одинадцатомъ  
отправился къ Онучинамъ. Неожиданное появленіе его всѣхъ  
очень удивило, Долинскій также могъ бы здѣсь кое чemu удивиться.

Кирила Сергеевича онъ засталъ за газетами на террасѣ.

— Батюшки моя! Вы ли это, Несторъ Игнатьичъ? вскричалъ  
добродушный ботаникъ, подавая ему обѣ свои руки.—Вѣра!

— Ну, послышалось лѣниво изъ залы.

— Несторъ Игнатьичъ воскресъ и является.

Изъ залы не было никакого отвѣта и никто не показывался.

— Я принесъ вамъ мой долгъ, Кирилъ Сергеевичъ. Сколько я  
вамъ долженъ? началъ Долинскій.

— Позвольте, пожалуйста! Что это въ самомъ дѣлѣ такое? гдѣ  
пропадаетъ, и чуть перепесъ ногу, сейчасъ ужъ о долгѣ.

— Тороплюсь, Кирилъ Сергеевичъ.

— Куда это?

— Я сегодня ѣду.

— Какъ ѣдете!

— То-есть уѣзжаю. Совсѣмъ уѣзжаю, Кирилъ Сергеевичъ.

— Батюшки-свѣты! Да надѣюсь, хоть пообѣдаете же вѣдь вы съ нами?

— Нѣтъ, не могу... у меня еще дѣла.

Ботаникъ посмотрѣлъ на него удивленными глазами, дескать: «а должно быть ты братъ, скверно кончишь», и вынулъ изъ кармана своего пиджака записную книжечку.

— За вами всего тысяча франковъ, сказалъ онъ, перечеркивая карандашомъ страницу.

Долинскій досталъ изъ бумажника вексель на банкирскій домъ и нѣсколько наполеондоровъ и подалъ ихъ Онучину.

— Большое спасибо вамъ, сказалъ онъ, сжавъ при этомъ его руку.

— Постойте же; вѣдь все же, думаю, захотите по крайней-мѣрѣ, проститься съ сестрою и съ матушкой?

— Да, какъ же, какъ же, непремѣнно, отвѣчалъ Долинскій.

Онучинъ пошелъ съ террасы въ залу, Долинскій за нимъ.

Въ залѣ, въ которую они вошли, стоялъ у окна какой-то по-жилой господинъ съ волосами, крашенными въ свѣтлорусую краску, и нѣмецкимъ лицомъ, и съ нимъ Вѣра Сергеевна. Пожилой господинъ сіялъ самою благопріятною улыбкою и, стоя передъ m-lle Онучиной лицомъ къ окну, разсказывалъ ей что-то такое, чтѣ, судя по утомленному лицу и разсѣянному взгляду Вѣры Сергеевны, нетолько ни мало ее не интересовало, но напротивъ, нудило ее и раздражало. Она стояла прислонясь къ косяку окна, и сложивъ руки на груди безучастно смотрѣла по комнатѣ. Подъ глазами Вѣры Сергеевны были два большія синеватыя пятна и ея живое, задорное личико нѣсколько затуманилось и поблѣднѣло.

Она взглянула на Долинскаго весьма холодно и едва кивнула ему головою въ отвѣтъ на его привѣтствіе.

— Баронъ фон-Якобовскій, и г. Долинскій, отрекомендовалъ Кирилъ Сергеевичъ другъ другу пожилого господина и Долинскаго.

Баронъ фон-Якобовскій раскланялся очень въ мѣру и очень въ мѣру улыбнулся.

— Членъ русскаго посольства въ N., произнесъ вполголоса Онучинъ, проходя съ Долинскимъ черезъ гостиную въ кабинетъ матери.

Серафима Григорьевна сидѣла въ большомъ мягкому креслѣ, и съ лорнетомъ въ рукѣ читала новый нумеръ парижскаго L'Union Chr  tienne.

— Ахъ, Несторъ Игнатьичъ! воскликнула она очень радушно.— Мы васъ совсѣмъ было ужъ и пѣзъ живыхъ выключили. Садитесь поближе; ну, что? Ну, какъ вы нынче въ своемъ здоровьѣ?

Долинскій поблагодарилъ за вниманіе, присѣлъ около хозяйстваго кресла, и у нихъ пошелъ обыкновенный полуформенный разговоръ.

— А у насъ есть маленькая новость, сказала наконецъ, тихонько улыбаясь, Серафима Григорьевна.— Съ вами, какъ съ нашимъ добрымъ другомъ, мы можемъ и подѣлиться, потому что вы ужъ вѣрно порадуетесь съ нами.

Долинскій никакъ не могъ понять, какимъ случаемъ онъ попалъ въ добрые друзья къ Онучинымъ; но глядя на счастливое лицо старухи, предлагающей открыть ему радостную семейную вѣсть, довольно низко поклонился и сказалъ какое-то приличное обстоятельствамъ слово.

— Да, вотъ нашъ добрый Несторъ Игнатьичъ, наша Вѣрушка дѣлаетъ очень хорошую партію, произнесла Серафима Григорьевна.

— Выходитъ замужъ Вѣра Сергеевна?

— Да, выходитъ. Это еще наша семейная тайна, но ужъ мы дали слово. Вы вѣдѣли барона фон-Якововскаго?

— Да, настъ сейчасъ познакомилъ Кирилъ Сергеевичъ.

— Вотъ это ея женихъ! Какъ видите, онъ еще très galant, et tout ça... уменъ, принадлежитъ къ обществу и членъ посольства. Вѣра будетъ имѣть въ свѣтѣ очень хорошее положеніе.

— Да, конечно, отвѣчалъ Долинскій.

— Вы знаете, онъ лифляндскій баронъ.

— Гм!

— Да, у него тамъ имѣніе около Риги. Они вѣдь, эти лифляндцы, знаете, не такъ, какъ мы русскіе; мы все ѳдимъ другъ друга да мараемъ, а они лѣсенкой.

— Да, это такъ.

— Лѣсенкой, лѣсенкой, знаете. Одинъ за другимъ цапъ-царапъ, цапъ-царапъ—и всѣ наверху.

Долинскій, въ качествѣ доброго друга, сколько умѣлъ, порадовался семейному счастью Онучиныхъ и сталъ прощаться съ старушкой. Несмотря на всѣ просьбы Серафимы Григорьевны, онъ отказался отъ обѣда.

— Ну, Богъ съ вами, если не хотите съ нами проститься какъ сѣдухъ.

— Ей-богу, не могу — тороплюсь, извинялся Долинский.

Старушка положила на столъ нумеръ L'Union Chrétienne и пошла проводить Долинского.

— Вы къ намъ зимою въ Петербургѣ заходите, говорила необыкновенно счастливая и веселая старуха, когда Долинскій пожалъ въ залѣ руку Вѣры Сергеевны и пробурчалъ ей какое-то поздравленіе.—Мы вамъ всегда будемъ рады.

— Мы принимаемъ всѣхъ по четвергамъ, сухо проговорила Вѣра Сергеевна.

— Да и такъ запросто когда-нибудь, звала Серафима Григорьевна.

Долинскій раскланялся, скользнулъ за двери и на улицѣ вздохнулъ свободно.

— Очень жалкій человѣкъ, говорила барону фон-Якововскому умиленная ниспосланной ей благодатью Серафима Григорьевна вслѣдъ за ушедшими Долинскимъ.—Былъ у него какой-то романъ съ довольно простой девушки, онъ схоронилъ ее и вотъ никакъ не утѣшится.

— Онъ такъ и смотритъ влюбленнымъ въ луну, отвѣчаль, въ мѣру улыбаясь, баронъ фон-Якововскій.

Вѣра Сергеевна не принимала въ этомъ разговорѣ никакого участія, лицо ея попрежнему оставалось холодно и гордо, и только въ глазахъ можно было подмѣтить слабый свѣтъ горечи и досады на все ее окружающее.

Вѣра Сергеевна выходила замужъ не то, чтобы насильно, но и не своей охотой.

Долинскій, возвратясь домой, засталъ свои чемоданы совершенно уложенными и готовыми. Не снимая шляпы и пальто, онъ дружески расцаловалъ т-те Бюжаръ и уѣхалъ на желѣзную дорогу за два часа до отправленія поѣзда.

— Вы въ Петербургѣ спрашивала его, совсѣмъ прощаешься, мадаме Бюжаръ.

Долинскій какъ будто не разслушалъ и вмѣсто отвѣта крикнулъ:

— Adieu, madame.

Въ ожиданіи поѣзда, онъ, въ тревожномъ раздумьѣ, бѣгалъ по пустой платформѣ амбаркадера, останавливался, брался за лобъ, и какъ только открылась касса для первого очередного поѣзда, взялъ мѣсто въ Парижъ.

XII.

БАТИНЬЕЛЬСКІЯ ГОЛУБЯТНИ.

Несторъ Игнатьевичъ въ Парижѣ поселился въ крошечной комнаткѣ пятаго этажа одного большого дома на Батиньельѣ. Занятое имъ помѣщеніе было далеко не изъ роскошныхъ, и не изъ комфорtabельныхъ. Вся комнатка Долинскаго имѣла около четырехъ аршинъ въ квадратѣ, съ однимъ небольшимъ, высоко-продѣланнымъ окномъ и неуклюжимъ дымяющимъ каминомъ, на которомъ, вместо неизбѣжныхъ часовъ съ бронзовымъ пастушкомъ, преполовко разстегивающимъ корсетъ своей бронзовой пастушки, одиноко торчалъ молящійся гипсовый амуръ, весь немилосердно засиженный мухами. Мѣблировка этой комнаты состояла изъ небольшого круглаго столика, кровати съ дешевыми ситцевыми занавѣсами, какого-то историческаго комода, на которомъ было выцарапано: Beauharnais, Oginsky, Podwysocky, Ian, nali\x wody w \xb3ban, и многое множество другихъ историческихъ и неисторическихъ имень, болѣе или менѣе удачно и тщательно произведенныхъ гвоздемъ и рукою скучавшаго и вѣроятно нищенствовавшаго жильца. Кромѣ этихъ вещей, въ комнатѣ находилось три кресла: одно—временъ Лудовика XIV (это было самое удобное), одно—временъ первой республики, и третье—временъ нынѣшней имперіи. Послѣднее было кресло дешевое, простой базарной работы и могло стоять только будучи приставленнымъ въ уголь, ибо всѣ его ножки давнымъ-давно шатались и расползались въ разныя стороны. За то все это обходилось неимовѣрно дешево. Цѣлая такая комната съ креслами трехъ замѣчательнѣйшихъ эпохъ французской государственной жизни, съ водой и прислугой (которой, впрочемъ, de facto не существовало), отдавалась за пятнадцать франковъ въ мѣсяцъ. Такихъ коморокъ по сторонамъ довольно широкаго и довольно длиннаго коридора, едва освѣщавшагося по концамъ двумя полукруглыми окнами, было около тридцати. Каждая изъ нихъ была отдѣлена одна отъ другой досчатою, или пластинною, толсто оштукатуренными перегородками, черезъ которыхъ однако можно было свободно постучать и даже покричать своему сосѣду. Обитателями этихъ покоевъ были люди самые разнокалиберные; но все-таки можно сказать, что преимущественно здѣсь обитали швеи, цвѣточницы, вообще молодые, легко смотрящія на тяжелую жизнь дѣвушки и молодые,

а иногда и не совсѣмъ молодые, даже иногда и совсѣмъ старые люди, самыхъ разнообразныхъ профессій. На каждой изъ сѣрыхъ дверей этихъ маленькихъ канурокъ грязноватою желтою краскою написаны подъ рядъ свои нумера, а на нѣкоторыхъ есть и другія надписи, сдѣланные просто кускомъ мѣла. Послѣднія надписи бываютъ *постоянныя*, красующіяся иногда цѣлые мѣсяцы, и *временныя*, появляющіяся и исчезающія въ одинъ и тотъ же день, въ который появляются. Очень рѣдко случается, что подобная надпись переживаетъ сутки, и никогда двухъ. Къ числу первыхъ принадлежатъ мѣловыя начертанія, гласящія. «*Cécile*», «*Pélagie*», «*Mathilde*», la *couturière*, «*Psyché*», «*Nymphé des bois*», «*Pol et Pepol*», «*Anaxagou—étudiant*», «*Le petit Mathusalem*» или: «*Frappez fort s'il vous plaît!*» и т. п.

Временныя же, преимущественно однодневныя надписи, болѣе все въ слѣдующемъ родѣ: «*Je n'ai point d'habit*», «*Cela est probable*», «*J'en suis furieux!!!*» (внизу непривѣтный вензель), «*Pouvez-vous me dire, où il demeure?*» (Опять вензель, или четная буква), «*Je crains, que la machine ne sorte des rails*», «*Nous serons revenus de bonne heure*», и т. п. Иногда на дверяхъ отсутствующей хозяйки являются надписи и болѣе прямаго значенія, напримѣръ подъ именемъ какой-нибудь швеи Клемансъ и цвѣточницы Арно, вдругъ въ одинъ прекрасный день является вопросъ: «*Pouvez-vous nous loger pour cette nuit?*» подписано «*F. et R.*» или: «*Je n'ai presque rien mangé depuis deux jours.—Que faire?*»

На дверяхъ комнаты, занятой Долинскимъ, стояло просто «№ 11», и ничего болѣе. Съ правой стороны на дверахъ подъ № 12 было написано еще «*Marie et Augustine — gantière*», а съ лѣвой подъ № 10 «*Néromicène Zaionczek—le prêtre*».

Въ жилищахъ этого рода, сосѣди по комнатѣ имѣютъ для каждого жильца свое и даже весьма немаловажное значеніе. Вообще веселый, непретендательный, ссудливый сосѣдъ, не успѣть водвориться, какъ снискиваетъ себѣ доброе расположение своихъ ближайшихъ сосѣдей и особенно сосѣдокъ, изъ которыхъ одна, а иногда и двѣ непремѣнно разсчитываютъ въ самомъ непроложительномъ времени (иногда даже съ первого же дня), сдѣлаться его любовницей. За то плохой, вздорливый и придирчивый сосѣдъ—чистое несчастье. Сами гризеты чаще всего начинаютъ бояться такихъ господъ, избѣгаютъ съ ними встрѣчи и даютъ имъ разныя ядовитыя клички; но выжить строптиваго

жильца «пэъ коридора» гризеты никакъ не съумѣютъ. Это удается только тогда, если «весь коридоръ» обозлится (что бываетъ довольно рѣдко), или если строптивый человѣкъ надоѣсть ближайшимъ своимъ сосѣдамъ изъ студентовъ.

Перчаточницы Augustine и Marie были молодыя, веселыя, беспечныя дѣвочки, бѣгавшія за работой въ улицу Loret и распѣвавшія дома съ утра до ночи скабрезныя пѣсеньки непризнанныхъ поэтовъ Латинскаго квартала. Обѣ эти дѣвочки были очень хорошенькия и очень хорошія особы, съ которыми можно было прожить цѣлую жизнь въ отношеніяхъ самыхъ пріятельскихъ, еслибы не было очевидной опасности, что пріязнь скоро перейдетъ въ чувство болѣе теплое и грѣшное. Marie и Augustine были тоже очень довольноы своимъ «одинадцатымъ нумеромъ», но только съ одной стороны. Имъ очень нравилась его скромность, услужливость, готовность подѣлиться кофе, сыромъ, хлѣбомъ и т. п. Но чтѣ это былъ за сосѣдъ, съ которымъ ни пойдти, ни поѣхать, ни посидѣть вмѣстѣ, который не позоветъ ни къ себѣ, ни самъ не придетъ поболтать? «Un ours», прозвали его гризеты, и очень часто на него дулись. Но, несмотря на нелюдимость Долинскаго, и Augustine и Marie, и даже всѣ другія жилицы коридора со второго же дня появленія его здѣсь положилъ, что онъ *bon homme* и что его надо прilаскать — даже непремѣнно надо.

Зато № 10, m-r le prêtre Néromucène Zaionczek, давно стояль поперегъ горла рѣшительно всѣмъ своимъ ближайшимъ сосѣдамъ. Это былъ несносный, желчный старикъ съ сѣрыми, сухими глазами, острымъ, выдающимся впередъ подбородкомъ и загнутыми внизъ углами губъ. Гризеты называли его «полицеймейстеромъ» и отворачивались отъ него, какъ только онъ показывался въ коридорѣ. M-r le prêtre Zaionczek обыкновенно сидѣлъ дома. Онъ выходилъ только два, много три раза въ недѣлю въ существующую на Батиньель польскую школу и разъ вечеромъ въ воскресеніе єздилъ на омнибусъ куда-то къ St.-Sulpice. Все остальное время онъ проводилъ въ своей комнаткѣ и постоянно или читалъ, или дѣлалъ какія-то выписки. Его посѣщали здѣсь довольно странные люди, и нѣсколько пышныхъ грандіозныхъ дамъ, которыхъ онъ провожалъ, называя графинями и княгинями. Сосѣдами Zaionczeka было замѣчено, что всѣ его гости были исключительно поляки и польки. Личность и положеніе Заіончека возбуждали вниманіе и любопытство всѣхъ голубей и голубокъ.

этой парижской голубятни, но никто не имѣлъ этого любопытства на столько, чтобы упорно стремиться къ уясненію, чѣмъ въ самомъ дѣлѣ за птица этотъ m-r le prêtre Zaionczek и чтѣ такое онъ дѣлаетъ, зачѣмъ сидитъ на этомъ батиньельскомъ чердакѣ? Давно, еще вскорѣ затѣмъ, какъ Заиончекъ здѣсь поселился, кто-то болтнуль вдругъ, что m-r le prêtre Zaionczek гадатель, что онъ отлично гадаетъ на картахъ и можетъ предсказать все, за сколько вамъ угодно лѣть впередъ. Нѣсколько человѣкъ повторили эту тонкую догадку и въ вечеру того же дня, двѣ или три гризеты, трясясь и замирая, собирались пдти и попросить супрваго Заиончека погадать имъ о запропавшихъ любовникахъ. Но вдругъ разнеслась вѣсть, что Monsieur le professeur Grèlot, который живетъ здѣсь на голубятнѣ уже болѣе трехъ лѣть и котораго всѣ гризеты называютъ grand papa и считаютъ своимъ оракуломъ—выслушавъ явившееся на счетъ Заиончека соображеніе, сомнительно покачалъ головою. Всѣ тотчасъ тоже сами покачали головами и съ тѣхъ поръ вовсе оставили добиваться, чтѣ такое этотъ загадочный m-r le prêtre, а продолжали называть его попрежнему «полиціймейстеромъ». Это название желчный старикъ получилъ потому, что его сварливый характеръ и привычка повелѣвать не давали ему покоя и на батиньельскомъ чердакѣ. Чуть только гдѣ нибудь пососѣдству къ его нумеру, послѣ десати часовъ вечера слышался откуда-нибудь веселый говоръ, смѣхъ, или хотя самий ничтожный шумъ, m-r le prêtre выходилъ въ коридоръ съ свѣчою въ рукѣ, неуклонно текъ къ двери, изъ-за которой раздавались голоса, и постучавъ своими костлявыми пальцами, грозно возглашалъ: «Ne faites point tant de bruit!» и затѣмъ держалъ столь же мѣрное теченіе къ своему нумеру, съ полной увѣренностью, что обезпокойившій его шумъ непремѣнно прекратится. И шумъ точно прекращался. Съ жильцами этой батиньельской вершины m-r le prêtre не имѣлъ никакого сообщества, и съ тѣхъ поръ, какъ онъ тутъ поселился, отъ него никто не слыхалъ болѣе, кромѣ: «Ne faites point de bruit!». Въ комнатѣ Заиончека тоже никто изъ здѣшнихъ жильцовъ никогда не былъ и комната эта была предметомъ постояннаго любопытства, потому что madame Vache, единственная служа и надзирательница этой вышки, рассказывала объ этой комнатѣ чѣ-то столь заманчивое, что у всѣхъ почти одновременно родилось непобѣдимое желаніе взглянуть на чудеса этого неприступнаго покоя. Нѣкоторыми отчаянными смѣльчаками обоего

пола (по преимуществу прекрасного), съ тѣхъ поръ было предпринято нѣсколько очень обдуманныхъ экспедицій съ специальностью цѣлю осмотрѣть полицеистерскую берлогу, но всѣ эти попытки обыкновенно оставались совершенно безуспѣшными. Въ присутствіи Заіончека обѣ этомъ невозможно было и думать, потому что нѣсколькихъ дерзкихъ, являвшихся къ нему попросить взаймы свѣчи, или спички, онъ, не открывая двери, безъ всякой церемоніи посыпалъ прямо въ какому-нибудь крупному чорту, или разомъ ко сто тысячамъ рядовыхъ дьяволовъ. А уходя изъ дома, Заіончекъ постоянно уносилъ ключъ съ собою. Любопытные видали въ замочную скважину: дорогой варшавской коверъ на полу этой комнаты; окно, задернутое зеленою тафтиною занавѣскою, большой черный крестъ съ бѣлымъ изображеніемъ распятаго Спасителя и низенькой налой краснаго дерева, съ зеленою бархатною подушкой внизу и большою развернутую книгою на верхней наклонной доскѣ.

Въ существѣ комнаты Заіончека и не имѣла ничего необыкновенного. Конечно, сравнительно она была очень недурно мѣбелирована, застлана мягкимъ ковромъ, увѣшана картинами, всегда чисто убрана и далеко превосходила прохладныя и пустоватыя каморки другихъ бѣдныхъ жильцовъ голубятни, но все-таки она далеко не могла оправдать восторженныхъ описаній madame Vache.

### XIII.

#### БАТИНЬЕЛЬСКИЕ ОТШЕЛЬНИКИ.

Долинскій, поселившись на Батиньельѣ, разсчитывалъ здѣсь найти болѣе покоя, чѣмъ въ Латинскомъ кварталѣ, гдѣ онъ могъ бы жить при своихъ скучныхъ средствахъ, о восполненіи которыхъ ни мало не намѣренъ былъ много заботиться.

Съ самого приѣзда въ Парижъ, онъ не повидался ни съ однимъ изъ своихъ прежнихъ знакомыхъ, а прямо занялъ одиннадцатый номеръ между Заіончекомъ и двумя хорошенъкими перчаточницами, и засѣлъ въ этой комнатѣ почти безвыходно. Несторъ Игнатьевичъ не писалъ изъ своего убѣжища никакихъ писемъ никому и самъ ни отъ кого не получалъ ни строчки. Выходилъ онъ иногда въ недѣлю разъ, иногда разъ въ мѣсяцъ и всегда возвращался съ какою-нибудь новою книгою. Каждый его выходъ всегда значилъ ни болѣе ни менѣе, что новая книга прочитана и потребовалась \*

другая. M-r le prêtre Zaionczek, встрѣтясь два или три раза съ своимъ новымъ сосѣдомъ, посмотрѣлъ на него самымъ недружелюбнымъ образомъ. Казалось, Заіончекъ досадовалъ, что Долинскій такъ долго лишаетъ его удовольствія хоть разъ закричать у его дверей: «ne faites pas de bruit».

Изъ ближайшихъ сосѣдей Нестора Игнатьевича короче другихъ его знали m-lle Augustine и Marie, но и m-lle Augustine скоро перестала обращать на него всякое вниманіе и занялась другимъ сосѣдомъ, студентомъ, помѣстившимся въ № 13, и только одиночная Marie никакъ не могла простить Долинскому его невниманія. Она часто стучалась къ нему вечерами, находя что-нибудь попросить, или возвратить. Всегда она находила ласковый отвѣтъ, услужливость и болѣе ничего. Marie выходила нѣсколько разъ, оглядываясь и поводя своими говорящими плечиками; Долинскій оставался спокойнымъ и протягивалъ руку къ оставленной книжѣ.

— Чѣмъ это вы читаете, добрый сосѣдъ? спрашивала иногда Marie и, любопытствуя, смотрѣла на корешокъ книги. Тамъ всегда стояло что-нибудь въ такомъ родѣ: «La Religion primitive des Indo-Europeens par m-r Flotard», или «Bible populaire», или еще что-нибудь такое же.

M-lle Marie терялась, что за удивительный экземпляръ этотъ ея смиренный сосѣдъ.

— Ну, что твой бакалавръ? освѣдомлялась иногда у нея, возвращаясь изъ тринадцатаго нумера, m-lle Augustine.

— Rien, отвѣтала, кусая губки, Marie.

— Tiens! презрительно восклицала недоумѣвающая m-lle Augustine.

— Ничего онъ не стоитъ, порѣшила паконецъ m-lle Marie и дала себѣ слово перестать думать о сосѣдѣ и найти кого-нибудь другого.

— Онъ вѣрно совсѣмъ глупъ, говорила она, жалуясь подругѣ.

— C'est vrai, небрежно отвѣтала Augustine, занятая своею новою любовью въ тринадцатомъ нумерѣ.

Въ одну темную осеннюю ночь, когда въ коридорѣ была совершенная тишина, въ дверь у перчаточницъ кто-то тихонько постучался. Marie, ночевавшая одна на двуспальной постели, которую онѣ владѣли изъ-поду съ своей подругой, приподнялась на локоть и тихонько спросила: «Qui va la?»

— C'est moi, отвѣталь такъ же тихо голосъ изъ-за дверей.

— Mais quel moi donc?

— Mais puisque je vous repête que c'est moi, votre voisin du numéro onze.

— Tiens! прошептала про себя Marie, и лукаво разсмѣявшись съ соблюдениемъ всякой тишины, отвѣчала:—Mais je suis au lit, monsieur!... Que désirez-vous?... Qu'y a-t-il à votre service?

— Une allumette, mademoiselle, тихо отвѣчалъ Долинскій.—Уронилъ мой ключъ и не могу его отыскать безъ огня.

— Un brin de feu?

— Oui, une allumette, s'il vous plaît.

Marie еще сердечнѣе разсмѣялась, откинула крючокъ, и впустивъ сосѣда, снова кувырнулась въ свою постельку.

— Спички тамъ на комодѣ, произнесла она, лукаво выглядывая однимъ смѣющимся глазкомъ изъ-подъ одѣяла.

Долинскій поискать на каминѣ спичекъ, взялъ коробочкъ, поблагодарилъ сосѣдку и, не смотря на нее, пошелъ къ двери.

M-lle Marie быстро вскочила.

— Это чортъ-знаетъ что такое! крикнула она вспыльчиво вслѣдъ Долинскому.

— Что? спросилъ онъ, остановясь.

— Нужно быть глупѣе доски, чтобы входить ночью въ комнату женщины съ желаніемъ получить одну зажигательную спичку.

Долинскій, ни слова не отвѣчая, тихо притворилъ двери. M-lle Marie сердито щелкнула крючкомъ, а Долинскій, несмотря на поздній часъ ночи, усѣлся у себя за столикомъ со вновь принесеною книгою. Это была одна изъ брошюръ о Юмѣ.

Прошло мѣсяца три; на батинъельскихъ вершинахъ все шло по-прежнему. Единственная перемѣна заключалась въ томъ, что pigeons изъ тринадцатаго нумера прискучилъ любовью бѣдной Augustine, и оставленная columbine, написавъ на дверяхъ измѣнника, что опъ «свинья, уродъ и мерзавецъ», стала спокойно встрѣчаться съ замѣнившимъ ее новою подругою тринадцатаго нумера и спала у себя съ m-lle Marie.

Однъ разъ Долинскій возвращался домой часу въ пятомъ самаго ненастнаго зимнаго дня. Холодный мелкій дождикъ, въ перемежку съ ледянистой мглою и маленьими хлопочеками мокраго снѣга, пробили его насквозь, пока онъ добрался на имперіаль omnibus отъ rue de Saine, изъ Латинскаго квартала, до своихъ батинъельскихъ вершинъ.

Спустясь по скользкимъ трехпогибельнымъ ступенямъ съ импераціала, Долинскій торопливо пробѣжалъ двѣ улицы и сталъ под-

ниматься на свою лестницу. Онъ очень озябъ въ своемъ сильно поношенномъ пальтишкѣ и дрожалъ; подъ мышкой у него было нѣсколько книгъ и брошюръ, плохо увернутыхъ въ газетную бумагу.

На лестнице Долинскій обогналъ Заіончека, и не обращая на него вниманія, бѣжалъ далѣе, чтобы скорѣе развести у себя огонь и согрѣться у камина. Въ торопяхъ онъ не замѣтилъ, какъ у него изъ-подъ руки выскользнули и упали двѣ книжки. M-r le prêtre Zaionczek не спѣша поднялъ эти книги и не спѣша развернулъ ихъ. Обѣ книги были польскія: одна «Historija Koscioła Russkiego, Księdza Fr. Gusty (исторія русской церкви, сочиненная католическимъ священникомъ Густою), а другая—мистическая бредни Тавлянского, извѣстнѣйшаго мистика, имѣвшаго столь печальное вліяніе на прекраснѣйшій умъ Мицкевича и давшаго совершенно иное направленіе послѣдней дѣятельности поэта.

M-r le prêtre Zaionczek взялъ обѣ эти книги, и держа ихъ въ рукѣ, постучалъ въ двери Долинскаго.

— Entrez, отозвался Несторъ Игнатьевичъ.

Вошелъ m-r le prêtre Zaionczek.

— To ksiegi pana dobrodzieja? спросилъ онъ Долинскаго польски.

— Мои; очень вамъ благодаренъ, отвѣчалъ кое-какъ на томъ же языке, давно отвыкшій отъ него Долинскій.

— Вы занимаетесь религиозною литературой?

— Да... такъ... немного, отвѣчалъ нѣсколько конфузясь Долинскій.

— Пусть вамъ поможетъ Богъ, говорилъ сжимая его руку Заіончекъ и добавилъ:—жатвы много, а дѣтей мало есть.

Съ этихъ поръ началось знакомство Долинскаго съ Заіончекомъ.

#### XIV.

##### Новое масло въ плошку.

M-r le prêtre, по отношенію къ своему новому знакомству, явился совсѣмъ не такимъ, какимъ онъ былъ ко всѣмъ прочимъ жильцамъ вышки. Онъ самъ предложилъ Долинскому нѣсколько рѣдкихъ книгъ, и столкнувшись съ нимъ однажды вечеромъ у своей двери, попросилъ его зайти къ себѣ. Долинскій не отказался, и только что они вошли въ комнату Заіончека, дававшую всѣмъ чувствовать, что здѣсь живетъ католическая духовная особа, какъ

въ двери постучался новый гость. Это была съ головы до ногъ закутанная въ бархатъ и кружева молодая, высокая дама съ очень красивымъ лицомъ несомнѣнно польского происхожденія. Она только что переступила порогъ, какъ сложила на груди свои античныи руки, преклонила колѣна и произнесла: «*Niech będzie pochwalony Iezus Christus.*»

— Na wieki wiekow, Amen, отвѣтилъ Заіончекъ и подаль дамѣ руку.

Та встала, поцаловала руку Заіончека, подняла къ небу свои большии голубые глаза, полные благовѣйнаго страха и сказала:

— Я на минуту къ вамъ, мой отецъ.

Долинскій хотѣлъ выйти. M-r le prêtre ласково его удержалъ за руку и еще ласковѣе сказалъ: мои добрыя дѣти никогда не мѣшаютъ другъ другу.

Попавшій въ число добрыхъ дѣтей Заіончека Долинскій остался.

Пышная дама заговорила по-польски о какомъ-то семейномъ горѣ.

Долинскій старался не слушать этого разговора.

Онъ подошелъ къ этажеркѣ и разсмотривалъ книги Заіончека. Прежде всего ему попалась въ руки «Dictionnaire des missions catholiques, Lacroix et Dzunkowskoy»; Долинскій взялъ другую книгу. Это была: «Histoire diplomatique des conclaves depuis Martin V jusqu'à Pie IX, Petrugelli de la Gatina.» Далѣе онъ развернулъ большое in-folio «Acta Sanctorum». На столѣ лежалъ развернутый IV томъ этой книги: Ioaunes Rollandus, Godefridus Stenschenius, Societatis Iesu theologi.

Пока Долинскій перелистывалъ эту книгу, приводя себѣ на память давно забытое значеніе многихъ латинскихъ словъ, дама стала прощаться съ Заіончекомъ.

— Тотъ, кто доводитъ тебя до этого, большее наказаніе пріиметъ и рука провидѣнія давно тебя благословила, говорилъ, напустивъ ее, m-r le prêtre, держащейся, какъ видно, съ провидѣніемъ совсѣмъ за panibrata.

Дама опять поцаловала руку Заіончека.

— Прощайте, дочь моя, отвѣчалъ ласково суровый m-r le prêtre и пошелъ провожать свою восхитительно-прекрасную дочь.

Долинскій попалъ въ самый центръ польскихъ мистиковъ. Это общество жило въ Парижѣ очень разсѣянно и всѣ члены его въ насмѣшку назывались «Tawianczikami» отъ имени того же известнаго мистика Тавянскаго, котораго они считались послѣдователями.

ми. Тавянчиковъ считалось довольно много въ Парижѣ; они имѣли здѣсь свои собранія и своихъ представителей, въ числѣ которыхъ одно изъ первыхъ мѣстъ занималъ т-р le prêtre Zaionczek. Иезуиты смотрѣли на этихъ «тавянчиковъ» довольно снисходительно, и даже, кажется, дружелюбно. Нѣкоторые полагали, что парижскіе іезуиты одно время даже надѣялись найти въ Tawianzykach нѣкоторое противодѣйствіе противъ пугающаго святыхъ отцовъ матеріализма. Но Tawianczyki вообще не оправдали этихъ надеждъ «общество Иисусова», или по крайней-мѣрѣ оправдали его въ самой незначительной мѣрѣ. «Tawianczyki» не распустили сильныхъ вѣтвей никуда далѣе Парижа, и даже не нашли, сочувствія въ самой Польшѣ. Среди парижскихъ тавянчиковъ встрѣчались большею частію старички и женщины (молодыя и старыя), нерѣдко принадлежащи къ самимъ лучшимъ польскимъ фамиліямъ. Между передовыми послѣдователями Тавянского встрѣчались люди довольно странные, въ мистическомъ тавянізмѣ которыхъ нерѣдко сквозило что-то іезуитское. Таковъ, между многими подобными, былъ извѣстный намъ т-р le prêtre Zaionczek, эмигрантъ, появившійся между парижскими тавянчиками откуда-то съ Волыни и въ самое короткое время получившій у нихъ весьма большое значеніе. Былъ ли т-р le prêtre Zaionczek дѣйствительно такимъ мистикомъ, какимъ онъ представлялся, или это съ его стороны было одно притворство, решить было невозможно. Онъ съ глубокою задушевностью говорилъ о своихъ мистическихъ вѣрованіяхъ, состояль въ непосредственныхъ отношеніяхъ съ замогильнымъ міромъ, и въ то же время негласно основалъ въ Парижѣ «союзъ христіансаго братства». Члены этого союза едва-ли понимали что-нибудь о цѣли своего соединенія. Союзъ этотъ состояль изъ избранныхъ Заіончекомъ представителей всѣхъ христіанскихъ исповѣданій. Тутъ были: французы, англичане, испанцы, поляки, чехи (въ качествѣ представителей непризнаннаго гуссизма), итальянцы и даже руссины-уніаты. Собрания союза обыкновенно происходили по вечерамъ въ воскресенье, близь St.-Sulpice, въ домѣ самой рѣяной тавянистки, княгини Голензовской, той самой дамы, которую мы видѣли у Заіончека. Члены союза собирались въ особой комнатѣ, обитой съ потолка донизу тонкимъ чернѣмъ сукномъ съ бѣыми атласными карнизами по панелямъ. На стѣнѣ вверху, прямо противъ входа, была вышита гладью бѣлымъ шелкомъ большая мертвая голова съ крупною латинскою надписью: «Momento

mori!» Посреди комнаты стоялъ длинный столъ, покрытый чернымъ сукномъ съ бѣлыми каймами и бѣлою же бахрамою. По угламъ этой траурной скатерти опять были вышиты бѣлымъ мертвя головы и вокругъ надъ всею каймою какія-то латинскія изреченія. Около этого стола стояли тяжелыя дубовые скамейки и въ одномъ концѣ высокое рѣзное кресло съ твердымъ, ничѣмъ не покрытымъ сидѣніемъ, а возлѣ него въ ногахъ маленькая деревянная скамеека. На рѣзномъ креслѣ было мѣсто Заіончека, въ ногахъ у него на низенькой деревянной скамейкѣ садилась прекрасная хозяйка дома, а на скамьяхъ размѣщались члены.

Познакомясь съ Долинскимъ, и открывъ въ немъ сильное мистическое настроеніе, m-r le prêtre Zaïonczek умѣлъ очень искусно расшевелить его больныя раны, и овладѣть его слабымъ духомъ.

— Не желалъ бы я врагу человѣчества такого внутренняго состоянія, каково должно быть твое, сказалъ ему Заіончекъ, незамѣтно выпытавъ у него грызущую его тайну.

— Молись, молись; будемъ вмѣстѣ молиться за тебя, говорилъ онъ Долинскому.

— Ты крѣпко вѣришь въ загробную жизнь? спрашивалъ онъ сотый разъ Долинского, и получая въ сотый разъ утвердительный отвѣтъ, говорилъ: — вѣрь, сынъ мой, и вѣрь, что между нами и тѣми, которые отошли отъ насъ, не порваны связи самаго тѣснаго общенія.

По цѣлымъ вечерамъ Заіончекъ разсказывалъ разстроенному Долинскому самые картины образцы таинственного общенія замогильнаго міра съ міромъ живущимъ, и довелъ его больную душу до самаго высокаго мистического настроенія. Долинскій считалъ себя первымъ грѣшникомъ въ мірѣ, и незамѣтно начинать ощущать себя въ такомъ близкомъ общеніи съ таинственными существами иного міра, въ какомъ высказывалъ себя самъ Заіончекъ.

Достигнувъ такого вліянія на Долинского, Заіончекъ сообщилъ ему о существованіи въ Парижѣ «Союза христіанскаго братства», и велѣлъ ему быть готовымъ вступить въ братство, въ качествѣ грѣшнаго члена Wschodniego Koscioła (восточной церкви). Долинскій былъ введенъ въ таинственную комнату засѣданій, и представленъ оригиналному собранію, въ которомъ никто не называлъ другъ друга по фамиліи, а произносилъ только: «брать Яковъ», или «брать Северинъ», или «сестра Урсула» и т. д.

XV.

РУССКИЙ ТАВІАНСЦУК.

Долинский, живучи въ сторонѣ отъ людей, съ одними терзаніями своей несговорчивой совѣсти, мистическими книгами, да еще болѣе мистическими Товянчиками, дошелъ самъ до непостижимаго мистицизма. Онъ уже не видаль Доры, и даже рѣдко вспоминалъ о ней, но за то совершенно привыкъ спокойно и съ вѣрою слушать, когда Заіончекъ говорилъ дома и у графини Голензовской отъ лица святыхъ, цъ вообще людей давно отшедшихъ отъ мира. Въ засѣданіяхъ «христіанскаго союза», Заіончекъ говорилъ нѣсколько менѣе о своихъ общеніяхъ съ святыми и съ мертвыми грѣшниками, но все-таки держался по обыкновенію таинственно.

Въ обществѣ, главнымъ образомъ положено было избѣгать всякаго слова о превосходствѣ того или другого христіанскаго исповѣданія надъ прочими, «Всѣ хѣта одного отца нашего Бога, и овцы одного великаго пастыря, положившаго животъ свой за люди», было начертано огненными буквами на бѣлыхъ матовыхъ абажурахъ подсвѣчниковъ съ тремя свѣчами, какія становились передъ каждымъ членомъ. Всѣ должны были помнить этотъ принципъ терпимости, и никогда не касаться вопроса о догматическомъ разногласіи христіанскихъ исповѣданій.

По словамъ Заіончека, цѣлью общества было: *изысканіе средствъ къ освобожденію и соединенію христіанскихъ народовъ путемъ вѣры*. Задача эта многимъ представлялась весьма темною, и даже вовсе непонятною, но тѣмъ не менѣе, члены терпѣливо выслушивали, какъ Заіончекъ, стоя въ концѣ стола передъ составленною имъ картою «христіанскаго міра», излагалъ мистическая соображенія на счетъ «рокового развѣтвленія христіанства по свѣту, съ таинственными божескими цѣлями, для осуществленія которыхъ Господь сзываетъ своихъ избранныхъ.» Женщины, слушая Заіончека, поднимали очи къ небу, и шептали молитвы, а мужчины, одни — набожно задумывались, другіе — внимательно слѣдили за реаторомъ, и очевидно старались прозрѣть, что за смыслъ долженъ скрываться за этими хитросплетеніями. Пораженный тяжестью своей утраты, изнывая передъ неизслѣдимою пучиною своего нравственнаго грѣха, Долинский былъ въ этомъ собраніи самымъ молчаливымъ членомъ Wschodniego Kosciola.

Онъ только самъ все наэлектризовывался мистицизмомъ, и

во всякомъ, самомъ ничтожномъ событии, склоненъ былъ вдѣть, или особые пути божіе, или нарочитые прописки дьявольскіе.

Жиль Долинскій до крайности умѣренно, получая не болѣе семидесяти-пяти франковъ въ мѣсяцъ, съ двухъ ничтожныхъ уроковъ, доставленныхъ ему Заіончекомъ. И за это занятіе Долинскій принялъ только тогда, когда въ его карманѣ уже не было ни одного су, изъ денегъ, съ которыми онъ пріѣхалъ въ Парижъ. Онъ жадно берегъ свое время, и все его цѣликомъ отдалъ чтенію и своимъ мистическимъ размышленіямъ. Деньги и всякая другія блага міра сего не имѣли въ его глазахъ ровно никакой цѣны. Со всемъ живущимъ у него тоже не было ничего общаго. Миръ человѣческій, для него былъ только міръ грѣха и преступленія, и собственное прошедшее представлялось ему однимъ сплошнымъ, безконечнымъ грѣхомъ. Долинскій утратилъ всякую способность къ какому бы то ни было анализу, и бралъ все на вѣру, во всемъ видѣлъ законъ неотразимой таинственной необходимости и не взывать болѣе ни къ своему разуму, ни къ волѣ. Онъ даже не замѣчалъ противорѣчій, весьма ярко высказывавшихся въ поступкахъ Заіончека. Онъ ни разу не задумался надъ тѣмъ, что въ христіанскомъ обществѣ, основанномъ вѣротерпѣніемъ патеромъ, не было иш одного лютеранина. Онъ даже не придалъ никакого значенія тому, что *m-r le prêtre*, сидя разъ передъ каминомъ въ комнатѣ Долинскаго, случайно взялъ иллюстрированную книжку *Ruaux*: «*Vie de Calvin*», развернулъ ее, пересмотрѣлъ портреты, и съ омерзѣнiemъ бросилъ безцеремонно въ огонь.

Обстоятельствамъ угодно было, чтобы задавленный своимъ и напоеннымъ мистицизмомъ, Долинскій сравнялся съ княгинею Голензовскою и прочими мистическими фанатичками, вѣровавшими всевѣдѣніе и сверхъестественное могущество Заіончека.

Прошла половина поста. Бѣшеный день французскаго *demi-sacrѣme* угасалъ среди пьяныхъ пѣсень; по улицамъ сновали пьяные студенты, пьяные блузники, пьяные девочки. Въ погребахъ, ресторанахъ, и во всякихъ такихъ мѣстахъ были балы, на которыхъ гризеты вознаграждали себя за трехнедѣльное *demi-smirenie*. Парижъ бѣсался, и пьяный вспоминалъ свою утраченную свободу.

За то на извѣстной намъ голубятнѣ въ Батиньолѣ, было необыкновенно тихо, все пижоны и коломбины разлетѣлись. Кромѣ Заіончека и Долинскаго не было дома ни одного жильца: все

пило, бродило и бѣсновалось. Вдругъ патеръ Заіончекъ вошелъ въ комнату Долинскаго.

По торжественной походкѣ, и особенной праздничной солидности, лежавшей на каждомъ движениі Заіончека, можно было легко замѣтить, что monsieur le prêtre находится въ нѣкоторомъ духовномъ восхищении. Это восторженное состояніе овладѣвало патеромъ довольно рѣдко, и то единствено лишь въ такихъ случаяхъ, когда ему удавалось приплетать какую-нибудь, необыкновенно ловкую, по его мнѣнію, петельку къ раскинутымъ имъ силкамъ и тенетамъ. Въ такія минуты, Заіончекъ, несмотря на всю свою желчность и сухость, одушевлялся, запосился какъ поэтъ; какъ пламенный импровизаторъ, безпрестанно впадалъ въ открытый разладъ съ логикой и, какъ какой-нибудь дикий вождь полчищъ несметныхъ, пускалъ безъ всякаго такта въ борьбу множество нужныхъ и ненужныхъ силъ.

Впадая въ подобное расположение, патеръ всегда ощущалъ неотразимую потребность дать передъ кѣмъ-нибудь изъ вѣрующихъ генеральное сраженіе своимъ врагамъ, причемъ враги его—раціоналисты, допускались къ этимъ сраженіямъ только заочно, и, разумѣется, всегда были немилосердно побиваемы наголову.

Неистовая ночь demi-carême не давала покоя патеру, хотя онъ и очень крѣпко и очень рано заперся на своей вышкѣ. Кричащий, поющій, пляшущій и бѣснующійся Парижъ даваль о себѣ знать и сюда. Парижъ не лакомился, а обжирался наслажденіями; какъ морская губка, опь каждою своею точкою всасывала изъ опустившейся тьмы всю темную сладость грѣха и удовольствий. Заіончекъ чувствовалъ это, и не могъ себѣ представить переплета, въ который можно бѣ всунуть всѣ листы, съ записанными грѣхами этой ночи. Книга эта должна быть велика какъ Парижъ, какъ міръ!... нѣть больше міра, потому что міръ обновляется, а она должна быть вѣчна; ея гигантскія застежки не должны закрываться ни на одну короткую секунду, потому что и одной короткой секунды не прожить безъ грѣха тлѣнному міру.

— Какъ это такъ?... Какъ это тамъ все? задумалъ, и вставши, заходилъ по комнатѣ Заіончекъ.

Сердитый, онъ нѣсколько разъ вскидывалъ своими сухими глазами на темные стекла длиннаго окна, въ пазы и щели котораго долетали съ улицъ раздражавшіе его звуки, и каждый разъ, въ каждомъ квадратѣ оконнаго переплета, ему мерещились цѣлые группы рожъ: намалеванныхъ, накрашеныхъ, богопротивнѣйшихъ,

веселыхъ рожь въ дурацкихъ колпакахъ, зеленыхъ парикахъ, и самыхъ прихотливыхъ мушкахъ.

— Да-съ, ну, такъ-какъ же это тамъ все? говорили онѣ Заіончеку, кривя губы, дергая носами, и посылая ему вызывающія улыбки.

М-г le prêtre послалъ за это самъ миллионъ дьяволовъ во всемъ виноватымъ *рационалистамъ*, задернулъ ридо, и заходилъ по комнатѣ, еще скорѣе и еще сердитѣе.

Прошло полчаса, и Заіончекъ вдругъ выпрямился, остановился, и медленно вынулъ изъ кармана фуляровый платокъ, съ выбитымъ на немъ планомъ всѣхъ желѣзныхъ дорогъ въ Европѣ. Прошла еще минута, и Заіончекъ просіялъ вовсе; онъ тихо высморкался (что у него въ извѣстныхъ случаяхъ замѣняло улыбку), повернулся на одной ногѣ, и съ солиднѣйшимъ выражениемъ лица отправился къ Долинскому.

— Мнѣ очень однако же нравятся вотъ эти господа, началь онъ, усаживаясь передъ каминомъ.

Долинскій посмотрѣль на него съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.

— Я говорю объ этихъ бѣльмистыхъ сычахъ, продолжаль Заіончекъ, подкинувъ въ каминъ лопатку глянцовитаго угля. — Мнѣ, я говорю, очень они нравятся съ своимъ знаніями. Вотъ именно, вотъ эти самые господа, которые про все-то знаютъ, которымъ законы природы очень извѣстны.

Заіончекъ пару секундъ помолчалъ, и приподнимаясь, съ значительной миною съ кресла, воскликнулъ:

— А я имъ говорю, что *они* сычи ночные, что они лупоглазые, бѣльмистые сычи, которымъ ихъ бѣльма ничего не даютъ видѣть при божьемъ свѣтѣ! Ночь! ночь имъ нужна! Вотъ тогда, когда изъ темныхъ норъ на землю выползаютъ колючіе ежи, кроты слѣпые, землеройки, а въ солнномъ воздухѣ нетопыры шмыгаютъ— тогда имъ жизнь; тогда имъ жизнь, канальямъ!... И вотъ же чортъ ихъ не возметъ и не поѣсть вместо сардинокъ!

Заіончекъ остановился въ ужасѣ надъ этимъ непростительнымъ упущеніемъ чорта.

— Прекрасная, весьма прекрасная будетъ эта минута, когда... фффуу — одно дуповенье, и передъ каждымъ вся эта картина его мерзости напишется, и напишется ярко, отчетливо, безъ чернилъ, безъ красокъ, и безъ всякихъ фотографій.

Долинскій молчалъ.

— Чѣмъ такое одѣ? произнесъ протяжно съ приставленнымъ ко

лбу пальцемъ Заіончекъ. — Одъ: ну, одъ! одъ! ну, прекрасно-сь; ну, да чтò же такое, наконецъ, этотъ одъ? Вѣдь нужно же, наконецъ, знать, чтò онъ? откуда онъ? зачѣмъ онъ? Вѣдь нельзя же такъ сказать: «одъ есть невѣсомое тѣло», да и йнчего больше. Съ нихъ, съ сычей, этихъ ночныхъ, пускай и будетъ этого довольно, но отчего же это таѣ и для другихъ-то должно оставаться, я вѣсъ спрашиваю?

Заіончекъ остановился съ высоко-поднятыми плечами передъ Долинскимъ. Черезъ минуту онъ сталъ медленно опускать плечи, вытянувшись впередъ руки, полузакрывъ вѣками свои сухие глаза и, потянувшись грудью на руки, произнесъ: *вотъ одъ!*

Долинскій попрежнему смотрѣлъ на патера, совершенно спокойно.

— Въ какомъ я положеніи есть, въ такомъ онъ тончайшимъ, невѣсомымъ тѣломъ отъ меня и отдѣляется, продолжаетъ Заіончекъ. (Сказавъ это, патерь сдѣлалъ въ молчаніи два различныя движения руками, какъ-бы отражая отъ себя куда-то два различные изображенія; потомъ дунулъ, напряженно посмотрѣлъ вслѣдъ за своимъ дуновеніемъ, и заговорилъ двумя нотами ниже). Одъ отдѣлился и летить; онъ — я, но тонкое... невѣсомое. Теперь воздухъ передаетъ это эфиру; эфиръ — далѣе. Все это летить, летить вѣка, тысячелѣтія летить, и по извѣстнымъ тамъ законамъ отпечатывается наконецъ на какой-нибудь огромной, самой далекой планетѣ. Миръ рушится; земля распадается золою; наши плотские глаза выгорѣли; мы видимъ далеко, и вотъ тебѣ передъ тобой *твоя картина*. Ты весь въ ней, съ тѣхъ поръ, какъ бабка перерѣзала тебѣ пуповину, до моего послѣдняго «аминь» надъ твоей могилой. Ты это?... Нѣтъ, не отречешься; весь ты тамъ со всей своей исторіей. И эта ночь, и эта ночь сугубаго разврата, кровосмѣщенія, и всякаго сodomскаго грѣха! вскрикнулъ громко патерь.—Она вся тамъ печатается нынче, докончилъ онъ однимъ шипящимъ приыханіемъ, и прыгнувъ Долинскаго за руки къ окну, грозно указалъ ему на темное небо, слегка подкрашенное снизу мириадами рожковъ горящаго въ городѣ газа.

— Вотъ какъ пишется книга! Вотъ какъ отмѣчаются слѣды всѣхъ этихъ летучихъ мышей ночныхъ, всѣхъ этихъ кротиковъ, всѣхъ этихъ землероекъ!

Сказавши это съ особымъ эффектомъ, Заіончекъ такъ же порывисто выбросилъ руку Долинскаго, какъ взялъ ее, и заходилъ по комнатѣ. Освобожденный Долинскій тотчасъ же сѣлъ верхомъ

на свой стулъ, и положивъ подбородокъ на спинку, молча смотрѣлъ на патера, безъ любопытства, безъ вниманія и безъ участія.

— Да, это такъ; это несомнѣнно такъ! утверждалъ себя въ это время вслухъ патерь. — Да, солнце и солнца. Пространства очень много... Душамъ роскошно плавать. Онъ всѣ смотрятъ внизъ; лица всегда спокойны; имъ все равно... Чѣмъ здѣсь дѣляется, это имъ все равно: это ихъ не тревожитъ... имъ это — мерзость, гниль. Я вижу... видны мнѣ оттуда всѣ эти умники, всѣ эти konkubины, всѣ эти черви, въ гною зеленомъ, въ смрадѣ, поднимающимъ рвоту? — Мерзко!

«Да, тому, кто въ годы постоянные вошелъ, тому женская прелестъ даже и скверна», мелькнуло въ головѣ Долинскаго, и вдругъ причудилась ему Москва, ея малый театръ, купецъ Толстогораздовъ, живая жизнь съ людьми живыми, и всѣ вы, все прощающіе, всезабывающіе, незлобивые люди русскіе, и сама ты, наша плакучая береза, наша браная Русь-просторная. Всѣ вы, странныя, жгучія воспоминанія, все это разомъ толкнулось въ его сердце, и что-то новое, или лучше сказать, что-то давно забытое, гдѣ-то тихо зазвенѣло ему манищими, путеводными колокольчиками.

Долинскій на мгновеніе смутился, и черезъ другое такое же летучее мгновеніе, невыразимо обрадовался, ощущивъ, что память его падаетъ, какъ надтреснувшая пружина, и спокойная тупость ложится по всѣмъ краямъ воображенія.

«Но, впрочемъ, это все... непонятно», подумалъ онъ сквозь сонъ, и съ наслажденіемъ почувствовалъ, что мозгъ его все крѣпче и крѣпче усвоиваетъ себѣ самыя спокойныя привычки.

Долго еще патерь сидѣлъ у Долинскаго, и грѣлъ передъ ёго каминомъ свои толстыя, упругія ляжки; много еще рассказывалъ онъ объ одѣ, о плавающихъ душахъ, о сверхъестественныхъ явленіяхъ, и о томъ, что сверхъестественное не есть противостоящее, а есть только непонятное, и что пониманіе свое можно расширить и уяснить до безконечности, что душу и думы человѣка можно видѣть такъ же, какъ его носъ и подбородокъ. Долинскій слабо вслушивался въ весь этотъ сумбуръ, и чувствовалъ, что онъ самъ уже давно не отъ мѣра сего, что онъ давно плыветъ въ пространствѣ, и съ краями срѣзъ полонъ всяческаго равнодушія ко всему, чѣмъ видитъ и слышитъ.

Но, наконецъ, усталъ и патерь; онъ взглянулъ на свой толстый

хронометръ, зѣвнуль, и потянувшись передъ огнемъ, отправился къ своему ложу.

Какъ только Заончекъ вышелъ за двери, Долинскій спокойно подвинулъ къ себѣ оставленную при входѣ патера книгу, и началъ ее читать съ невозмутимымъ, холоднымъ вниманіемъ.

Часы въ коридорѣ пробили два.

Долинскій ужъ хотѣлъ ложиться въ постель, какъ въ его дверь кто-то слегка стукнулъ.

## XVI.

### ИСКУШЕНИЯ.

— Кто тамъ? тихо спросилъ Долинскій, удивленный такимъ позднимъ посѣщеніемъ.

— Мы, ваши сосѣдки, отвѣчалъ ему такъ же тихо молодой женскій голосъ.

— Чѣмъ вамъ угодно, mesdames?

— Спичку, спичку; мы возвратились съ бала, и у насъ огня нѣтъ. Долинскій отворилъ дверь.

Передъ нимъ стояли обѣ его сосѣдки, въ широкихъ панталончикахъ изъ ярко-цвѣтной тафты, обшитыхъ съ боковъ дешевенькими кружевами; въ прозрачныхъ рубашечкахъ, съ непозволительно-спущенными воротниками, и въ цвѣтныхъ шелковыхъ колпачкахъ, ухарски-зalomленныхъ на туго-завитыхъ и напудренныхъ головахъ. Въ рукахъ у одной была зажженная стеариновая свѣчка, а у другой — литръ краснаго вина, и тонкая, въ аршинъ длинная итальянская колбаса.

Не успѣлъ Долинскій выговорить ни одного слова, обѣ дѣвушки вскочили въ его комнату и весело захочотали.

— Мы пришли къ вамъ, любезный сосѣдъ, сломать съ вами пость.—Рады вы намъ? прошебетала m-lle Augustine.

Она поставила на столъ высокую бутылку, сѣла верхомъ на стуль республики, и положивъ локти на его спинку, откусила большой кусокъ колбасы, выплюнула кожицу и начала усердно жевать мясо.

— Цѣломудренный Іосифъ! воскликнула Marie, повалившись на постель Долинскаго и выкинувъ ногами неимовѣрный крендель:—хотите я вамъ представлю Жоко или бразильскую обезьяну?

Долинскій стоялъ неподвижно посреди своей комнаты. Онъ замѣтилъ, что обѣ дѣвушки пьяны и не зналъ, чѣмъ ему съ ними дѣлать

Гризеты, смотря на него, помирали со смѣху.

— Tiens! вы, кажется, собираетесь насть выбросить? спрашивала одна.

— Нѣтъ, мой другъ, онъ читаетъ молитву отъ злого духа, утверждала другая.

— Нѣтъ... Я ничего, отвѣчалъ растерянный Долинскій, который дѣйствительно думалъ о проискахъ злого духа.

— Ну, такъ садитесь. Мы веселились, плясали, щѣздили, но все-таки вспомнили: что-то дѣлаетъ нашъ бѣдный сосѣдь?

Marie вскочила съ постели, взяла Долинскаго однимъ пальчикомъ подъ бороду, посмотрѣла ему въ глаза и сказала:

— Онъ, право, еще очень и очень годится.

— Любезенъ, какъ бѣлый медвѣдь! отвѣчала Augustine, глотая новый кусокъ колбасы.

— Мы принесли съ собой вина и ужинъ, однимъ очень скучно, мы пришли въ вамъ. Садитесь, командовала Marie, и толкнувъ Долинскаго въ кресло королевства, сама вспрыгнула на его колѣни и обняла его за шею.

— Позвольте, просилъ ее Долинскій, стараясь снять ея руку.

— Та-та-та! совсѣмъ ненужно, отвѣчала дѣвушка, отпихивая локтемъ его руку, а другою рукою наливая стаканъ вина и поднося его къ губамъ Долинскаго.

— Я не пью.

— Не пьешь! Cochon! не пьеть въ demi-carême. Я на голову вылью. Дѣвушка подняла стаканъ и слегка наклонила его на бокъ.

Долинскій выхватилъ его у нея изъ рукъ и выпилъ половину. Гризета проглотила остальное и быстро повернувшись на колѣняхъ Долинскаго, сдѣлала сладострастное движение головой и бровью.

— Посмотрите, какое у нея плечико! произнесла Augustine, толкнувъ сзади голое плечо Marie къ губамъ Долинскаго.

— Tiens! я думаю, это не такъ худо въ demi-carême! говорила она, смѣясь и глядя, какъ Marie, весело закусивъ губки, держитъ у себя подъ плечикомъ голову растерявшагося мистика.

— Пусть будетъ тьма и любовь! воскликнула Augustine, дунувъ на свѣчу и оставляя комнату при слабѣйшемъ освѣщеніи дотѣвшаго камина.

— Пусть будетъ свѣть и разумъ! произнесъ другой голосъ, и анорогѣ показалась суровая фигура Заіончека. Онъ былъ въ бѣлыхъочныхъ панталонахъ, красной вязаной фуфайкѣ и си-  
Ч. III. — Обойд.

немъ спальномъ колпакѣ. Въ одной его руکѣ была зажженая свѣча, въ другой—толстый красный шнуръ, которымъ m-r le prêtre обыкновенно подпоясывался по халату.

— Вонъ, къ ста-тысячамъ чертей отсюда, гнилыхъ дочери грѣха! крикнула онъ на дѣвушекъ, для которыхъ всегда было страшно и ненавистно его появленіе.

Marie испугалась. Она соскользнула съ колѣнъ неподвижно сидѣвшаго Долинскаго, пируэтомъ перелетѣла его комнату и исчезла за дверью. Augustine направилась за нею. Пропуская мимо себя послѣднюю, m-r le prêtre съ злостью очень сильно ударилъ ее шнуркомъ по тоненькимъ тафтянымъ панталончикамъ.

— Vous m'etourdissez! подпрыгнувъ отъ боли, крикнула гризета и скрылась за подругою въ дверь своей комнаты.

— Ne faites plus de bruit! проговорилъ у ихъ запертої двери черезъ минуту Заіончекъ.

— Pas beaucoup, pas beaucoup! отвѣчали гризеты.

Заіончекъ зашелъ въ комнату одинокаго Долинскаго, стоявшаго надъ оставленными гризетами виномъ и колбасою.

— Я неспокойенъ былъ съ тѣхъ поръ, какъ легъ въ постель и мой тревожный духъ въ время послалъ меня туда, гдѣ я былъ нуженъ, проговорилъ онъ.

— Благодарю вѣсть, отвѣчаль Долинскій: — я совсѣмъ не зналъ, чтѣ мнѣ съ ними дѣлать.

Богъ-знаеть, чѣмъ бы окончилъ здѣсь совершенно поглощенный мистицизмомъ Долинскій, еслибы судьбѣ не угодно было подставить Долинскому новую штуку.

Одинъ разъ, возвратясь съ урока, онъ засталъ у себя на столѣ письмо, доставленное ему по городской почтѣ.

Долинскій наморщилъ лобъ. Рука, которой былъ надписанъ конвертъ, на первый взглядъ показалась ему незнакомою, и онъ долго не хотѣлъ читать этого письма. Но наконецъ сломалъ печать, досталъ листокъ и остолбенѣлъ. Записка была писана несомнѣнно Анною Михайловною.

«Я вчера вечеромъ пріѣхала въ Парижъ и пробуду здѣсь всего около недѣли, писала Долинскому Анна Михайловна.—Поэтому, если вы хотите со мною видѣться, приходите въ Hôtel Corneille, противъ Одеона, № 16. Я дома до одинадцати часовъ утра и съ семи часовъ вечера. Во все это время я очень рада буду вѣсть видѣть».

Долинскій отбросилъ отъ себя эту записку, потомъ схватилъ

ее и перечиталъ снова. На дворѣ былъ седьмой часъ въ исходѣ. Долинскій хотѣлъ пойдти къ Заіончеку, но вмѣсто того, только побѣгалъ по комнатѣ, схватилъ свою шляпу и опрометью бросился къ мѣсту, гдѣ останавливается омнибусъ, проходящій по Латинскому кварталу.

Долинскій бѣжалъ по улицѣ съ сильно бьющимся сердцемъ и спирающимся дыханіемъ. «Жизнь! жизнь! говорилъ онъ\* себѣ. — Какъ давно я не чувствовалъ тебя такъ сильно и такъ близко!»

Какъ только омнибусъ тронулъ съ мѣста, Долинскій вдругъ, посмотрѣлъ на Парижъ, какъ мы смотримъ на мѣста, которыя должны скоро покинуть; почувствовалъ себя вдругъ отрѣзаннымъ отъ Заіончека, отъ перечитанныхъ мистическихъ бредней и блѣдныхъ созданій своего больного духа. Жизнь, жизнь, ея обаятельное очарованіе снова поманила истрадавшагося, разбитаго мистика, и завидѣвъ на темпѣющемся вечернемъ небѣ сѣрий силузѣтъ Одеона, Долинскій вздрогнулъ и схватился за сердце.

Черезъ двѣ минуты онъ стоялъ на лѣстницѣ отеля Корнеля и чувствовалъ, что у него гнутся и дрожать колѣни.

«Что я скажу ей? Какъ я взгляну на нее?» думалъ Долинскій, взявши рукою за ручку звонка у 16 №.

— Можетъ быть, лучше, еслибы теперь ея не было еще дома? разсуждалъ онъ, чувствуя, что всѣ силы его оставляютъ, и робко потянуль колокольчики.

— Entrez! произнесъ изъ нумера знакомый голосъ.

Несторъ Игнатьевичъ пріотворилъ дверь и спотыкнулся.

— Не будетъ добра, сказаль онъ себѣ съ досадою, тревожась незабытою съ дѣтства примѣтой.

## XVII.

### ЗАБЛУДШАЯ ОВЦА ПЕЯ ПАСТУШКА.

Отворивъ дверь изъ коридора, Долинскій очутился въ крошечной, чистенькой передней, отдѣленной тяжелою драпировкою отъ довольно большой, хорошо мѣблированной и ярко освѣщенной комнаты. Прямо противъ приподнятыхъ полосъ матеріи, раздѣлавшей нумеръ, стоялъ ломберный столъ, покрытый чистою, бѣлою салфеткой; на немъ весело кипящій самоваръ и по бокамъ его двѣ стеариновыя свѣчи въ высокихъ блестящихъ шандалахъ, а за столомъ, въ глубинѣ дивана, сидѣла сама Анна Ми-

\*

хайловна. При входѣ Долинского, который очень долго копался, снимая свои калоши, она выдвинула изъ-за самовара свою голову, и заслонивъ ладонью глаза, внимательно смотрѣла въ переднюю.

На Аннѣ Михайловнѣ было черное шелковое платье, съ высокимъ лифомъ и безъ всякой отдѣлки, да бѣлый воротничокъ около шеи.

Долинскій наконецъ показался между полами драпировки, закрылъ рукою свои глаза и остановился, какъ вкопанный.

Анна Михайловна теперь его узнала; она покраснѣла и смотрѣла на него молча.

— Я не смѣю глядѣть на тебя, тихо произнесъ, не отнимая отъ глазъ руки, Долинскій.

Анна Михайловна не отвѣчала ни слова и продолжала съ любопытствомъ смотрѣть на его исхудавшую фигуру и ветхое коричневое пальто, на которомъ вытертые швы обозначались желто-бѣлыми полосами.

— Прости! еще тише произнесъ Долинскій. Съ этимъ словомъ онъ опустился на колѣни, поставилъ передъ собою свою шляпу, досталъ изъ кармана довольно грязноватый платокъ и обтеръ имъ выступившій на лбу потъ.

Анна Михайловна неспокойно поднялась съ своего мѣста и молча прошлась два или три раза по комнатѣ.

— Встаньте, пожалуйста, проговорила она Долинскому.

— Прости, проговорилъ онъ еще тише и не трогаясь съ мѣста.

— Встаньте, сказала опять Анна Михайловна.

Долинскій медленно приподнялся, и взявъ въ руки свою шляпу, снова сталъ, опустя голову, на томъ же самомъ мѣстѣ.

Анна Михайловна во все это время не могла оправиться отъ первого волненія. Пройдясь еще раза два по комнатѣ, она повернула къ окну и старалась незамѣтно утереть слезы.

— Не извиненія, а христіанской милости, прощенія... началъ было снова Долинскій.

— Не надо! не надо! Пожалуйста, ни о чемъ этомъ говорить не надо! первоначально перебила его Анна Михайловна, и вынувъ изъ кармана платокъ, вытерла глаза и спокойно сѣла къ самовару.

— Что жъ вы стоите у двери? спросила она, не смотря на Долинскаго.

Тотъ сдѣлалъ шагъ впередъ, поставилъ себѣ стулъ и сѣлъ молча.

— Какъ вы здѣсь живете? спросила его черезъ минуту Анна Михайловна, старалась говорить какъ можно спокойнѣе.

— Худо, отвѣчалъ Долинскій.

Анна Михайловна молча подала ему чашку чаю.

— И давно вы здѣсь? спросила она послѣ новой паузы.

— Скоро полтора года.

— Чѣмъ же вы занимаетесь?

Долинскій подумалъ, чѣмъ онъ занимается, и отвѣчалъ:

— Даю уроки.

— Мы съ Ильею Макарычемъ о васъ долго справлялись; нѣсколько разъ писали вамъ въ Ниццу, письма приходили паздѣ.

— Да меня тамъ, вѣрно, ужъ не было.

— Илья Макарычъ кланяется вамъ, сказала Анна Михайловна послѣ паузы.

— Спасибо ему, отвѣчалъ Долинскій.

— Вашъ редакторъ нѣсколько разъ о васъ спрашивалъ Илью Макарычу.

— Богъ съ ними со всѣми.

Анна Михайловна посмотрѣла на испитое лицо Долинскаго, и остановивъ глаза на бѣломъ швѣ его рукава, сказала:

— Какъ вы бережливы! Это у васъ еще петербургское пальто?

— Да, очень прочная матерія, отвѣчалъ Долинскій.

Анна Михайловна посмотрѣла на него еще пристальнѣе и спросила:

— Не хотите ли вы стаканъ вина?

— Нѣтъ, благодарю васъ, я не пью вина.

— Можетъ быть, рому къ чаю?

Долинскій взглянулъ на нее и отвѣтилъ:

— Вы, можетъ быть, подозрѣваете, что я началъ пить?

— Нѣтъ, я такъ просто спросила, сказала Анна Михайловна и покраснѣла.

Долинскій впдѣлъ, что онъ отгадалъ ея мысль и спокойно добавилъ:

— Я ничего не пью.

— Скажи же, пожалуйста, отчего ты такъ... похудѣлъ, постарѣлъ... опустился?

— Горе, тоска меня сѣлли.

Анна Михайловна покатала въ пальцахъ хлѣбный шарикъ, и повертывая его въ двухъ пальцахъ передъ свѣчкою, сказала:

— Невозвратимаго ни воротить, ни поправить невозможно.

— Я не знаю, что съ собой дѣлать? Чѣмъ мнѣ дѣлать, чтобы примирить себя съ собою?

Анна Михайловна пожала плечами и опять продолжала катать шарикъ.

— Я бѣгу отъ людей, бѣгу отъ мѣстъ, которыя напоминаютъ мнѣ мое прошлое; я самъ чувствую, что я не человѣкъ, а такъ, какая-то могила... трупъ. Во мнѣ уснула жизнь, я ничего не желаю, но мои несносныя муки, мои терзанія!...

— Чѣмъ же вѣдь особенно мучить? спросила не сводя съ него глазъ Анна Михайловна.

— Все... вы, она... мое собственное ничтожество, и...

— И чѣмъ?

— И всего мнѣ жаль порой, всего жаль: скучно, холодно одному на свѣтѣ... проговорилъ Долинскій съ болѣзненней грибасой въ лицѣ и досадой въ голосѣ.

— Не будемъ говорить обѣ этомъ. Прошлаго ужъ не воротишь. Разсказывайте лучше, какъ вы живете?

Долинскій коротко рассказалъ про свое однообразное житѣе, умолчалъ однако о Заіончекѣ и обществѣ соединенныхъ христіанъ.

— Ну, а впередъ?

— Впередѣ? -- Долинскій развелъ руками и проговорилъ:

— Можетъ быть, то же самое.

— Утѣшительно!

— Это все равно: хорошаго гдѣ взять?

Анна Михайловна промолчала.

— Чего жь вы не возвращаетесь въ Россію? спросила она его черезъ нѣсколько минутъ.

— Зачѣмъ?

— Какъ, зачѣмъ? Вѣдь вы, я думаю, русскій.

— Да, можетъ быть, я и возвращусь... когда-нибудь.

— Зачѣмъ же когда-нибудь! Поѣдемте вмѣстѣ.

— Съ вами? А вы скоро Ѣдете?

— Черезъ нѣсколько дней.

— Вы прїѣхали за покупками?

— Да, и за вами, улыбнувшись отвѣчала Анна Михайловна.

Долинскій потупясь смотрѣлъ себѣ на ногти.

— Пора, пора вамъ вернуться.

— Дайте подумать, отвѣчалъ онъ, чувствуя, что сердце его забилось не совсѣмъ обыкновеннымъ боемъ.

— Нечего и думать. Никакое прошлое не поправляется хан-

дрою, да чудачествомъ. Отряхнитесь, оправьтесь, станьте на ноги: вѣдь на вась жаль смотрѣть.

Долинскій вздохнулъ и сказалъ:

— Спасибо вамъ.

— Я завтра, можетъ быть, пришелъ бы къ вамъ утромъ, говорилъ онъ, прощаюсь.

— Разумѣется, приходите.

— Часовъ въ восемь... можно?

— Да, конечно, можно, отвѣчала Анна Михайловна.

Проводивъ Долинскаго до дверей, она вернулась и стала у окна. Черезъ минуту на улицѣ показался Долинскій. Онъ вышелъ на середину мостовой, сдѣлалъ шагъ и остановился въ раздумье; потомъ перешагнулъ еще разъ и опять остановился и вынулъ изъ кармана платокъ. Вѣтеръ рванулъ у него изъ рукъ этотъ платокъ и покатилъ его по улицѣ. Долинскій какъ-бы не замѣтилъ этого и тихо побрелъ далѣе. Анна Михайловна еще часа два ходила по своей комнатѣ и говорила себѣ:

— Бѣдный! бѣдный, какъ онъ страдаетъ!

## XVIII.

### Рѣшительный шагъ.

Долинскій провелъ у Анны Михайловны два дня. Аккуратно онъ являлся съ первымъ омнибусомъ въ восемь часовъ утра и уѣзжалъ домой съ послѣднимъ въ половинѣ двѣнадцатаго. Долинскаго не оставляла его давнишняя задумчивость, но онъ сталъ замѣтно спокойнѣе и даже минутами оживлялся. Однако, оживленность эта была непродолжительна: она появлялась неожиданно, какъ-бы въ минуты забвенія, и исчезала такъ же быстро, какъ будто по мановенію какого-то призрака, проносившагося передъ тревожными глазами Долинскаго.

— Когда мы єдемъ? спрашивалъ онъ въ волненіи на третій день пребыванія Анны Михайловны въ Парижѣ.

— Дня черезъ два, отвѣчала ему спокойно Анна Михайловна.

— Скорѣй бы!

— Это не далеко, кажется?

Долинскій хрустнулъ пальцами.

— Вы не боитесь ли раздумать? спросила его Анна Михайловна.

— Я!... Нѣтъ, съ какой же стати раздумывать?

— То-то.

— Мнѣ здѣсь нечего дѣлать.

«А что я буду дѣлать тамъ? Какое мое положеніе? Послѣ всего того, что было, чѣмъ должна быть для меня эта женщина! размышлялъ онъ, глядя на ходящую по комнатѣ Анну Михайловну.— Чѣмъ она для меня можетъ быть?... Нѣтъ, не чѣмъ можетъ, а чѣмъ она должна быть? А почему же именно должна?... Опять все какая-то путаница!»

Долинскій тревожно всталъ и простился съ Анной Михайловной.

— До утра, сказала она ему.

— До утра, отвѣчалъ онъ холодно и почтительно целуя ея руку.

Войдя въ свою комнату, Долинскій, не зажигая огня, бросивъ шляпу и повалился въ потьмахъ совсѣмъ одѣтый на постель.

— Нѣтъ! воскликнулъ онъ часа черезъ два, быстрѣо вскочивъ съ постели.—Нѣтъ! нѣтъ! Я знаю тебя; я знаю, я знаю тебя, змѣиная мысль! повторялъ онъ въ ужасѣ, и выскочивъ изъ своей комнаты, постучался въ двери Заіончека.

— Помогите мнѣ, спасите меня! сказалъ онъ, бросаясь къ патеру.

— Чтобы лечить язвы, прежде надо ихъ видѣть, проговорилъ Заіончекъ, торопливо вставая съ постели.—Открой мнѣ свою душу.

Долинскій рассказалъ о всемъ случившемся съ нимъ въ эти дни.

— Отецъ мой! Отецъ мой! повторилъ онъ, заплакавъ и ломая руки:—я не хочу лгать... въ моей груди... теперь, когда лежалъ я одинъ на постели, когда я молился, когда я звалъ къ себѣ на помощь Бога... Ужасно!... Мнѣ показалось... я почувствовалъ, что жить хочу, что мертвое все умерло совсѣмъ; что нѣтъ его нигдѣ, и эта женщина живая... для меня дороже неба; что я люблю ее гораздо больше, чѣмъ мою душу, чѣмъ даже...

— Глупецъ! рѣзкимъ, змѣинымъ приыханіемъ шепнулъ Заіончекъ, зажимая ротъ Долинскому своей рукою.

— Нѣтъ силъ... страдать... терпѣть и ждать... чего? чего, скажите? Мой умъ погибъ, и самъ я гибну... Неужто жь это жизнь? Вѣдь дьяволъ такъ не мучится, какъ измучилъ себя я въ этомъ тѣлѣ!

— Дрянная перстъ земная непокорна.

— Нѣтъ, я покоренъ.

— А путь готовъ давно.

— И гдѣ же онъ?

— Онъ?... Пойдемъ, я покажу его: путь вѣрный примириться съ жизнью.

— Нѣтъ, убѣжать отъ ней...

— И убѣжать ея.

Долинскій только опустилъ голову.

Черезъ полчаса меркнущіе фонари Батинъоля короткими мгновеніями освѣщали двѣ торопливо шедшія фигуры: одна изъ нихъ, сильная и тяжелая, принадлежала Заіончеку; другая, слабая и колеблющаяся — Долинскому.

## XIX.

### КТО ВЪ ЧЕМЪ ОСТАЛСЯ.

Анна Михайловна напрасно ждала Долинскаго и утромъ, и къ обѣду, и къ вечеру. Его не было цѣлый день. На другое утро она написала ему записку и ждала къ вечеру отвѣта, или, лучше сказать, она ждала самого Долинскаго. Ожиданія были напрасны. Прошелъ еще цѣлый день — не приходило ни отвѣта, не бывалъ и самъ Долинскій, а по условію вечеромъ слѣдующаго дня нужно было выѣзжать въ Россію.

Анна Михайловна находилась въ большомъ затрудненіи. Часу въ восьмомъ вечера, она надѣла бурнусь и шляпу, взяла фіакръ и вѣдѣлаѣхать на Батинъоля.

Съ большимъ трудомъ она отыскала квартиру Долинскаго и постучалась у его двери. Отвѣта не было. Анна Михайловна постучала второй разъ. Въ темный коридоръ отворилась дверь изъ № 10-го и на порогѣ показался во всю свою нелѣпую вышину *m-r le prêtre Zaionczek*.

— Чѣмъ вамъ здѣсь нужно? сердито спросилъ онъ Анну Михайловну порусски, произнося каждое слово съ особеннымъ твердымъ ударениемъ.

— Мнеѣ нужно господина Долинскаго.

— Его нѣтъ здѣсь: онъ здѣсь не живетъ, отвѣчалъ патерь.

— Гдѣ же онъ живеть?

Патерь сдѣлалъ шагъ назадъ въ свою комнату, и ткнувъ въ руки Аннѣ Михайловнѣ какую-то бумажку, сказалъ:

— Отправляйтесь-ка домой.

Дверь нумера захлощнулась, и Анна Михайловна осталась одна въ грязномъ коридорѣ, слабо освѣщенномъ подслѣповатою плошкою. Она разорвала конвертъ и подопгла къ огню. При трепет-

номъ мерцаніи плошки нельзя было прочесть ничего, чтò написано блѣдными чернилами.

Анна Михайловна нетерпѣливо сунула въ карманъ бумажку, сѣла въ фіакръ и велѣла ѿхать домой.

Въ своемъ нумерѣ она зажгла свѣчу, и держа въ дрожащихъ рукахъ бумажку, прочла: «Я не могу ѿхать съ вами. Не ожидайте меня и не ищите. Я сегодня же оставляю Францію и буду далеко молиться о васъ и о мірѣ».

Анна Михайловна осталась на одномъ мѣстѣ, какъ остолбенѣлая. На другой день ея уже не было въ Парижѣ.

---

Прошло болѣе двухъ лѣтъ. Анна Михайловна попрежнему жила и хозяйничала въ Петербургѣ. О Долинскомъ не было ни слуха, ни духа.

За Анной Михайловной многіе пріударали самымъ серѣзнымъ образомъ, и наконецъ одинъ статскій совѣтникъ предлагалъ ей свою руку и сердце. Анна Михайловна ко всѣмъ этимъ исканіямъ оставалась совершенно равнодушною. Она до сихъ поръ очень хороша и ведетъ жизнь совершенно уединенную. Ее можно видѣть только въ магазинѣ, или во Владимірской церкви за раннею обѣднею.

Анна Анисимовна съ своими дѣтьми живетъ у Анны Михайловны въ бывшихъ комнатахъ Долинского. Отношенія ихъ съ Анной Михайловной самыя дружескія. Анна Анисимовна никогда ничего не говоритъ хозяйкѣ ни о Дорушкѣ, ни о Долинскомъ, но каждое воскресеніе приносить съ собою отъ ранней обѣдни вынутую заупокойную просфору. Долинского она терпѣть не можетъ, и при каждомъ случайномъ воспоминаніи о немъ, лицо ея судорожно передергивается и принимаетъ выраженіе суровое, даже мстительное.

Mlle Alexandrine тоже попрежнему живетъ у Анны Михайловны, и нынче больше, чѣмъ когда-нибудь, считаетъ свою хайку совершенной дурою.

Илья Макаровичъ нимало не измѣнился. Онъ постарому лѣтъ пули и суетится. Глядя на Аниу Михайловну, какъ она при всемъ желаніи казаться счастливою и спокойною, часто живетъ ничего не вида и не слыша и по цѣлымъ часамъ сидитъ задумчиво,

склонивъ голову на руку, онъ часто повторяетъ себѣ: «за что, про что только все это развѣялось и прошло?»

— Да полюбите вы кого нибудь! говорить онъ иногда, подмѣчая несносную тоску въ глазахъ Анны Михайловны.

— Погодите еще, сѣдого волоса жду, отвѣчаетъ она, стараясь улыбаться.

Жена Долинского живетъ на Арбатѣ въ собственномъ двухэтажномъ домѣ и держать въ рукахъ своего сѣдого благодѣтеля. Викторинушку выдали замужъ за вдоваго квартального. Она прожила годъ съ мужемъ, овдовѣла и снова вышла за молодого врача больницы, учрежденной какимъ-то «человѣколюбивымъ обществомъ», которое Матроска безъ всякой задней мысли называетъ обыкновенно «самолюбивымъ обществомъ». Сама же Матроска состоится у старшой дочери въ ключницахъ; зять-лекарь непускаетъ ее къ себѣ на порогъ.

Вырвичъ и Шпандорчукъ, благодаря Бога, живы и здоровы. Они теперь служать гайдуками, или держимордами при какомъ-то приставѣ исполнительныхъ дѣлъ по вѣдомству нигилистической полпїи, и уже были два раза въ дѣлѣ, а за третьимъ, слышно, будутъ отправлены въ смирителный домъ. Имена ихъ, вѣроятно, передадутся исторіи, такъ-какъ они первые запротестовали противъ уппчтоженія въ Россіи тѣлеснаго наказанія и считаются его одною изъ необходимыхъ мѣръ нравственного исправленія. Положеніе этихъ людей вообще самое нерадостное; дорушкино предсказаніе надѣй ними сбывается: они рѣшительно не знаютъ, за что имъ зацѣпиться и на какой колокъ себя повѣстить. Взять тягло въ толокъ житейской — руки ихъ лѣнивы и слабы; міряне ихъ не замѣ чаютъ; «мыслящіе реалисты», къ которымъ они жмутся и которыхъ увѣряютъ въ своей съ ними солидарности, тоже сторонятся отъ нихъ и чураются. Стоять эти бѣдные, «запланные» люди въ сторонѣ ото всего живаго, стоять потерянно, какъ тѣ юдейскіе воины, которыхъ вождь покинулъ у потока, и повелъ впередъ только однихъ локавшихъ по-песни. Стоять они даже не ожидали, что къ нимъ придется новый Гедеонъ, который выжметъ передъ ними руно и разобьетъ водоносъ свой, а растерявшись измышляютъ только, какъ бы еще что нибудь почуднѣе выкинуть въ своей старой, нигилистической курткѣ.

Вѣра Сергеевна Онучина возбуждаетъ всеобщую зависть и удивленіе. Она нынче одна изъ блестательнѣйшихъ дамъ самаго представительного русскаго посольства. Мужа своего она терпѣть

не можетъ, но и весьма равнодушно относится ко всѣмъ иска-  
тельствамъ свѣтскихъ львовъ и онагровъ. По столичной хроникѣ,  
ея теплымъ вниманіемъ до сихъ поръ пользуется только одинъ  
*primo tenore* итальянской оперы. Что будетъ далѣе — пока неиз-  
вѣстно. Серафима Григорьевна читаетъ сочиненія аббата Гэтѣ  
и проклинаетъ Ренана. Кирилъ Сергеевичъ сдѣлался туристомъ.  
Онъ объѣхалъ западный берегъ Африки и путешествовалъ по  
всей Америкѣ. Недавно онъ возвратился въ Петербургъ и при-  
везъ первое и послѣднее пзвѣстіе о Долинскомъ. Онучинъ ви-  
дѣлъ Нестора Игнатьевича съ іезуитскими миссіонерами въ Па-  
рагваѣ. По словамъ Кирила Сергеевича, на всѣ вопросы, кото-  
рые онъ дѣлалъ Долинскому, тотъ съ ненарушимымъ спокойствіемъ  
отвѣчалъ только «*momento mori!*»!

#### ПАРА СТРОКЪ ВМѢСТО ЭПИЛОГА.

Хищная, возвратная горячка, вычеркнувшая прошедшую зимою  
такъ много человѣческихъ именъ изъ списка живыхъ питерщи-  
ковъ, отвела сажень приневской тундры для синьоры Луззы. Без-  
покойная подруга Ильи Макаровича улеглась на вѣчный покой  
въ холодной могилѣ на Смоленскомъ кладбищѣ, оставивъ худож-  
нику пятилѣтняго сына, восьмилѣтнюю дочь и вексель, взятый  
ею когда-то въ обезпеченіе себѣ вѣрной любви до гроба. Илья  
Макаровичъ совсѣмъ засуетился съ сиротами и надѣлалъ бы  
богъ-вѣсть какой чепухи, еслибы въ спасеніе дѣтей не вступилась  
Анна Михайловна. Она взяла ихъ къ себѣ и возится съ  
ними какъ лучшая матъ. Илья Макаровичъ прибѣгаешьъ теперь  
сюда каждый день взглянуть на своихъ ребятокъ, восторгается  
ими, поучаетъ ихъ любви и почтенію къ Аннѣ Михайловнѣ; да-  
луетъ ихъ черненькия головенки и нерѣдко плачетъ надъ ними.  
Онъ совсѣмъ не можетъ сладить съ теперешнимъ своимъ одиноче-  
ствомъ и, по собственному его выраженію, «нудится жизнью»,  
скучаетъ ею. Недавно (читатель совершенно удобно можетъ во-  
образить, что это было вчера вечеромъ), Илья Макаровичъ явился  
къ Аннѣ Михайловнѣ съ лицомъ блѣднымъ, озабоченнымъ и  
серѣзнымъ.

— Что съ вами, милый Илья Макарычъ? спросила его съ  
своимъ всегдашимъ теплымъ участіемъ Анна Михайловна, тро-  
гаясь рукою за плечо художника.

Илья Макаровичъ быстро поцаловалъ ея руку, отбѣжалъ въ сторону и заморгалъ.

— Чѣдъ съ вами такое сегодня? переспросила снова подходи къ нему и кладя ему на плечи свои ласковыя руки Анна Михайловна.

— Со мной-съ?... Со мной, Анна Михайловна, ничего. Со мной то же, чѣдъ со всѣми: скучно очень.

Анна Михайловна тихо покачала головою и тихо сказала:

— Невесело; это правда.

— Анна Михайловна! началь, быстро оправляясь, художникъ:— у насъ ужъ такие годы, что...

— Изъ ума выживать пора?

— Ахъ, вѣтъ-съ! То-то именно пѣтъ-съ. Въ наши годы можно о себѣ серьзный думать. Просто разбитые мы всѣ люди; ни счастья у насъ, ни радостей у насъ, утромъ ждешь вечера, съ вечера ночь къ утру торопишься. Жить не при чемъ, а руки на себя наложить подлю. Это чѣдъ же это такое? Это просто терзанье, а не жизнь.

Тихая улыбка улетѣла съ лица Анны Михайловны и она смотрѣла въ глаза художнику очень серьзно.

— А между тѣмъ... знаете что, Анна Михайловна... Не разсердитесь только вы христа-ради?

— Я никогда не сержуясь.

— Будьте матерью моимъ дѣтямъ: выйдите за меня замужъ, ей-богу, ей-богу я буду... хорошимъ человѣкомъ, проговорилъ со страхомъ и надеждою Журавка, и спѣшно прижалъ къ дрожащимъ и теплымъ губамъ Анны Михайловнину руку.

Анна Михайловна смотрѣла на художника попрежнему тихо и серьзно.

— Илья Макарычъ! начала она ему послѣ минутной паузы.— Вонервыхъ, вы ободритесь и не конфузьтесь. Не жалѣйте пожалуйста, что вы мнѣ это сказали (она взяла его ладонью подъ подбородокъ и приподняла его опущенную голову). Выничѣмъ меня не обрадовали, но иничѣмъ не обидѣли: сердиться на васъ мнѣ не за что; но только оставьте вы это, мой милый; оставьте обѣ эти думать.

— Да вѣдь я-жъ бы любилъ васъ! произнесъ совсѣмъ сквозь слезы Журавка, скимая между своимъ руками руку Анны Михайловны и цацуя концы ея пальцевъ.

— Знаю, знаю, Илья Макарычъ, и вѣрю вамъ, отвѣчала Анна Михайловна, матерински лаская его голову.

— Вѣдь выходять же замужъ и... художникъ остановился.

— *Не любя*, досказала Анна Михайловна.—Да, милый Илья Макарычъ, выходять, и очень-очень дурно дѣлаютъ. Неужто вы хвалите тѣхъ, которые такъ выходятъ?

— Нѣтъ... это я... такъ сказалъ, отвѣчаль, глотая слезы, Журавка.

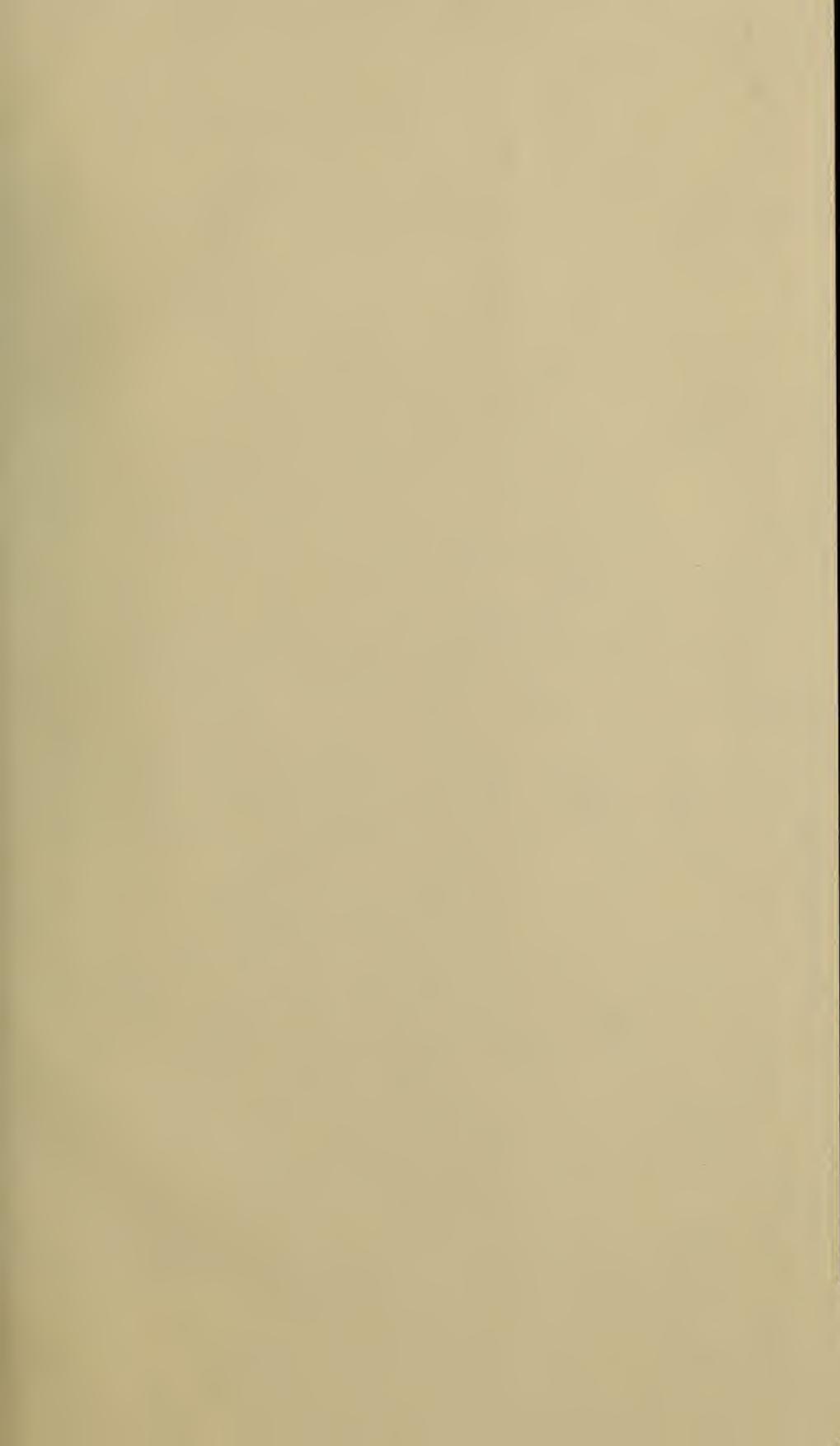
— Такъ сказали? Да, я увѣрена, что вы въ эту минуту обо мнѣ не подумали. Но скажите же теперь, мой другъ, если вы нехорошаго мнѣнія о женщинахъ, которая выходятъ замужъ *не любя* своего будущаго мужа—то какого же вы были бы мнѣнія о женщинѣ, которая выйдетъ замужъ *любя* не того, кого она будетъ называть мужемъ?

— Но вѣдь *его* нѣту; онъ пропалъ... погибъ.

— Погибшіе еще болѣе жалки.

— Да нѣть же, поймите вы, что вѣдь нѣть его совсѣмъ на свѣтѣ, говорилъ, плача какъ ребёнокъ, Журавка.

Анна Михайловна слегка наморщила брови, и впервые въ жизни едва не разсердила. Она положила свою руку на темя Ильи Макаровича, порывисто придинула его ухо къ своему сердцу и сказала: «Слышите? Это онъ стучитъ тамъ своимъ дорожнымъ посохомъ».



Deacidified using the Bookkeeper process  
Neutralizing agent: Magnesium Oxide  
Treatment Date: Jan. 2007

**Preservation Technologies**  
A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION

111 Thomson Park Drive  
Cranberry Township, PA 16066  
(724) 779-2111



